

Огни Кузбасса

№ 5 / 2021



Русскому поэту Михаилу Александровичу Небогатову – 100 лет



.....

Вон березка в пышной кофточке,
В белой юбочке своей;
Вон тальник присел на корточки,
Молча смотрится в ручей.

На жужжание знакомое
Обернулся я. Пчела!
С добрым утром, насекомое!
Как живется? Как дела?

Ну, а ты о чем, безвестная,
Пригорюнилась, копна?
Ты же нашенская, местная,
Гордо выглядеть должна!

Знала б ты, как веет по лугу
Ароматом от тебя, –

Под небесным ясным пологом
Ты б стояла не скорбя...

У тропы над синей лужею
Я гляжу во все глаза:
Вертолету неуклюжему
Подражает стрекоза.

Так же кружится медлительно.
Даже в крыльях сходство есть.
Так же – просто удивительно! –
Где угодно может сесть...

Мостик, заводь, куст смородины,
Паровозный крик вдали –
Это все частица Родины,
Мирный день родной земли.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Б. В. Бурмистров,
г. Кемерово, председатель
общественного совета

Н. Ф. Иванов,
г. Москва, председатель
Союза писателей России

М. А. Евса,
г. Кемерово, министр
культуры и национальной
политики Кузбасса

И. Ф. Федорова,
г. Кемерово, председатель
комитета по вопросам
образования, культуры
и национальной политики
Законодательного
собрания Кемеровской
области – Кузбасса

С. Ю. Куняев,
г. Москва, лауреат
Государственной премии
им. М. Горького, главный
редактор журнала
«Наш современник»

В. Н. Крупин,
г. Москва, первый лауреат
Патриаршей
литературной
премии

Г. Л. Немченко,
г. Москва, лауреат премии
«Прохоровское поле»

Д. Я. Голофаст,
директор по внешним
связям и имущественным
отношениям Кузбасского
филиала ООО «Сибирская
генерирующая компания»

ЖУРНАЛ
ПИСАТЕЛЕЙ
РОССИИ

Огни Кузбасса

ИЗДАЕТСЯ С 1949 ГОДА

№ 5 / 2021

СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ

Литературный журнал
выходит
при поддержке
Министерства культуры
и национальной политики
Кузбасса

Главный редактор
С. Л. ДОНБАЙ

Редколлегия:

Виктор АРНАУТОВ
Татьяна ИЛЬДИМИРОВА
Андрей КОРОЛЕВ
Вера ЛАВРИНА
Дмитрий МУРЗИН
(ответственный
секретарь)
Агата РЫЖОВА
Елена ТРУХАН
Марина ФЕДОРОВА
Дмитрий ФИЛИППЕНКО
Марина ЧЕРТОГОВА
Евгений ЧИРИКОВ
Григорий ШАЛАКИН

Адрес редакции:
650000, Кемеровская область,
г. Кемерово, пр. Советский, д. 40,
тел. 8 (3842) 36-85-14



12+

Содержание

200 ЛЕТ ДОСТОЕВСКОМУ

Игорь Волгин. «Еще!» (Марья Дмитриевна). Глава из книги	3
Анатолий Донов. Забытая семья Достоевского	90
Елена Трухан. Достоевский – имя обжигающее	97
Александр Шунков. Достоевский и Кемерово	101
Станислав Ломакин. Мыслитель, пророк, гений	106
Виктор Молчанов. Символ веры Ф. М. Достоевского	108
Тэцуо Мотидзуки. Вокруг дискуссий о церковном суде в «Братьях Карамазовых»	110

ПОЭЗИЯ

Анастасия Русских. Подковырочки, подколки	19
Андрей Ребров. В толще временной	39
Дмитрий Хоботнев. Нет в нашем мире скорби, слез и зла	41
Наталья Джурович. Верни мне Русь	57
Дмитрий Филиппенко. Меняют нас и горе, и беда	60

ПРОЗА

Павел Кренёв. Беляк и Пятнышко. Рассказ	22
Геннадий Соловьев. Рассказы	44

ДРАМАТУРГИЯ

Игорь Назаров. Язычники. Историческая драма	62
---	----

КНИГА ПАМЯТИ

«Простою задушевною строкою». К 100-летию М. Небогатова	
Ирина Фролова. Уроки Михаила Небогатова. Лидия Емельяненко. Белые конверты.	
Людмила Седельцева. Путь в литературу из школы и «факультета».	
Борис Кузнецов. Небогатов	87

БИБЛИОТЕЧЕСТВО

Виктор Лихоносов. Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж (продолжение)	116
--	-----

ЭССЕ

Виталий Крёков. Письма с тыльной стороны	147
--	-----

И БОЛЬШИМ, И ДЕТЯМ

Евгений Новицкий. На ножки лужа наступила	152
---	-----

ЦИТАТА

Юрий Ключников. Поэтическая перепалка. Воспоминания о М. А. Небогатове.	
Подготовил С. Донбай	153

ЛИКИ ЗЕМЛЯКОВ

Сергей Черемнов. Василий Попок. «Не бесстрастный свидетель жизни...»	154
--	-----

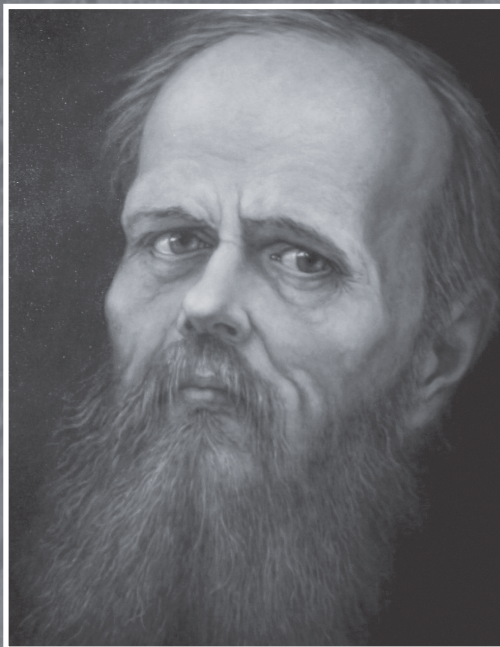
КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Александр Балтин. Искры шахтерской поэзии.	164
Обзор публикаций журнала «Огни Кузбасса» за 2020 год.	
Евгений Чириков. Сидим на одной ветке.	
Ирина Фролова. От корки до корки. Дмитрий Филиппенко. Чем удивили стихи	166

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Литературная хроника. Подготовил Дмитрий Мурзин	170
---	-----

Великому русскому писателю Федору Михайловичу Достоевскому – 200 лет



(1821–1881)

В «Сибирской тетради» Достоевского («моей тетрадке каторжной», как он ее называл) несколько раз встречается помета, которая из-за неясности написания многие годы не поддавалась расшифровке. Ее интерпретировали как «Елеи», «Елен» и даже «Елец» или просто заменяли точками – «ввиду неуверенности чтения». Наконец загадка разрешилась: интригующее слово было опознано как «еheu» – латинское междометие, обозначающее «увы» или «ах». Но выяснилось и другое. Практически все «еheu» так или иначе связаны с именем первой жены Достоевского. Этим горестным вздохом он отмечал самые драматические моменты их знакомства и брака.

И. Волгин

Материалы к 200-летию Ф. М. Достоевского читайте на с. 3–18, 90–115

На портрете:

К. Г. Дверин. «Ф. М. Достоевский». 2018. Х., м.

Игорь
ВОЛГИН

«ЕНЕУ!»
(МАРЬЯ ДМИТРИЕВНА)*

Ужасная женщина

В «Сибирской тетради» Достоевского («моей тетрадке каторжной», как он ее называл) несколько раз встречается помета, которая из-за неясности написания многие годы не поддавалась расшифровке. Ее интерпретировали как «Елеи», «Елен» и даже «Елец» или просто заменяли точками – «ввиду неуверенности чтения». Наконец загадка разрешилась: интригующее слово было опознано как «енеу» – латинское междометие, обозначающее «увы» или «ах». Но выяснилось и другое. Практически все «енеу» так или иначе связаны с именем первой жены Достоевского. Этим горестным вздохом он отмечал самые драматические моменты их знакомства и брака¹.

В «Хронике» М. В. Волоцкого, где характеристики иных персонажей посвящены десятки страниц, Марье Дмитриевне Исаевой уделено ровно три строки, к тому же принадлежащих случайному наблюдателю: «Эту первую супругу нашего знаменитого писателя я видел только один раз в Москве, у Ивановых, и она на меня произвела впечатление в высшей степени болезненной и нервно-расстроенной женщины».

Автора «Хроники» можно понять. Его прежде всего интересует генетика, биологическое родство, кровная родовая связь. Марья Дмитриевна не отвечает этим критериям. Тем более что у нее с Достоевским не было общих детей. Но ведь недаром изречено: «...оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт. 2:24).

Достоевскому некого было **оставлять**. Родителей к моменту женитьбы у него давно уже не было. С тем большей силой влекся он к той, которая

* Глава из книги «Родные и близкие».

¹ Орнатская Т. И. «Сибирская тетрадь» // Достоевский. Материалы и исследования. Л.: Наука. Т. 5. 1983. С. 222–225.

смогла бы составить с ним не только «одну плоть», но, как он полагал, и единую душу. Узы, соединившие их двоих, оказались куда прочнее иных кровнородственных связей.

В годы, когда Волоцкой работал над «Хроникой», просвещенный мир имел довольно смутные понятия о первой жене Достоевского. Едва ли не единственным источником информации о ней были воспоминания Любови Федоровны. Дочь писателя от второго брака писала их в Швейцарии в 1918–1919 годах по-французски. Впервые они были изданы в Мюнхене в 1920-м, а затем – переведены на многие европейские языки. Русский перевод появился в 1922 году, однако в сильно урезанном виде.

Публика, до сих пор мало что знавшая об интимных сторонах жизни писателя, но горячо жаждавшая восполнить этот пробел, не могла не довериться сведениям, исходившим от одного из членов семьи. А именно – что после каторги «от запоздалой юношеской незрелости» автора «Бедных людей» «не осталось и следа, он стал мужчиной и хотел любить». Публика вместе с автором воспоминаний уже готова была порадоваться за героя. Но. «Но какую ужасную женщину послала судьба моему отцу!»²

Взыскательную дочь не устраивают ни характер, ни моральные качества Марьи Дмитриевны. Но прежде всего ее коробит **антропология**. Согласно уверениям Любови Федоровны, М. Д. Констант (девичья фамилия Исаевой) лишь выдавала себя за француженку. На самом же деле – «эта бесстыжая женщина была дочерью наполеоновского мамелюка, попавшего в плен во время бегства из Москвы...»³ Причем, счастливо унаследовав от матери ее русский тип, она тщательно скрывала от окружающих свое африканское происхождение (не в пример, скажем, «прекрасной креолке» Надежде Осиповне Ганнибал, чьи африканские черты неосторожно воспроизвел ее сын, «потомок негров безобразный»). Достоевский, таким образом, пал жертвой гнусного генетического обмана.

Новейшие разыскания позволяют, однако, значительно скорректировать эту впечатляющую картину.

В Россию переселился не отец, а дед Марьи Дмитриевны – Франсуа-Жером-Амадей де Констант. Он был отнюдь не наполеоновским мамелюком, а дворянином и капитаном королевской дворцовой гвардии; после падения Людовика XVI он покинул взбунтовавшееся отечество и, как многие другие эмигранты, был привлечен щедрой российской императрицей (заболевшей, говорят, при известии о каз-

² Достоевская Л. Ф. Достоевский в изображении своей дочери. СПб.: Андреев и сыновья, 1992. С. 77.

³ Там же. С. 79.

ни французского короля). Дед будущей жены Достоевского поступил на русскую службу, принял православие и новое имя: Степан. Женился он, однако, на француженке. Так что сын его, Дмитрий, отец Марии Дмитриевны, — чистокровный француз. В 1820 году Дмитрий Степанович недолгое время служит переводчиком в штабе генерала И. Н. Инзова, где в то же время и в том же качестве подвизается его одноклассник А. С. Пушкин. История, впрочем, умалчивает, были ли они знакомы.

Дмитрий Констант женится на русской дворянке по имени Софья Александровна (фамилия, увы, неизвестна). В 1824 году рождается дочь Мария. Когда она впервые встретит Достоевского, ей будет 29. В своих письмах из Сибири Достоевский всегда твердо указывает возраст избранницы — на три года меньше истинного. Эта хронологическая поправка, надо думать, заслуга самой Марьи Дмитриевны.

Родившись в Таганроге, она в 14 лет лишается матери. Семья переселяется в Астрахань, где Дмитрий Степанович занимает должность директора Карантинного дома. Марья Дмитриевна выходит замуж за А. И. Исаева, который, как и ее отец, служил по таможенной части. В 1851 году Исаева переводят в Сибирь.

Достоевский знакомится с их семейством буквально через два-три месяца после выхода из каторги и водворения в Семипалатинске. Он предчувствует, что приближается «к кризису всей моей жизни», что созрел для чего-то такого, что он именует «может быть **грозное**, но во всяком случае **неизбежное**»⁴. Эпитеты, однако, имеют свойство материализоваться. Спустя два года в письме к Врангелю они будут приложены к уже совершившемуся: «О, не дай Господи никому этого **страшного, грозного** чувства»⁵.

Чувство между тем растет и делается необоримым. Федор Михайлович признается, что думал о самоубийстве — **буквально** (он, не сокрушенный эшафотом и Мертвым домом) и что для него нет выбора: «Или с ума сойду, или в Иртыш!» Так десятилетием ранее мнившийся ему неуспех «Бедных людей» тоже решительно сопрягается с отказом от жизни: «А не пристрою романа, так, может быть, и в Неву»⁶. Изменились, как видим, только топографические предпочтения.

Конечно, можно сказать, что все это **литература**. Но Достоевский по сути своей экстремал. Для него не существует промежуточных вариантов. И если о возможном провале первого своего романа он

говорит: «Я не переживу смерти моей *idée fixe*», то тут есть сходство: его сибирский **роман** тоже первый и тоже владеет всем его существом.

Письма к одинокой девственнице

Любовь Федоровна уверяет, что в двадцать лет ее отец жил «как святой»⁷. «К женскому обществу, — в свою очередь замечает домашний врач, наблюдавший Достоевского в молодости, — он всегда казался равнодушным и даже чуть ли не имел к нему какую-то антипатию». И раздумчиво добавляет: «Может быть, и в этом отношении он скрывал кое-что»⁸. Иные из позднейших биографов стараются развить этот тезис, горячо настаивая на том, что до-сибирский период жизни автора «Белых ночей» был «необычайно бурен в половом отношении»⁹. Эта ученая гипотеза столь же труднодоказуема, сколь и дочерние уверения прямо противоположного свойства.

Как бы то ни было, в письмах Достоевского сороковых годов мы не встретим ни одного женского имени, которое было бы названо под определенным ударением. (За исключением разве Авдотьи Панаевой, краткая и отчасти литературно окрашенная (жена поэта, вскоре подруга другого поэта) влюбленность в которую, кажется, никак не сказалась на его судьбе.) Это — разительный контраст с пушкинским или лермонтовским жизнеощущением. Мерной поступью минует Федор Достоевский пору, казалось бы, самой природой назначенную для романтических безумств и признаний. Во всяком случае, мы ничего не знаем о таковых¹⁰.

О какой-либо интимной жизни на каторге говорить не приходится, хотя, как ни странно, она полностью не исключалась. Осведомленный наблюдатель, упомянув о калачницах — молодых бабах, продававших калачи арестантам у ворот острога, добавляет, что тут же завязывались романы, «развязка коих происходила во время работ в укромных местечках», и что подобное удовольствие ценилось недорого — «два-три гроша бабе»¹¹. Если вспомнить описание «двугрошовых» в «Записках из Мертвого дома», то можно сказать, что версия Любви Федоровны относительно «святости» ее отца приложима именно к этой поре. Он провел в омской крепости четыре года; пенитенциарная система не знала еще

⁷ Достоевский в изображении дочери. С. 89.

⁸ Цит. по: Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Т. 1. Биография, письма и заметки из записной книжки. СПб.: Типография А. С. Суворина, 1883. С. 64. 1 паг.

⁹ Кашина-Евреинова А. Подполье гения. Пг., 1923. С. 21.

¹⁰ Подробнее см.: Волгин И. Л. Родиться в России. Достоевский и современники: жизнь в документах. М.: Книга, 1991. С. 271–272.

¹¹ Врангель А. Е. Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири 1854–1856 гг. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1912. С. 14.

⁴ Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в 30 томах. Л.: Наука, 1972–1990. Т. 281. С. 177. Письмо Н. Д. Фонвизинной от января-февраля 1854 г.

⁵ Там же. С. 212–213.

⁶ Там же. С. 110.

практики личных свиданий. Да если бы даже они и были, кто бы к нему поехал? Да еще в такую даль?

Итак, его обуревают предчувствия. Но до их исполнения еще есть время.

Получив разрешение жить вне казармы (но близ нее, под ответственность ротного командира), он за пять рублей в месяц – плата за помещение, стирку и стол – нанимает комнату в довольно убогой, стоящей на отшибе избе, единственным украшением которой можно похвалить двух хозяйских дочерей, 20 и 16 лет. Старшая, по сдержанному свидетельству Врангеля, «ухаживала за Федором Михайловичем, и, кажется, с любовью, шила ему и мыла белье, готовила пищу и была неотлучно при нем». Летом вместе с сестрой она совершенно по-домашнему показывалась перед обоими друзьями «en grand negligé, то есть в одной рубашке, подпоясанная только красным кушаком, на голую ногу и с платочком на шее». Мемуарист не скрывает, что мать сестер, вдова-солдатка, «открыто эксплуатировала молодость и красоту дочерей». Когда Достоевский упрекнул ее в этом, особенно нападая на печальную участь очень красивой младшей, старуха ответствовала в том смысле, что дочь «все равно сошлась бы со временем с батальонным писарем или унтером за два пряника аль фунт орехов, а с вами, господами, и фортель, и честь!..»¹² Нравы в Сибири были просты.

*Дождь на стеклах искажает лица
Двух сестер, сидящих у окна;
Переформировка длится, длится,
Никогда не кончится она, –*

это, разумеется, о другом, но тема – непреходяща.

Врангель не называет имен. Зато мы знаем, как звали двух других женщин, которые пользовались расположением Достоевского.

Первая – это 16–17-летняя Марина Ордынская, обладающая эффектной наружностью блондинка, дочь ссыльного поляка, который, овдовев, женился на собственной кухарке. Дочь, как Золушка, пребывала в небрежении и затрапезе. Достоевский – кстати, по просьбе М. Д. Исаевой, в чьем доме он знакомится с Мариной, – усердно занимается умственным развитием полячки-сибирячки¹³. Повзрослев и похорошев, но не вооружась при этом скромностью, она «очень оживляла» Казаков сад – дачу, нанимаемую Врангелем, где летом обитал также и Достоевский и где, между прочим, присутствовали упомина-

тые выше дочери его квартирной хозяйки, помогавшие друзьям наладить холостяцкий быт¹⁴. Марина «бегала, усиленно кокетничала и задорно заигрывала со своим учителем». Трудно сказать, остался ли наставник холоден к стараниям ученицы. (Местный краевед Б. Г. Герасимов простодушно сообщает, что Достоевский, подружившись с отцом Марины, «иногда оставался у него для своих занятий и даже на ночь»¹⁵.) Неприязнь его к полякам не распространялась на их дочерей. Врангель, по его собственному признанию, безуспешно пытался с помощью Марины отвлечь своего друга от предмета его «роковой страсти» – Исаевой, отъехавшей в Кузнецк. Интересно, что протееж Марьи Дмитриевны позднее «не раз служила причиной ревности и раздора» между супругами.

С другой претенденткой на сердце рядового 7-го Сибирского линейного батальона дело обстоит сложнее. Известия о ее отношениях с Достоевским дошли до нас не совсем обычным путем.

В 1909 году сибирский литератор Н. В. Феоктистов знакомится в Семипалатинске с местной уроженкой, 72-летней Елизаветой Михайловной Неворотовой. То, о чем было поведано ему новой знакомой, он предал огласке только после ее смерти, в 1928-м, в журнале «Сибирские огни»¹⁶.

Семнадцатилетнюю Неворотову Достоевский впервые увидел на семипалатинском базаре, где она продавала хлеб с лотка. Очевидно, случилось это в первые дни пребывания Федора Михайловича на новом месте службы. Девушка была хороша собой, и «неудивительно, – пишет Феоктистов, – несколько путаясь в стиле, – что Достоевский заметил ее и подошел к ней ближе, чем он обычно подходил к людям»¹⁷. Было бы удивительно, если бы он к ней не подошел.

Прекрасная калачница, ничуть не похожая на тех «лиц совмещенных профессий», которых он наблюдал в остроге, тем не менее тоже была, как выразился бы один его персонаж, «из простых-с». Достоевский писал ей письма: их было не менее восемнадцати (одно в стихах!). Неворотова хранила их всю жизнь. Она категорически отказывалась – даже за немалую для нее сумму в 500 рублей – предоставить их для печати. В мире литературном об этих письмах не ведал практически никто. Феоктистову,

¹⁴ Там же. С. 44.

¹⁵ Герасимов Б. Г. Ф. М. Достоевский в Семипалатинске // Сибирские огни. 1924. № 4. Цит. по: Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. СПб.: Андреев и сыновья, 1993. С. 148. См. также: Достоевский в забытых... С. 78.

¹⁶ Феоктистов Н. В. Пропащие письма Ф. М. Достоевского // Сибирские огни. 1928. № 2. С. 119–125; То же // Достоевский в забытых... С. 80–88; Вайнерман В. С. Достоевский и Омск. Омск, 1991. С. 58–65.

¹⁷ Достоевский в забытых... С. 82.

¹² Достоевский в воспоминаниях современников. В 2 томах. М.: Художественная литература, 1990. Т. 1. С. 353–354.

¹³ Здесь и далее о ней по кн.: Врангель. С. 47, 81–84.

который добивался этой чести не один месяц, было дозволено лишь подержать в руках «довольно объемистую серую стопку исписанной бумаги». На первом листе он успел прочитать: «Милая Лизанька. Вчера я хотел увидеть Вас...» – фраза, чем-то напоминающая начало «Бедных людей»: «Бесценная моя Варвара Алексеевна! Вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив, донельзя счастлив!»

Был ли счастлив Достоевский?

Неворотова говорила Феокистову, что Достоевский ее любил. Во всяком случае, кроме «Лизаньки» одной только женщине он посвящал стихи, а именно вдовствующей императрице. Но там были свои резоны. Автор статьи в «Сибирских огнях» не сомневается, что и Елизавета Михайловна «глубоко любила Достоевского». Верная своему чувству, она не вышла замуж и навсегда осталась старой девой.

«Одинокая девственница», как именует Неворотову одна из ее племянниц, была сиротой. У нее на руках остались малые братья и сестры: поднять их она почитала своей обязанностью и долгом. Та же племянница (Н. Г. Никитина, в 1927 году пославшая свои заметки Феокистову) уверяет, что в ответ на «полудетский лепет малограмотной женщины» Достоевский «иногда писал ей комплименты», но главным образом «тоном старшего» давал советы и наставления и **«подкреплял ее в борьбе»**. Есть подозрение – и весьма основательное – что Никитина, несмотря на ее уверения в противном, самих писем никогда не читала: она говорит исключительно с теткинских слов.

Сравнительно недавно было обнародовано еще одно свидетельство, относящееся также к 1927 году и принадлежащее семипалатинской жительнице, некой Губенко, к которой после смерти Е. М. Неворотовой письма перешли «по родовой линии». Письма эти, как говорит Губенко, лично ею «хранились в отдельном портфеле и изредка прочитывались»¹⁸.

Но куда же они исчезли?

Осенью 1919 года в Семипалатинск входят красные – сформированная М. Н. Тухачевским 13-я Сибирская кавалерийская дивизия. В доме Никитиных, где при белых помещался штаб, учиняется обыск. Вместе с прочими бумагами изымаются и письма Достоевского. Уверения владельцев, что обнаруженные документы не имеют никакого отношения к политике, а принадлежат перу автора «Записок из Мертвого дома», не производят на обыскивающих ни малейшего впечатления. Дальнейшая судьба писем неизвестна.

О чем же сообщает Губенко, судя по всему, **единственная** читательница этой переписки? Ее информация, доверенная тому же Феокистову, весьма отличается от тех сведений, которые он счел нужным предать огласке.

Заметим: в своих письмах, касающихся М. Д. Исаевой, Достоевский неоднократно повторяет: «Я честный человек». Он желает созидать свои отношения с будущей женой именно на этом фундаменте. Но, как выясняется, с «Лизанькой» он ведет себя точно таким же образом. Губенко излагает содержание писем: «...признавался в любви Неворотовой и настойчиво искал ее руки, предлагая свою жизнь в помощь воспитания ее малолетних сестер».

Этот факт поразителен. Тридцатитрехлетний, все еще отбывающий наказание и лишенный гражданских прав рядовой, вчерашний каторжник без каких-либо видов на будущее – готов связать свою жизнь с юной девушкой из совершенно чуждой ему социальной и культурной среды. Трудно, почти невозможно представить этот гипотетический брак. Тем не менее вопрос был поставлен.

«...Во всех письмах Достоевского, – пишет Губенко, – было выражено чувство не как только к женщине, а как к человеку, в котором он искал найти не только женщину, а друга». Годилась ли Неворотова на эту роль? В момент знакомства оба они как бы уравниены силою обстоятельств. Но обстоятельства рано или поздно должны были измениться.

Елизавета Михайловна Неворотова говорила Губенко, что не могла устроить своего счастья, поскольку ей нужно было воспитывать сестер. Но ведь Достоевский как раз и хотел споспешествовать осуществлению этой задачи. Он не просто ищет ее руки. Он предлагает **помощь**: больше ему нечего предложить.

Мог ли еще не прощенный, отбывающий приговор политический преступник рассчитывать на то, что ему будет разрешено вступить в законный брак? Конечно, надежды возлагались на будущее. Но когда это будущее наступило, его сердце уже было занято.

«...Лучше бы никогда не любить»

О Марье Дмитриевне, как уже говорилось, известно сравнительно мало. Нет главного источника – ее собственных текстов. До нас не дошло **ни одного** ее послания к Достоевскому; вообще неизвестна ее переписка – за исключением единственного краткого послания к сестре. Из многочисленных писем Достоевского к ней уцелело

¹⁸ Здесь и далее слова Губенко цит. по: Достоевский и Омск. С. 62–64.

только одно. Между тем он писал ей в Кузнецк едва ли не с каждой почтой.

Куда исчезла эпистолярная? Сколь это ни при-
скорбно, приходится допустить, что хранительная
рука Анны Григорьевны, ревностно оберегавшей
мужнин архив, в этом случае дрогнула. Или, если
угодно, стала еще более **ревностной**. Подлинные
свидетельства другой любви и другого брака, как
бы они ни были драгоценны для биографа, непере-
носимы для женщины любящей. Эти **профессии**
не должны совпадать. Всегда есть опасность, что
«вечно женственное» возобладает над скупым
историческим долгом.

Очевидно, Анне Григорьевне было не слишком
приятно читать появившиеся в 1912 году воспоми-
нания 79-летнего А. Е. Врангеля, весьма располо-
женного к первой жене своего семипалатинского
друга. Мужской взгляд мемуариста не обнаруживает
в Марье Дмитриевне серьезных изъянов: «до-
вольно красивая блондинка среднего роста, очень
худощавая, натура страстная и экзальтированная».
Благосклонен автор и к духовному облику героини:
«начитанна, довольно образованна, любознатель-
на, добра и необыкновенно жива и впечатлитель-
на». Все это, несомненно, выделяло Марию Дми-
триевну – полуфранцуженку, для которой язык
светского общества был родным, – из среды про-
винциальных семипалатинских дам. Ее поклонник,
в молодости свалившийся в обморок при виде
светской красавицы (в старости в обморок будут
падать перед ним – и преимущественно мужчины),
и сейчас еще непривычен к дамскому обществу.
Первый серьезный опыт – это Семипалатинск. Он
встречает женщину умную, отзывчивую и, главное,
близкого ему культурного круга. Если даже она не
читала его ранних вещей, то по меньшей мере
должна была слышать его имя. Семипалатинск, ко-
нечно, ссыльными не удивишь. Но бывшие петер-
бургские литераторы, чья вина, в отличие от явных
мятежников, не очень-то и понятна, попадают
здесь нечасто. Автору «Бедных людей» не было
надобности изображать из себя Грушницкого. Не-
зависимо от его прошлого его личность не могла не
производить впечатления. Формально принадлежа
к разряду нижних чинов, он принят не только в до-
ме своего батальонного командира подполковника
Белихова, но и в других весьма приличных домах.
(Однажды, правда, ему, бывшему в гостях – в сво-
ем неизменном солдатском мундире, – в прихожей
подставит плечи посчитавший его денщиком не-
знакомый офицер; Достоевский ловко снимет с не-
го шинель, после чего оба чинно прошествуют в
гостиную. Эпизод, напоминающий сцену из «Идию-
та», когда князь Мышкин, будучи у Иволгиных, под-

хватывает шубу Настасьи Филипповны, принявшей
его за лакея¹⁹.)

Именно в гостях у Белихова Достоевский и был
замечен.

Муж Марьи Дмитриевны А. И. Исаев – а в браке
они состоят около восьми лет – моложе Достоев-
ского на год. Их сыну Павлу исполнилось шесть.
Исаев служит по таможенной части и – сильно пьет.
Достоевскому жаль Исаева. Но кто тогда в Семипа-
латинске не пил?

Все знавшие Достоевского утверждают, что он
был равнодушен к спиртному и лишь изредка по-
зволял себе рюмку-другую. Нет указаний, что он
когда-либо отступал от этого правила. Тем удиви-
тельнее сообщение Губенко, основанное, по ее
словам, на письмах Достоевского к Е. М. Неворо-
товой и рассказах последней, будто ее корреспон-
дент «был склонен к употреблению спиртных на-
питков», сознавая при этом их пагубное действие,
и что, по его мнению, согласие Неворотовой на их
брак «кроме удовлетворения его чувственных ка-
честв, спасает его и от алкоголя».

Либо Губенко все-таки не совсем точна, либо
действительно в первые месяцы свободы Достоев-
ский позволил себе поддаться национальной
привычке. Во всяком случае, подобный период,
если только он имел место, длился очень недолго.
В 1856 году, излагая в одном из писем свои крайне
грустные обстоятельства, Федор Михайлович вос-
кликает: «Хоть вино начать пить!»²⁰. Сам тон в
данном случае демонстрирует зыбкость намере-
ния. Трудно не согласиться с мнением, что, знаясь
с Марьей Дмитриевной, он понимал, что потеряет
любимую женщину, если будет демонстрировать
тот же порок, какой вскоре сведет в могилу ее не-
счастливого мужа.

Говоря о первой любви своего отца, Любовь
Федоровна объясняет эту запоздалую страсть его
медленным физическим созреванием. Оно, как не
без некоторой наивности полагает мемуаристка,
завершается у **северных** русских мужчин не ра-
нее 25 лет. Поэтому телесно-нравственное разви-
тие юного Достоевского «было подобно развитию
гимназиста», который восхищается женщинами на
почтительном расстоянии, испытывая при этом
страх и как бы не нуждаясь в сближении. «Период
страстей, – докторально замечает Любовь Федо-
ровна, – начинается у моего отца только после ка-
торги, и тогда он уже не падает больше в
обморок»²¹.

¹⁹ Достоевский в забытых... С. 79.

²⁰ ПСС. Т. 28. С. 240. Письмо А. Е. Врангелю от 21 июля 1856 г.

²¹ Достоевский в изображении дочери. С. 50.

Да, **публично** таких казусов с ним больше не происходит. Но его состояние после разлуки с Исаевой близко к безумию.

«Я был поражен как громом, я зашатался, упал в обморок (упал-таки! – И. В.) и проплакал всю ночь... Велика радость любви, но страдания так ужасны, что лучше бы никогда не любить»²².

Любила ли его Марья Дмитриевна?

Сам он в этом не сомневается. «Я знаю, что она меня любит», – напишет он Врангелю в марте 1856 года²³. И, адресуясь к тому же корреспонденту, повторит через девять лет, когда все уже будет кончено: «О друг мой, она любила меня беспрдельно, я любил ее тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо».

Любопытно, что все это сообщается человеку, который был ближайшим свидетелем их романа (его начала) и, конечно, мог иметь о нем собственное мнение.

«В Федоре Михайловиче она приняла горячее участие, – пишет Врангель об отношении к нему будущей жены, – приласкала его, не думаю, чтобы глубоко оценила его, скорее пожалела несчастного, забитого судьбою человека». Мемуарист полагает, что это чувство сострадания Достоевский «принял за взаимную любовь».

Однако и сам Достоевский в своем единственном сохранившемся письме к Исаевой от 4 июня 1855 года подчеркивает именно это обстоятельство: «Одно то, что женщина протянула мне руку, уже было целой эпохой в моей жизни». Он именует ее родной сестрой и всячески восхваляет ее высокие качества («удивительная женщина, сердце удивительной, младенческой доброты» и т. д.). Не следует удивляться тому, что интимный мотив старательно приглушен в этом дышащем сдерживаемой страстью послании. Достоевский адресуется к замужней даме, чей супруг является потенциальным и, как ни странно, доброжелательным читателем их переписки. Поэтому автор письма старается соблюсти верную тональность. «Я не мог не привязаться к Вашему дому...»: как раз **дом** интересует его в последнюю очередь.

Врангель замечает, что Марья Дмитриевна, возможно, тоже привязалась к Достоевскому. Но, решительно добавляет он, «влюблена в него ничуть не была».

Некоторые признаки указывают, однако, на то, что высокая степень близости между будущими супругами была достигнута еще до отъезда Марьи

Дмитриевны в мае 1855 года в Кузнецк, куда получил назначение А. И. Исаев.

Описывая сцену разлуки («Достоевский рыдал навзрыд, как ребенок»), Врангель скромно добавляет, что, «желая доставить Достоевскому возможность на прощание поворковать с Марией Дмитриевной», он, Врангель, «здорово накатал шампанским ее муженька». После чего перетащил в свой экипаж, где Исаев «скоро и заснул как убитый»; Достоевский в свою очередь перебрался к отъезжающей²⁴. Чем не сюжет для куртуазного романа?

«Еще», – отметит он вынужденную разлуку.

Через десять месяцев, мучимый ревностью, он напишет Врангелю: «О друг мой! Мне ли оставить ее или другому отдать. Ведь я на нее имею *права*, слышите, *права!*»²⁵. Конечно, источники этих прав могут быть весьма широкого, в том числе чисто морального, свойства. Однако недаром Достоевский подчеркивает ключевые слова – в письме к человеку, который знал все. Но ревность Федора Михайловича относится уже не к мужу.

Александр Исаев скончается через два месяца после переезда в Кузнецк, в возрасте тридцати трех лет. Достоевский будет искренне сожалеть о его печальной судьбе («Еще»). При этом он не может не понимать, что эта смерть способна коренным образом изменить его жизнь.

«Предусмотрительно она уже подыскивала себе второго супруга, – уличает Любовь Федоровна еще не овдовевшую М. Д. Исаеву. – Достоевский казался ей лучшей партией в городе: он был очень одаренным писателем, у него была в Москве богатая тетка, посылавшая ему теперь все чаще деньги»²⁶.

Трудно сказать, чего в этих утверждениях больше – наивности или неправды. Одаренность Достоевского в забытом Богом Семипалатинске мало кого волновала. Тем более что у него пока нет позволения печататься. Что же касается «богатой тетки», то Куманины если и помогают, то в очень скромных размерах (крупную сумму они пожертвуют только на свадьбу). Несмотря на материальную поддержку старшего брата (тоже довольно умеренную), Достоевский испытывает хроническое безденежье. Он даже занимает деньги у Врангеля – чтобы послать их в Кузнецк оставшейся после смерти мужа без каких-либо средств Марье Дмитриевне.

И, наконец, самое главное. «Выгодный жених» все еще остается ссыльным солдатом, изгоем, лишенным дворянства. Будущее его более чем неопределенно. Конечно, смерть императора Нико-

²² ПСС. Т. 281. С. 212. Письмо А. Е. Врангелю от 23 марта 1856 г.

²³ Там же.

²⁴ Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 357.

²⁵ ПСС. Т. 281. С. 213. Письмо А. Е. Врангелю от 23 марта 1856 г.

²⁶ Достоевский в изображении дочери. С. 77.

лая Павловича, случившаяся в феврале 1855 года, в самый разгар как Крымской войны, так и семипалатинского романа, дает основание для надежды. Недаром с такой жадностью ловит Достоевский слухи, связанные с заключением мира и предстоящей коронацией, то есть с событиями, влекущими обычные в таких случаях высочайшие милости. Не без лирической натуры он сочиняет стихи (о них говорилось выше), предназначенные вдовствующей императрице. Он прекрасно сознает свое положение. «Ведь не за солдата же выйти ей», – пишет он Врангелю²⁷: речь идет о намерении кузнецкой подруги вступить в новый брак.

Именно последнее известие повергает Достоевского в состояние шока – с обмороком, рыданиями, с отчаянием («Ену»). Сообщая эти подробности, он употребляет 62 восклицательных и 31 просительный знак; такой взрыв эмоций – редкость даже для него. Правда, Марья Дмитриевна лишь туманно предположила, что может найтись человек «пожилой, с добрыми качествами, служащий, обеспеченный»²⁸. И что ежели таковой человек найдется, ей будет безразлично мнение на этот счет Достоевского, которого она между тем искренне любит. Но пока вопрошаемый впадает в иступление от этой дружеской просьбы (впрочем, в глубине души сознавая ее условность: «не верю я в жениха кузнецкого!»), в Кузнецке нарисовался реальный соперник: бедный, но молодой.

Счастливчик Вергунов

24-летний учитель Николай Борисович Вергунов моложе Исаевой на восемь лет (впрочем, благодаря невинным хитростям последней он полагает, что на пять). Они сходятся на *педагогической* почве: он учит ее сына Пашу, она дает ему уроки французского. Их связь, насколько можно судить, исполнена страсти. Возможно, в посланиях из Кузнецка осторожно намекалось на этот роман. Недаром их семипалатинский адресат признается: «...Я ревную ее ко всякому имени, которое упомянет она в своем письме»²⁹. Но как бы то ни было, Достоевского, совершившего в июне 1856 года отчаянный (не санкционированный начальством) вояж в Кузнецк, ожидает страшный удар. Об этом он повествует в совершенно шиллеровских тонах: «Что за благородная, что за ангельская душа! Она плакала, целовала мои руки, но она любит другого»³⁰. Он не подозревает, что очень похожая сцена с пугающей неизбежностью повторится через семь лет,

когда, *на крыльях любви* примчавшись в Париж, он услышит из уст Аполлинарии Суловой (правда, уже без слез и целования рук) ужасную весть, что он опоздал.

Можно представить, сколь титаническими были предпринятые им усилия, если после двух дней его пребывания в Кузнецке «ее сердце опять обратилось» к нему. В ход, очевидно, было пущено все – от грозных пророчеств о подстерегающей безрассудных любовников нищете (как будто у него самого положение было прочнее!) до возможных, предвидимых в будущем оскорблений со стороны молодого супруга – вроде того, что стареющая жена возжелала «сладострастно заесть» чужую еще не отцветшую юность.

Достоевский возвращается в Семипалатинск «с полной надеждой».

Отсутствующий, однако, всегда неправ. Сердце Марьи Дмитриевны качнулось обратно – в сторону Вергунова, который поначалу согласился было с доводами семипалатинского визитера и уже готов был уступить поле боя. «С ним я сошелся, – говорит о сопернике Достоевский, – он плакал у меня, но он только и умеет плакать!»³¹

В историко-биографической литературе давно утвердилась манера трактовать молодого возлюбленного Исаевой как совершенно бесцветное существо, одолеть которое будущему автору «Преступления и наказания» не составляло большого труда. Как бы само собой разумеется, что, кроме физических достоинств (которые определяются в основном словом «красавец», прилагаемым к герою Любовью Федоровной, никогда не видевшей его), Вергунову якобы нечего противопоставить победительному обаянию Достоевского. Однако обнародованные сравнительно недавно архивные документы способны сильно поколебать эту успокоительную концепцию.

Во-первых, выясняется: скромный уездный учитель не столь уж безлик. Он дерзко вступает в заведомо безнадежный спор с непосредственным начальством – смотрителем местных училищ, стремясь прежде всего отстоять свое человеческое достоинство. (Правда, этот конфликт случится лишь в 1863 году, но надо полагать, что предшествующие семь лет не слишком изменят стиль поведения и личность Николая Борисовича.) На упреки куратора в невыполнении им, Вергуновым, педагогического долга он не без некоторого высокомерия отвечает, что «десятилетняя служба моя и формулярный список, которыми я постоянно аттестован “способен и достоин”, могут вывести Вас из того заблуждения, в которое Вы впали, ве-

²⁷ ПСС. Т. 281. С. 212.

²⁸ Там же.

²⁹ ПСС. Т. 281. С. 231. Письмо А. Е. Врангелю от 13 апреля 1856 г.

³⁰ Там же. С. 235. Письмо от 14 июля 1856 г.

³¹ Там же. С. 236.

роятно, в запальчивости...» Претензии зрителя училищ Вергунов почитает «уже не за личное оскорбление, а официальное». Он указывает вышестоящему чиновнику, что «законами Российской империи начальствующим лицам не дано право, право оскорблять подчиненных, в какой бы зависимости они ни были». Разумеется, подобный тон, равно как и «система доказательств», не могли вызвать у адресата, от которого не в последнюю очередь зависела карьера Вергунова, особых к нему симпатий.

В общем, въедливый Николай Борисович – а ему в ту позднюю пору исполнится уже тридцать один – заражен несвойственной его чину и возрасту амбициозностью. Отвергая еще одно обвинение (в невежливости), он наставительно указывает зрителю училищ, что «даже в простом быту, а не только в обществах образованных входящий в частный дом или общественное заведение, какого рода оно бы ни было, обязан предварительно поклониться и тем, в первом случае, – оказать привет хозяину, а во-вторых, – обществу, с которым желает провести время». Но увы! Посетивший его в училище адресат этих обвинений не счел нужным руководствоваться столь простыми и очевидными правилами. «Вы, к сожалению, этих условий не соблюли, а снявши галоши и шинель, едва-едва поклонились учащимся, а не только мне – меня вы и не заметили. Следовательно, с моей стороны не было ничего ни неприличного, ни невежливого»³².

Это – характер. Можно аттестовать его как заносчивый и занудный, а можно – как весьма и весьма уязвимый. Во всяком случае, тут вопиет самолюбие. Не схожа ли в чем-то эта административная полемика с давней почтовой дуэлью между молодым Достоевским и его опекуном П. А. Карепиным, когда для одного из корреспондентов важен не столько практический результат, сколько нравственная победа?

Итак, Вергунов умел не только «плакать». И его «ругательное» (не дошедшее до нас) письмо к Достоевскому, у которого он при личной их встрече «сам просил... и дружбы и братства» (опять сугубо шиллеровский мотив!), – более адекватный ответ на призывы одуматься и не обречь Марию Дмитриевну на «вечный Кузнецк», нежели рыдания на груди увещателя. Реакция Вергунова, который, очевидно, как и в будущем своем конфликте со зрителем училищ, примет внушаемые ему советы «за личность и за оскорбление»³³, отнюдь не признак «дурного сердца», что было предположено Достоевским. Скорее, это естественная самозащита.

³² Кушникова М. М., Тогулев В. В. Загадки провинции. «Кузнецкая орбита» Федора Достоевского в документах сибирских архивов. Новокузнецк: Кузнецкая крепость, 1996. С. 35–41.

³³ ПСС. Т. 281. С. 236. Письмо А. Е. Врангелю от 14 июля 1856 г.

Конечно, автор «Белых ночей», как и годы спустя в случае с «победившим» его любовником Сусловой Сальвадором, мог тешить себя мыслью, что Вергунов «не Лермонтов». Но это было утешением слабым.

Счастье ускользает из рук – и Достоевский меняет тактику. К изумлению (как можно предположить) обладающего связями Врангеля, он просит барона походатайствовать перед высшим начальством за своего молодого соперника («хвалите его на чем свет стоит») – приискать Вергунову приличное место и приличное жалованье. «Это все для нее, для нее одной. Хотя бы в бедности-то она не была, вот что!»³⁴

Эти заботы принято квалифицировать как порыв чистейшего альтруизма – стремление к тому, чтобы даже в ненавистном для просителя браке любимая женщина не испытывала тягот и нужд. И, конечно же, приходит на ум благородный Иван Петрович из «Униженных и оскорбленных», усердно хлопочущий о счастье любимой им Наташи с молодым князем Валковским.

Все это так. Нет никаких оснований сомневаться ни в искренности Достоевского, ни в чистоте его помыслов. И все же, устраивая судьбу Вергунова, он в глубине души не мог не сознавать, что его благодеяния будут расценены именно как **его** благодеяния. Что они зримые доказательства его могущества и способности влиять на людские судьбы. Ему, а не Вергунову будет обязана избавлением от нищеты Мария Дмитриевна – и кто знает, не переманятся ли в этой связи ее матримониальные планы.

До нас, как уже говорилось, не дошла интенсивнейшая переписка между Семипалатинском и Кузнецком лета – осени 1856 года. Отсутствуют также косвенные сведения, которые обычно можно извлечь из писем Достоевского к Врангелю: в их эпистолярии случился некоторый перерыв. Но можно сказать, что вплоть до конца ноября брачная перспектива для Семипалатинска не просматривается. «...Есть ли надежда, нет ли, мне все равно, – пишет Достоевский. – Я ни об чем более не думаю. Только бы видеть ее, только бы слышать! Я несчастный сумасшедший! Любовь в таком виде есть болезнь»³⁵. Но преданность, упорство, настойчивость и усиливаемая расстоянием страсть приносят свои плоды. Речь о Вергунове как муже уже не идет. И подоспевшее наконец производство в первый офицерский чин окончательно склоняет чашу весов в пользу новоиспеченного прапорщика.

«Чего доброго, – говаривал он в молодости, – женят меня еще на какой-нибудь француженке, и

³⁴ Там же.

³⁵ ПСС. Т. 281. С. 237. Письмо А. Е. Врангелю от 14 июля 1856 г.

тогда придется проститься навсегда с русскою литературой!»³⁶ Женитьба на полуфранцуженке оставляла родной словесности какой-то шанс.

Но следовало еще объясниться с братом.

«Решенье мое неизменно...»

Впервые о существовании *невесты* Михаил Михайлович узнает из письма Федора Достоевского от 13–18 января 1856 года. Иными словами, почти полтора года, пока длился роман, брату о нем ничего не было известно. Представление об Исаевой он получает одновременно с твердо заявленным намерением младшего брата вступить в брак.

Как и следовало ожидать, Михаила Михайловича не приводят в восторг эти сибирские грезы. «Не скрою от тебя, друг мой, что твое желание сильно меня испугало», – пишет он Федору Михайловичу, хотя и добившемуся микроскопического продвижения по службе, но все еще лишенному гражданских прав. Он понимает, что унтер-офицеру самому не поднять семьи, и предвидимые тяготы будут возложены на его, Михаила Михайловича, братские плечи. Разумеется, в своем письме он находит другие, однако не менее впечатляющие аргументы. «Я боюсь за тот путь, на который ты вступаешь, путь самых мелких прозаических забот, грошевых треволнений, одним словом за эту мелкую монету жизни, на которую ты разменяешь свои червонцы. Выдержишь ли ты все это? Не упадешь ли ты духом?» Брат умоляет брата одуматься и не жениться – «до тех пор, пока не устроятся твои обстоятельства»³⁷.

Еще не дождавшись реакции корреспондента, Федор Достоевский настоятельно просит Михаила озаботиться тем, чтобы в случае поступления малолетнего Паши Исаева в Павловский корпус (намерение не осуществилось) мальчик был бы забираем по воскресеньям в семейство брата, дабы это общение благотворным образом сказывалось на нравственности ребенка. «Не объел же бы тебя бедненький сиротка. А за сиротку тебе Бог еще больше подаст», – вдохновляет он своего адресата³⁸.

Но это еще не все. Брат Федор с горячностью призывает брата Мишу написать незнакомой тому Марье Дмитриевне теплое душевное письмо – с изъяснением благодарности за ее внимание к «бедному изгнаннику» и с готовностью в свою оче-

редь «облегчить одиночество» ее ребенку, буде таковой окажется в Петербурге. Федор Михайлович простирает свое попечительство до того, что легким пером набрасывает подробный конспект (своего рода «рыбу») этого почти что родственного послания, после чего великодушно доверяет брату «покороче и получше» составить окончательный текст.

Отговаривая брата Федора от женитьбы, Михаил Михайлович прибегает еще к одному неотразимому, как ему кажется, аргументу: «Тебе 35 лет, но этого-то я и боюсь, мой бесценный. В эти годы уже нет той энергии. Тело просит покоя и удобств»³⁹.

Федор Достоевский хорошо запомнит это братское назидание. (Интересно, что говорилось бы Михаилом Михайловичем через одиннадцать лет, доживи он до новой свадьбы своего брата!) Спустя полгода, сообщая ему о предстоящей женитьбе («...не пробуй меня отговаривать. Решенье мое *неизменно*»), Федор Михайлович добавляет: «Я уверен, ты скажешь, что в 36 лет тело просит уже покоя, а тяжело навязывать себе обузу. На это я ничего отвечать не буду»⁴⁰. Надо думать, сей реприманд навсегда отвратил тонко чувствующего Михаила Михайловича от дачи подобных советов.

Позднее старший будет исправно выполнять семейственные поручения младшего брата, как то: приискание шляпки для Марьи Дмитриевны, пока супруги ждут в Твери разрешения на въезд в Петербург (куда, кстати, таганрогская уроженка въезжает впервые). «Шляпка должна быть серенькая или сиреневая, безо всяких украшений и цац, без цветов, одним словом, как можно проще, дешевле и изящнее (отнюдь не белая) – *расхожая в полном смысле слова*». При этом строго указывается, что ленты необходимы исключительно «с продольными мелкими полосками серенькими и беленькими»⁴¹.

Вспоминал ли автор, сочиняя свою *инструкцию*, скромную Вареньку Доброселову, перед свадьбой требующую от бедного Макара Девушкина позаботиться о «фальбале»: «Да еще: буквы для вензелей на платках вышивать тамбуром; слышите ли? тамбуром, а не гладью. Смотрите же не забудьте, что тамбуром!»

Но вернемся к письму брату Михаилу от 22 декабря 1856 года, где содержится известие о женитьбе.

Свое письмо Федор Достоевский пишет в знаменательную для него годовщину. Ровно семь лет назад – 22 декабря 1849 года – он был выведен на Семеновский плац. И именно в этот день им было

³⁶ Приводится по: Ризенкампп А. Е. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском // Литературное наследство. Ф. М. Достоевский: новые материалы и исследования. М.: Наука, 1973. Т. 86. С. 330.

³⁷ Ф. М. Достоевский: Письма / Под ред. и с прим. А. С. Долинина. М.–Л.: ГИЗ, 1928. Т. 1. С. 529.

³⁸ ПСС. Т. 281. С. 221–222.

³⁹ Письма. Т. 1. С. 529.

⁴⁰ ПСС. Т. 281. С. 257.

⁴¹ Там же. С. 332–333.

написано: «Брат, любезный друг мой! все решено!»⁴² Ныне, 22 декабря 1856 года, он мог бы повторить те же самые слова⁴³. Или – прибегнуть к цитате, если бы, конечно, этот пушкинский текст был к тому времени обнародован: «Участь моя решена. Я женюсь...»⁴⁴

Клеймя ничтожного Вергунова, Любовь Федоровна не упоминает о том, что именно Вергунов был на свадьбе «поручитель по женихе», иными словами – шафер. Так достигает кульминации навязывая в зубах шиллеровская тема. Конечно, в этом трагикомическом надрыве можно при желании усмотреть и «типичные признаки» того, что именуется достоевщиной. Но куда интересней сокрытый в этом событии смысл. А именно: кузнецкий брак стал возможен благодаря тайному «сговору трех».

21 декабря 1856 года, сообщая Врангелю о свадьбе как о деле решенном, Достоевский пишет: «Она (Марья Дмитриевна. – И. В.) меня любит. Это я знаю наверно. Я знал это и тогда, когда писал Вам летом письмо мое. Она скоро разуверилась в своей новой привязанности. Еще летом по письмам ее я знал это»⁴⁵. Но если так, то тем самым подтверждается наше предположение, что просьбы о содействии Вергунову, изложенные как раз в том самом летнем письме, были, так сказать, средством двойного назначения: призванным, с одной стороны, помочь тому, о ком пекутся, а с другой – обеспечить моральное превосходство просителя.

Теперь, в декабре, Достоевский вновь возвращается к этому же сюжету. «Прошу Вас на колени», – пишет он Врангелю, употребив наивысшую из находящихся в его распоряжении эпистолярных эмоций. Он вновь ходатайствует за соперника, ибо «теперь он мне дороже брата родного». О «дурном сердце» ныне не поминается вовсе. Напротив: «О Вергунове не грешно просить: *он того стоит*». Стоит сам по себе, независимо от поставленной некогда, а ныне неактуальной цели – осчастливить его будущую супругу.

Что же, однако, такого случилось с названным выше лицом, если оно удостоивается подобных похвал? Достоевский был в Кузнецке в конце ноября. Тогда им и было сделано официальное предложение Марье Дмитриевне. И «теперь» Вергунов ему «дороже брата родного».

Нет сомнения: Вергунов *отступился*. И сделал это достаточно благородным образом. Так или иначе, хлопоты за него Достоевского выглядят именно как *отступные*.

«Слишком долго, – замечается о Вергунове, – рассказывать мои отношения к нему». Оговорка многозначительная. Достоевский, впрочем, и не рассказывает. Врангель, на которого возлагаются комиссии относительно Вергунова, не извещается о том, какую роль играл последний при заключении брака. Брату же, с которым автор письма, как правило, откровенен, лишь кратко сообщается, что шаферами были «порядочные довольно люди, простые и добрые»⁴⁶.

В «Обыске брачном № 17» кузнецкой Одигриевской церкви означено, что «все показанное здесь о женихе и невесте справедливо, в том удостоверяют свою подписью как они сами, так и по каждом поручители, с тем, что если что окажется ложным, то подписавшиеся повинны за то суду по правилам церковным и по законам гражданским». Эта хотя и рутинная, но не лишенная остротки формула не смогла оградить документ от вкравшихся в него, мягко выражаясь, неточностей. Против пункта третьего – «Возраст к супружеству имеют совершенный, и именно жених тридцати четырех лет, невеста двадцати девяти лет, и оба находятся в здравом уме» – нечего возразить, кроме, пожалуй, того рассуждения, что невесте, как мы знаем, все же 32 года, да и жениху не 34, а 35. К пункту шестому, констатирующему: «Как жених, так и невеста родителей в живых не имеют», следовало бы добавить, что у невесты отец, слава богу, жив, он пребывает в Астрахани и худо-бедно поддерживает дочь материально.

Что же касается пункта седьмого – «По троекратному оглашению, сделанному в означенной церкви, препятствий к сему браку никакого никем не объявлено», то это сущая правда: о *препятствиях* будет объявлено гораздо позднее⁴⁷.

Признание в неверности

Любовь Федоровна заявит на всю Европу: «Ночь накануне свадьбы Мария Дмитриевна провела у своего любовника...»⁴⁸ Кто мог, однако, быть источником этой *эксклюзивной* информации, кроме самого Достоевского?

⁴² Там же. С. 161.

⁴³ Удивляет эпистолярная активность Достоевского в эти дни – 21–22 декабря: пространные письма Врангелю, сестре Варваре, брату Михаилу, небольшие – двум неустановленным лицам. Предчувствуя «перемену судьбы», автор как бы подводит итоги.

⁴⁴ Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 6. М.–Л.: Издательство АН СССР, 1949. С. 580.

⁴⁵ ПСС. Т. 28. С. 252, 254.

⁴⁶ Там же. С. 274. Письмо от 9 марта 1857 г.

⁴⁷ См.: Герасимов Б. Г. Материалы к пребыванию Ф. М. Достоевского в Семипалатинске // Сибирская летопись (Иркутск). 1916. № 11–12. С. 567; Бекедин П. В. Малоизвестные материалы о пребывании Достоевского в Кузнецке // Материалы и исследования. Т. 7. С. 232–233.

⁴⁸ Достоевский в изображении дочери. С. 79.

Вообще, хотя воспоминания Любви Федоровны и изобилуют ошибками, **специально** она ничего не придумывает (за исключением разве своих генеалогических гипотез относительно норманно-литовского происхождения предков). Говоря о первой жене Достоевского, она, конечно, транслирует мнение его второй жены и известные этому источнику факты. Что ж, Анна Григорьевна из лучших побуждений иногда **подчищала** биографию мужа. Однако мы не знаем примеров сознательных фальсификаций с ее стороны. Поэтому можно предположить, что в откровениях Л. Ф. Достоевской наличествуют следы некоего устного предания – хотя и искаженного давностью лет, но имеющего внутрисемейные корни.

До самого последнего времени такое допущение с негодованием отвергалось. Как злостный вымысел расценивались утверждения дочери писателя, что его первая жена «тайно под покровом темноты посещала своего красавца-учителя, последовавшего за ней в Семипалатинск»⁴⁹. Глухо признавался только тот факт, что Вергунов «приезжал к молодоженам» и что Достоевский «отнесся подозрительно (! – И. В.) к его приезду»⁵⁰.

Недавно обнародованные документы позволяют вернуться к этой деликатной материи.

Достоевский венчается с Марьей Дмитриевной 6 февраля 1857 года, и в середине месяца молодые уже покидают Кузнецк. Но едва ли не на следующий день после их отъезда (а точнее, 17 февраля!) затевается дело об официальном перемещении Вергунова в Семипалатинск, где он благополучно и водворяется не позднее лета того же года⁵¹.

В этой связи – еще один удивительный факт. Супруги Достоевские проведут в Семипалатинске более двух лет. Но о том лице, которое теперь Достоевскому «дороже брата родного» и которое проживает с его семейством бок о бок, больше не будет сказано ни слова. Ни в переписке самого Достоевского, ни в воспоминаниях тех, кто оказались очевидцами его семипалатинской жизни. Был ли Вергунов вхож к молодоженам, или же ему было отказано от семейного дома, соблюдал ли он дистанцию или только видимость таковой – об этом ничего не известно. Но ведь не сквозь землю же он провалился. В городе с населением в пять тысяч человек разминуться довольно трудно.

«Молчание о Вергунове» очень красноречиво.

Нельзя не согласиться, что безоглядный порыв молодого учителя, при первой возможности ринувшегося за уже не принадлежащим ему предметом страсти, не может не вызвать сочувствия и известного уважения. Вергунов выполнил главное условие договора: отказался от притязаний на руку Марьи Дмитриевны. Насчет сердца речь, скорее всего, не шла. Шестьсот верст между Кузнецком и Семипалатинском делали излишним обсуждение темы. Но приезд Вергунова, конечно, менял ситуацию – и не в пользу Достоевского.

Никто и никогда (мы имеем в виду **специалистов**) не принимал всерьез «инсинуации» Любви Федоровны – что якобы летом 1859 года, когда чета Достоевских совершала четырехтысячекилометровый переезд из Семипалатинска в Тверь, за ними на расстоянии одной почтовой станции неотступно следовал Вергунов (чьего имени, кстати, мемуаристка не знает, обходясь универсальной формулой «красавец-учитель»). Ибо его Марья Дмитриевна «всюду возила с собой, как собачонку». На каждой станции ему оставлялись «написанные второпях любовные записки» с точными инструкциями о маршруте. «Что за удовольствие получала эта белокожая негритянка, – восклицает дочь благородных викингов, – видя по-детски счастливое лицо своего бедного мужа-писателя»⁵².

Ни в одном из источников мы не найдем намеков, могущих хотя бы косвенно подтвердить эту в высшей степени **волнительную** историю. Правда, дотошные новокузнецкие разыскатели недавно установили: незадолго до отъезда Достоевских из Семипалатинска в Тверь Вергунов подает рапорт об увольнении его в отпуск в Томск – «на все вакационное время». Неясно, пребывал ли он в июле – августе именно в Томске или проследовал в какие-то другие края⁵³. Выходит, что стопроцентного **алиби** у Вергунова все-таки нет.

Но каким образом узнал Достоевский убийственные для него подробности? Любовь Федоровна не оставляет читателя в неведении на этот счет. Она утверждает, что незадолго до смерти Марьи Дмитриевны Вергунов навещил умирающую, которая, снедаемая чахоткой, покинула Петербург и проживала во Владимире и в Москве. («Ену. Отъезд М<аши>», – пометил Достоевский 6 сентября 1860 года⁵⁴.) Для этого он специально наведлся «на материк» из Сибири. «Кашляющая и харкающая кровью женщина скоро стала вызывать отвращение у своего молодого любовника», и он покинул ее. Это событие настолько потрясло отчаявшуюся

⁴⁹ Там же. С. 80.

⁵⁰ Там же. С. 225; Герасимов Б. Г. Материалы к пребыванию... С. 567–568.

⁵¹ Загадки провинции. С. 46–47, 62–63; Материалы и исследования. Т. 7. С. 233.

⁵² Достоевский в изображении дочери. С. 82.

⁵³ Загадки провинции. С. 68–69.

⁵⁴ Цит. по: Материалы и исследования. Т. 5. С. 233.

любовницу, что во время одной из семейных сцен она открылась обманутому супругу, «рассказав во всех подробностях историю своей любви к молодому учителю». Мало того, «с утонченной жестокостью» она поведала мужу, как они вместе с соперником «веселились и насмехались» над ним, «призналась, что никогда не любила его и вышла замуж только по расчету»⁵⁵.

Запомним, что эти откровения вырвались у Марьи Дмитриевны в момент ссоры, в состоянии сильнейшей экзальтации.

«Бедный отец! – восклицает попечительная дочь. – Сердце его разрывалось, когда он слушал безумную исповедь своей жены».

Осторожное предположение новокузнецких исследователей, что семидневный домашний арест учителя Вергунова в 1864 году, о причинах которого архивные документы умалчивают, был вызван какой-то его самовольной отлучкой – возможно, поездкой к умирающей Марье Дмитриевне⁵⁶, – эта гипотеза, хотя и эффектна, но, увы, малодостоверна. Ибо весьма затруднительно при тогдашних средствах сообщения и ничтожном учительском жалованье осуществить такой отчаянный прыжок – из глубин Западной Сибири в Центральную Россию. А вот то, что во время одной из ссор выведенная из себя больная **открыла глаза** недостойному супругу, – вероятность этого весьма велика.

Но тут возникает вопрос.

Способна ли Марья Дмитриевна, не сумевшая или не захотевшая летом 1856 года скрыть от потенциального жениха своей новой привязанности, уже после брака долгое время вести столь хитрую и расчетливую игру? Достоевский, конечно, как он сам признавался, был **прост**, однако не до такой же степени.

«Она никогда не имела тайн от меня», – писал он Врангелю еще в период своего жениховства. Привычно добавляя: «О, если б Вы знали, что такое эта женщина!»⁵⁷

И в письме старшему брату сразу же после свадьбы: «Это доброе и нежное создание, немного быстрая, скорая, сильно впечатлительная; прошлая жизнь ее оставила на ее душе болезненные следы. Переходы в ее ощущениях быстры до невозможности; но никогда она не перестает быть доброю и благородною»⁵⁸.

Из этих текстов – даже если учесть некоторые преувеличения, извинительные, впрочем, для человека, пребывающего под впечатлением медового месяца, – можно понять, что Марья Дмитриевна ско-

рее непосредственна, нежели скрытна, коварна, зла «и лай». Ее душевная организация просто не рассчитана на интригу, подобную той, о которой повествует Любовь Федоровна.

До нас дошел только один текст, собственноручно написанный Марьей Дмитриевной. Это несколько строк, обращенных к ее сестре Варваре (они приписаны к отправляемому в Астрахань Д. С. Константу, их отцу, почтительно-родственному письму Достоевского). Новобрачная пишет: «Скажу тебе, Варя, откровенно – если б я не была так счастлива и за себя, и за судьбу Паши, то, право, нужно было поссориться с тобою, как с недоброю сестрою, но в счастье мы всё прощаем. Я не только любима и балуема своим умным, добрым, влюбленным в меня мужем, – даже уважаема и его родными. Письма их так милы и приветливы, что, право, остальное стало для меня трывом. Столько я получила подарков, и все один другого лучше, что теперь будь покойна, придется мало тебя беспокоить своими поручениями»⁵⁹.

Приписка М. Д. Достоевской, замечает А. С. Долинин, показывает, «что это была женщина образованная, чувствительная и вполне “ровня” своему знаменитому мужу»⁶⁰. Не возражая в общем против подобной оценки (хотя, признаться, особую образованность здесь усмотреть трудно), добавим, что в настоящем случае был бы уместен, например, когнитивный анализ. Этот небольшой по объему текст позволяет тем не менее разглядеть в авторе натуру непосредственную и в то же время амбициозную. «Сверхзадача» письма – как можно чувствительнее уязвить родную сестру в отместку за ее молчание, невнимание и прочие действительные или мнимые прегрешения. Причем сделать это чисто по-женски, как бы снисходя с высоты собственного благополучия, своего не вызывающего сомнений личного счастья. Марья Дмитриевна, готовая было поссориться с «недоброю сестрою», великодушно прощает ее, потому что в свете нынешнего своего положения она может не замечать холодности сестры. Что значат эти небрежности в сравнении с «умным, добрым, влюбленным в меня» мужем, а тем паче – с уважением его московской и петербургской родни? Их письма «так милы и приветливы» – очевидно, не чета сестринским. Тем более что новые родственники завалили Марью Дмитриевну таким количеством подарков («и все один другого лучше»), что теперь – «будь покойна!» – у нее нет надобности обращаться с подобными просьбами к черствой и неотзывчивой родственнице.

⁵⁵ Достоевский в изображении дочери. С. 83.

⁵⁶ Загадки провинции. С. 38.

⁵⁷ ПСС. Т. 281. С. 252.

⁵⁸ Там же. С. 275.

⁵⁹ Цит. по: ПСС. Т. 281. С. 484.

⁶⁰ Цит. по: Донов А. А. Мария Констант, жена Достоевского. СПб.: [Омега, АртСтрим], 2004. С. 56.

Все это, высказанное, как кажется автору письма, не без тонкого ехидства, на самом деле очень бесхитростно и наивно. Может ли такая женщина длительное время таить свои чувства и вести двойную игру? Кстати, героини, в которых так или иначе отразились черты Марьи Дмитриевны, менее всего способны на перманентный обман.

Теперь допустим, что Марья Дмитриевна действительно сделала мужу свои страшные признания. Но вот она умирает – и обманутый супруг, казалось бы, должен теперь пересмотреть свои «итоговые оценки», с горестью принять то, о чем спустя полвека заявит воспоминательница-дочь: «Эту мегеру он считал любящей и преданной женой!»⁶¹

Но – ничуть не бывало. Ровно через год после смерти Марьи Дмитриевны Достоевский напишет Врангелю, что хотя он и знал, что жена умирает, «но никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землею». Да, он не отрицает, что они были «положительно несчастны вместе (по ее странному, мнительному и болезненно-фантастическому характеру)», однако «мы не могли перестать любить друг друга; даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу». Ему ли не знать сближающую силу страдания?

Конечно, исходя из этих глухих намеков, **теоретически** можно предположить: Достоевский знал **все**. И его христианское всепрощение (вариант: писательское всепонимание) простиралось до такой степени, что он жертвовал личным счастьем для блага ближнего, в роли какового в настоящем случае подвизалась его собственная жена. Это допущение ничем не хуже уверений одного из его героев, что он своему супругу любил, но после ее измены стал еще уважать.

Непреложно одно. По завершении этого брака он говорит то же, о чем толковал в самом начале: «Это была самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из всех, которых я знал во всю жизнь». Он не разочаровался в своей избраннице – и никогда не отзывался о ней худо. Во всяком случае, в письменном виде. Но, может быть, с Анной Григорьевной он более откровенен? И может, именно здесь сокрыт источник той информации, которой впоследствии поразит публику добросовестная Любовь Федоровна?

Надо ли ставить памятник бывшим женам?

«Я пробовала расспрашивать его об умершей жене, – сдержанно замечает в своих мемуарах Ан-

на Григорьевна, – но он не любил о ней вспоминать. Любопытно, что и в дальнейшей нашей супружеской жизни Федор Михайлович никогда не говорил о Марии Дмитриевне...»

Это не совсем так.

О том, что автор «Игрока» был женат, Анна Григорьевна узнала еще во время их совместных диктовок в октябре 1866 года. Через год в своем женовском стенографическом дневнике она вспоминает, как Достоевский тогда сказал ей, что его жена «была страшная ревнивица», и продемонстрировал ее портрет. Изображение Анне Григорьевне не понравилось: «какая-то старая, страшная, почти мертвая». Достоевский объяснил, что фотография сделана за год до смерти. Автор дневника добавляет, что первая жена «очень злая была и раздражительная; по его рассказам это видно тоже, хотя он и говорил, что был с нею счастлив».

Итак, речь о Марье Дмитриевне все же заходила – и тогда, в период знакомства, и сейчас, когда заканчивался первый год их супружества. И если Врангелю можно признаться, что они с Марьей Дмитриевной были «положительно несчастны вместе», молодой жене знать об этом совершенно не обязательно. По **официальной версии** – первый брак удался.

«Сегодня мы говорили о его прежней жизни и Марии Дмитриевне, – понятными только ей стенографическими знаками записывает Анна Григорьевна, – и он толковал, что ей непременно следует поставить памятник». Это намерение не нравится Анне Григорьевне («Не знаю, за что только?» – искренне добавляет она), ибо за **предшественницей** не признается каких-либо особых заслуг⁶². Далее следует фраза еще более замечательная: «Федя толковал, что его похоронят в Москве, но так решительно не будет». Та, которой предстоит прожить с Достоевским еще тринадцать лет, точно знает, с кем рядом ему положено лежать. Они должны покоиться вместе. Так оно в конце концов и случится, хотя путь к этому окажется совсем не таким простым, как ей представлялось.

Анна Григорьевна приводит в дневнике одну любопытную подробность. Она говорит, что, касаясь прошлого, муж рассказывал ей «о своих изменах». И в связи с этим осудительно замечает, что если бы он любил первую жену, то не стал бы ей

75

⁶¹ Достоевский в изображении дочери. С. 83.

⁶² Достоевская А. Г. Дневник 1867 года. М.: Наука, 1993. С. 275. В одном из черновых набросков к своим воспоминаниям Анна Григорьевна пишет: «Я должна признаться в одном очень дурном чувстве, которое у меня тогда было, именно в ревности к Марии Дмитриевне. Я так любила Ф. М., что мне было обидно подумать о том, что другая женщина когда-нибудь была ему дорога и много значила в его жизни... Это было чисто детское чувство, которое с возрастом исчезло» (С. 439). Следует отдать должное этому позднему признанию.

изменять. Иначе «что это за любовь, когда при ней (очевидно, при жене. — И. В.) возможно любить и другого человека, да не только одного, а нескольких»⁶³. Интересно, что в этом рассуждении об изменах употреблено множественное число: вероятно, наряду с А. П. Сусловой могли называться и другие, неведомые нам имена. Неудивительно, что, когда Достоевский получает за границей письмо от «друга вечного», мучимой ревностью Анна Григорьевна начинает мерещиться, что Суслова самолично явилась в Швейцарию, «и вот они оба считают, что могут обманывать меня, как прежде обманывал Марию Дмитриевну»⁶⁴.

О том, что Марья Дмитриевна могла обманывать Достоевского, Анна Григорьевна не упоминает нигде — ни в дневниках («зашифрованных» так, что можно было не опасаться нескромного взгляда), ни в письмах, ни в каких-либо записях «для себя». Учитывая крайне раздражавшее ее обстоятельство, что свою первую жену Достоевский имел обыкновение ставить в пример (очевидно, в воспитательных целях)⁶⁵, она не преминула бы зафиксировать столь впечатляющий **компромат**. Тем более что со временем муж стал с ней вполне откровенен.

В своих воспоминаниях Анна Григорьевна останавливается на эпизоде, когда весной 1868 года, после смерти их первого ребенка, трехмесячной Сони, они покинули Женеву и направились в Веве. И тут, на пароходе, впервые за все время их семейной жизни Достоевский возопил. Анна Григорьевна «услышала его горькие жалобы на судьбу, всю жизнь его преследовавшую». Упомянуто было и первое супружество: «Говорил о своих мечтах найти в браке своем с Марьей Дмитриевной столь желанное семейное счастье, которое, увы, не осуществилось: детей от Марии Дмитриевны он не имел», а из-за ее характера был «очень несчастлив». Среди этих откровений должно было бы непременно присутствовать самое важное — о Вергунове. Но его нет.

Притом что другие подробности Anne Григорьевне были ведомы.

По уверению Любви Федоровны, ее отец «с грустью... повторял позорные слова Марии Дмитриевны: “Ни одна женщина не полюбит бывшего каторжника”»⁶⁶. Это не злостная выдумка мемуаристки. Подтверждение этих слов мы находим в дневниковой записи двадцатилетней Анны Григорьевны: «Ведь вот Мария Дмитриевна ругала его

каторжником, подлецом, колодником, и ей все сходило с рук»⁶⁷.

Вот он — первоисточник. Хотя дочь и не читала стенографических дневников своей матери, именно у нее она черпает свою информацию. Почему же, повторим еще раз, в записях Анны Григорьевны нет никаких следов другой истории — с красавцем-учителем, столь выигрышной, чтобы унижить **соперницу**?

Но посмотрим внимательнее.

Приведа «цитату» из Марьи Дмитриевны — о том, что нельзя любить бывшего каторжника, Любовь Федоровна комментирует ее следующим образом: «Лишь дочь раба могла следовать этому принципу лакейской души; подобная мысль никогда не зародилась бы в великодушной европейской душе»⁶⁸. У самой Анны Григорьевны мы не найдем таких глобальных нравственно-антропологических обобщений. Вполне бесхитростно она приводит следующий диалог. Однажды во время семейной ссоры, отвечая на упрек Достоевского, что его никто не обзывал оскорбительными словами, находчивая Анна Григорьевна вспоминает покойную Марью Дмитриевну. Ибо она «его и каторжником ругала». Что же отвечает Федор Михайлович на этот убедительный довод? Автор дневника аккуратно фиксирует его прямую речь:

«— Ругала она и хуже, но ведь все знают, что она из ума выжила, как говорят в народе, что она была полоумная, а в последний год и совсем ума не было, ведь она и чертей выгоняла, так что с нее спрашивать»⁶⁹.

Нелишне еще раз убедиться, сколь многое зависит от контекста. Ругательства Марьи Дмитриевны обретают в свете сказанного Достоевским совсем иной характер, нежели тот, который через десятилетия старается придать им Любовь Федоровна. В ее изложении — это сознательные оскорбления, исходящие от злой и неблагодарной особы, «дочери раба, следующей принципу лакейской души». Но разве так трактует их Достоевский? Он-то как раз находит оправдание своей оскорбительнице — в ее крайне болезненном состоянии, в психической неадекватности и т. д. — «так что с нее спрашивать». То, что у Любви Федоровны выглядит как **криминал**, у Достоевского вызывает только жалость.

И еще одно важное признание зафиксировано в женевском дневнике. Достоевский говорит, что Марье Дмитриевне «уж года 3 до смерти представлялись разные вещи, виделось то, чего вовсе и не

⁶³ Там же. С. 319.

⁶⁴ Там же. С. 250–251.

⁶⁵ Там же. С. 362.

⁶⁶ Достоевский в изображении дочери. С. 83.

⁶⁷ Дневник 1867 г. С. 210.

⁶⁸ Достоевский в изображении дочери. С. 83.

⁶⁹ Дневник 1867 г. С. 362.

было. Например, представлялся какой-нибудь человек, и она уверяла, что такой человек был, между тем решительно никого не было». Он приводит конкретный образчик ее фантазий: «...Она ужасно не любила свою сестру Варвару (что подтверждается, в частности, проанализированным выше ее письмом к последней. — И. В.), говорила, что она была в связи с ее первым мужем (то есть с А. И. Исаевым! — И. В.), чего вовсе никогда не было»⁷⁰.

Возможно, именно здесь находится ключ к разгадке.

«Маша лежит на столе»

Известно, что и внешность, и характер Марьи Дмитриевны отразились в образах двух Катерин — жены Мармеладова из «Преступления и наказания» и Катерины Ивановны Верховцевой из «Братьев Карамазовых». Но вот что говорит Достоевский об этом психологическом типе в последней, предсмертной своей тетради: «*Катерина Ивановна. Самосочинение*. Человек всю жизнь не живет, а сочиняет себя, самосочиняется»⁷¹.

Если иметь в виду состояние Марьи Дмитриевны в ее последние годы — «фантастичность», ревность, желание отомстить неверному мужу и т. д. и т. п., то вполне закономерен и творимый ею романтический миф: везде и всюду сопровождающий ее и преданный ей любовник. «Вечный Вергунов» — это то оружие, которым можно поразить легкомысленного супруга. Это возможность доказать, что она тоже любима, что ею восхищаются и ей верны. В этом смысле Вергунов выполняет функцию «танца с шалью», который Катерина Ивановна («Преступление и наказание») исполняла на выпуске, при губернаторе. Незримый любовник — тоже знак иной, достойной ее и благосклонной к ней жизни. Он оправдание ее неудачного брака, ее горестей и болезней. Его нельзя выгнать из комнаты, как тех чертей, ибо он ее последний и, пожалуй, единственный козырь.

«Чахоточную и обвинять нельзя в ее расползении духа», — скажет Достоевский в одном из писем⁷².

Поведанный некогда Достоевским Анне Григорьевне бред бедной больной, пройдя ряд трансформаций, обретает право на жизнь в мемуарной прозе Любови Федоровны.

Даже если Марья Дмитриевна действительно **призналась** мужу в этой роковой страсти, у него не

было оснований менять свое отношение к ней. Он слишком хорошо знал ее «фантастический» характер. Он сохранит в своей памяти и постарается донести до других ее идеальный образ — тот, который привлек его с самого начала и который «в высшем смысле» остался таким навсегда.

Он не оставит ее до последнего дня.

Перевезя жену из Владимира в Москву в ноябре 1863 года, Достоевский почти неотлучно находится при ней. Здесь, в двух шагах от ее постели, пишутся «Записки из подполья». Здесь он постоянно занят делами «Эпохи», издание которой настоятельно требует его присутствия в Петербурге. Но, понимая, что у жены нет шансов, Достоевский жертвует всем остальным.

А. Н. Майков, посетивший Достоевского в Москве в январе 1864 года, пишет своей супруге: «Марья Дмитриевна ужасно как еще сделала с виду — хуже: желта, кости да кожа, просто смерть на лице. Очень, очень мне обрадовалась, о тебе спрашивала, но кашель обуздывал ее болтливость. Федор Михайлович все ее тешит разными вздориками, портмонеичиками, шкатулочками и т. п., и она, по-видимому, ими очень довольна. Картину вообще они представляют грустную: она в чахотке, а с ним припадки падучей»⁷³. Достоевский «тешит» безнадежно больную: последнее, что он может для нее сделать. Но и она в свою последнюю минуту не забывает о нем.

Анна Григорьевна излагает в дневнике рассказ мужа — как он в день смерти первой жены «все сидел у нее», отлучился на минуту к Ивановым (сестры прожигало рядом), и, когда вернулся, все было кончено. «Перед смертью она причастилась, спросила, подали ли Федору Михайловичу кушать и доволен ли он был, потом упала на постель и умерла». Женщина, честившая его каторжником и другими обидными словами и признававшаяся в ужасных изменах, в смертный свой час, приобщившись святых тайн, не забывает

⁷⁰ Через месяц с небольшим Достоевский сообщает брату Михаилу Михайловичу о своей болезни — воспалении предстательной железы. Лечащий его А. П. Иванов (зять, он же лечил и Марью Дмитриевну) утверждает, что «болезнь серьезная»: больной не может даже сидеть на стуле и ему прописан постельный режим. «Все-таки надобно, — пишет Достоевский, — окончательно вылечиться, а не так, как вылечился я в Петербурге» (ПСС. Т. 28. С. 68). Уместно сопоставить это сообщение с несколько ироничной фразой из февральского письма Н. Н. Страхова к брату, где, очевидно, речь идет о том же недомогании: «Ф. Достоевский приехал из Москвы больной <...> — зато лицо его не имеет в себе ничего эпилептического» (Литературное наследство. Т. 86. С. 394). Купюра, которую сделали в этом тексте публикаторы письма, имеет, видимо, отношение к названию болезни. (Оригинал письма: ЦНБ АН Украины. III. 19093.) Также см. более раннее свидетельство: Токаревский Ш. Сибирское лихолетье / Пер. с польск. М. М. Кушниковой. Кемерово: Кузбассвуиздат, 2007. С. 188.

⁷⁰ Дневник 1867 г. С. 286, 287.

⁷¹ ПСС. Т. 27. С. 59.

⁷² Там же. Т. 28. С. 73. Письмо М. М. Достоевскому от 26 марта 1864 г.

осведомиться о том, пообедал ли он и остался ли доволен обедом. Его земное благополучие занимает ее не менее, чем спасение собственной души.

«Жена умирает, *буквально*, — пишет Достоевский брату 2 апреля 1864 года. — Каждый день бывает момент, что ждем ее смерти. Страдания ее ужасны и отзываются на мне, потому что...»⁷⁴ Он обрывает фразу, ибо не может да, наверно, и не хочет высказать на бумаге то, о чем думает постоянно. Его не оставляет чувство вины. Оно движет его пером, когда 16 апреля 1864 года, на следующий день после ее кончины, он заносит в свою записную тетрадь:

«Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?

Возлюбить человека, *как самого себя*, по заповеди Христовой, — невозможно. Закон личности на земле связывает. Я препятствует. <...> Итак, человек стремится на земле к идеалу, *противуположному* его натуре. Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, то есть не приносил *любовью* в жертву своего я людям или другому существу (я и Маша), он чувствует страдание и назвал это состояние грехом»⁷⁵.

«Христианский идеал» противоположен человеческой натуре. Но во что превратился бы человек, если бы он следовал исключительно велениям этой самой натуры (то есть тому, на что ориентированы, скажем, современное массовое сознание и массовая культура)? Вербально смысл такого превращения сформулирован героем повести, которую Достоевский пишет в эти не лучшие для себя дни: «Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить».

«Возлюбить ближнего» может не каждый. Но следует ли поэтому отказываться от самой мысли? «Основная идея и всегда должна быть недостижимо выше, чем возможность ее исполнения, *например* христианство», — записывает он «для себя»⁷⁶. Он мучительно ощущает этот разрыв. «Я и Маша» — никто из них не осуществил «заповеди Христовой», и тому, кто остался жить, не уйти от чувства страдания и греха.

«Еще», — ставит он рядом с записью о покойной жене.

И, наконец, хочется сказать об одном поразительном совпадении. 15 апреля 1864 года, за несколько часов до кончины жены, Достоевский пишет старшему брату: «Вчера с Марьей Дмитриевной сделался решительный припадок: хлынула горлом кровь и начала заливать грудь и душить». Проходит семнадцать лет — и 28 января 1881 года, за три часа до собственной смерти, он диктует Анне Григорьевне «бюллетень» — письмо к графине Е. Н. Гейден (где говорит о себе в третьем лице): «26-го числа в легких попнула артерия и залила наконец легкие. После 1-го припадка последовал другой, уже вечером, с чрезвычайной потерей крови с задушением». Достоевский говорит о своих предсмертных страданиях почти теми же словами, что и о предсмертных страданиях жены. «Мы все ждали кончины», — пишет он Михаилу Михайловичу. И — о себе, графине Гейден: «С 1/4 часа Федор Михайлович был в полном убеждении, что умрет...»⁷⁷ И в том и в другом случае он оказался прав.



⁷⁴ ПСС. Т. 282. С. 75.

⁷⁵ Там же. Т. 20. С. 172, 175.

⁷⁶ ПСС. Т. 24. С. 69.

⁷⁷ Цит. по: ПСС. Т. 30, С. 242–243.

Дорогая Анастасия, редакция журнала «Огни Кузбасса» сердечно поздравляет тебя с юбилеем! Желаем тебе крепкого здоровья, творческого долголетия и человеческого счастья!

Анастасия РУССКИХ

ПОДКОВЫРОЧКИ, ПОДКОЛОЧКИ...



* * *

Раненым эхом военного горна
Тихо в крови растворяясь,
Медленно – копится – катится – к горлу –
Ярость!

Предков ли древних, кудлатых титанов –
Бунт – вызревает – в мышцах;
Тянется, кожу взрывая, упрямо –
Выше! –

В праведном – или неправедном гневе
Все загражденья рушит...
Что я забыла там, в слякотном небе?! –
Душу?..

* * *

В дальнем конце коридора кто-то вопит.
Женщина. То ли любят ее, то ль лупят.
Ближе – смеются. Спорят. Чайник кипит.
Гневно ворчит сосед о прокисшем супе.

Кошка выводит рулады. Считай, поет:
На заколоченной лестнице – вдоволь эха!
Возле крыльца матерятся и колют лед.
Лепса включили. Автомобиль подъехал.

19

Девушка – боем в разведку: как там,
внутри,
Где были вопли: «Лена, открой!
Не отстану!»
...Хрипло – подросток: «Мамке не говори...»
И – уже звонче: «Здравствуйте, тетя
Оксана!»

Жарят минтай. Кто-то звенит струной.
В правом крыле – анекдоты, коньяк
и танцы.
Лена открыла. Вышел ее родной.
Всех доброхотов послал в целый ряд
инстанций.

Вздых поцелуя. Скрипучей кровати крен.
Всхлип унитаза. Рвущаяся бумага.
Голая правда голых картонных стен.
Десять ноль-ноль. Россия. Зима. Общага.

БАБА-ЯГА

Местная мелочь слушает гангста-рэп,
Дружно кивает: здорово, баба-яга!
Я отвечаю с улыбкой: ага, привет –
И выхожу в построждественские снега.

РУССКИХ (КУПРИК) Анастасия Евгеньевна родилась 25 октября 1971 года в Прокопьевске. Работала в центральных библиотеках Прокопьевска и Новокузнецка. Автор 5 книг стихов. Публиковалась в журналах и альманахах «Огни Кузбасса», «После 12» (Кемерово), «Кузнецкая крепость», «Озарение», «Союз писателей», «ЛитОгранка», «Новокузнецкий литературный альманах» (Новокузнецк). Член Союза писателей России. Живет в Новокузнецке.

Город, прибитый похмелем, лежит во сне,
Только старушки выгуливают собак.
Смерть инспектирует улицы. Вместе
с ней

Я проникаю вглубь, ускоряя шаг.

Город имеет темные этажи –
Чтобы идти по ним, нужно знать Слова.
Я превращаюсь в тень. Я учусь не-жить.
Нежить бесстрашна, ибо она мертва.

Город течет и закручивается в кольцо;
Если нырнешь – в зубах принесешь секрет:
Самое лишнее – это носить лицо,
Самый живучий – тот, которого нет.

Нет. Это слово как павший в зеркало
свет.
Свет, отраженный стеклом, словно гулкий
смех.

...Местная мелочь – Никита, Кирилл,
Ахмет...
Жаль, нет Ванюши. Эти – вкуснее всех.

* * *

В России поэтесса – неудачница,
Ни больше и ни меньше, а как есть:
Идешь за водкой – крылья сзади тащатся,
Взлетишь – с бутылкой некуда присесть...

* * *

Подковырочки, подкобочки,
Подсознательные образы
Бродят в корочке-подкорочке
Без мотора и без тормоза.

Ты живи себе подремывай,
Тени в небо не отбрасывай.
Предсказания мудреные
Да предчувствия неясные

До поры игнорь до времени
И не придавай значения.
Незаметные знамения,
Подкоподные течения

Унесут тебя да вынесут
В места дикие, медвежие –
Хоть признай, что ты их выбрал сам,
Хоть ори: ой, мама, где же я?

А тебе – еловым веничком –
По сусалам да по чреслам же;
Сколько с силой ни кокетничай,
А от правды не открестишься.

Ложь – стаканчик одноразовый,
Пооплывший да надтреснутый.
Дикобразу – дикобразово.
А тебе... ну, соответственно.

* * *

...И вот он – говорит:
Ну что ты бесишься, что?
Все равно я тебе под стать, и ни децлом
выше.
Я тем больше обломов, чем ты нарочитей
штольц,
И тем больше полковник, чем чаще ты мне
не пишешь.

Это бейсик Вселенной: покуда сыра Земля
И пока она крутит экватором в темпе
вальса,
Я отчаянно нужен тебе, дорогая, для
Утверждений о том, что ни к черту тебе
не сдался.

Да, я мальчик по вызову. Мой непрерывный
стаж
Протяженности мира всего на пять дней
короче.
Белый конь не канает? – Отлично. G8 – Н.
Побеждай, если сможешь. Проигрывай,
если хочешь.

А корону, камзол и иную монаршью снасть –
Забирай, ибо два коня конгруэнтны
царству.
Я не против полетов, пока ты боишься
пасть,
И не против тебя – пока ты боишься
сдаться.

И вообще – я не против даже твоей души,
Суффражистскую чушь выдающей за поиск
Бога...

Только ты уж тогда и эти стихи не пиши.
Но ведь пишешь? – Смотри: немножко
еще...
Три слога...

ПОРТРЕТ ШТРИХАМИ

Бриллиантово-лунный блик.
Линия любви –
от руки.
Невидимые каблуки
Вслед дроби кабриолета...
Оклик шального лета...
Взор – клинок,
решительный, как блицкриг,
Беркута клекот и лебединый клик...
Лиля Брик.

* * *

Я последнее время смотрю с изумленьем
в тетрадку:
Кто в ней пишет ночами, ваяет из строк
этажи?!
Почерк вроде бы мой. Но, отточенный,
ровный и гладкий,
Слог становится злым, и сухим, и все
больше чужим.

Заповедные тропки фантазий кривятся
в прямые,
Вдохновения трепет священный сводя
к ремеслу,
И словцо шоколадно-фруктовое
«шизофрения»
Мне все чаще ласкает взыскательный
внутренний слух.

Все вершится по правилам камня, бумаги
и ножниц –

27

До тех пор, пока сборочных точек
не больше чем три.
Но, позволив натуре своей многогранность
и сложность, –
Ожидай революций и прочих тусовок –
внутри.

Побеждает – сильнейший. Он может быть
мудр и спокоен,
Справедлив, милосерден и щедр,
не судя – не судим...
Только все эти прелести ломаной
флешки не стоят
Перед тем, что в итоге он должен
остаться один.

И раз должен – останется. Пирровой
горечи полный,
Стопроцентный триумф зафиксирует
Хаос-статист,
Из глубокой насмешливой тьмы наблюдая
безмолвно,
Как в давилке души без малейших
попыток спастись

Погибают поэты, бомжи, алкоголики,
гейши –
Бесполезная, сентиментальная голь
и рваньё –
И из воплей и хруста встает одинокий
Сильнейший.

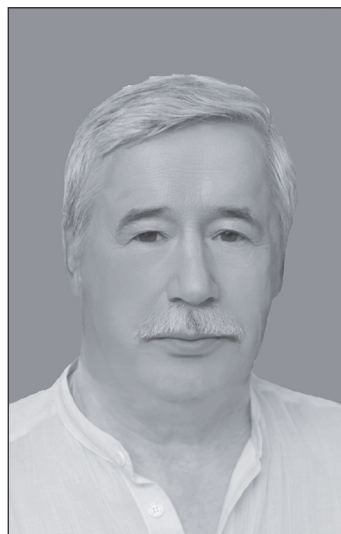
И находит тетрадь.
И глядит с изумленьем в нее.



Павел
КРЕНЁВ

БЕЛЯК И ПЯТНЫШКО

Рассказ



1

В самом центре города Архангельска горит Вечный огонь. В короткие, белесые ночи северного лета пламя его, бледное и желтое, тускло-вато помаргивает средь серого гранита и совсем почти не освещает прозрачную ширь вокруг. В ту пору Вечный огонь заметен лишь вблизи. Зато зимней черной ночью огонь раздувается прилетающим северным холодным ветром сиверко, который расплескивает пламя в разные стороны. И отблески огня прыгают по площади, заглядывают в окна окружающих домов, улетают далеко в небо и красят в розовый цвет падающие на город снежинки.

Рядом с Вечным огнем стоит странный памятник. Это памятник гренландскому тюленю. Тот словно только что вышел из Северной Двины, которая течет за его спиной, прополз, опираясь на ласты, через пляжный песок и вскарабкался на высокий камень. Громадный, бронзовый, он поднял высоко голову и глядит с постамента на город, на людей. Глядит внимательно, пронзительно и придиричиво. Он словно всматривается в лица горожан, в их сердца и задает очень важный для них и для себя вопрос: правильно ли он поступил, отдав за живущих в этом городе людей столь невозвратно много? Ведь он отдал за них свою жизнь.

22

Ему хотелось бы, чтобы это было совершенно не напрасно, чтобы люди оценили его жертву и помнили о нем. Многие, особенно приезжие, удивляются такой сентиментальности жителей Архангельска: «При чем тут тюлень? Не лучше ли было поставить памятник собаке, или, например, кошке, или какому-нибудь там оленю? Они, эти животные, много полезнее для человека, чем это ластоногое существо».

Я сам слышал такие разговоры. Давайте простим этих людей. Они просто не знают предмета, о котором судят. Не ведают сути событий, происходивших, впрочем, не в такие уж давние времена...

2

Аня Матвеева приехала в заполярный город Мурманск на поезде. Приехала она, конечно же, не одна: кто бы отпустил ее, подростка, в дальнюю дорогу без надежного сопровождения? Время лихое, в разоренной беспощадной войной стране всякое случалось в пути. Бывало, что и взрослые люди пропадали не за понюх табаку, попав ненароком в какую-нибудь дорожную заваруху. А тут деревенская девчонка, нигде еще не бывавшая сиротинка-безотцовщина. Ее облапошить – любому жигану в радость, раз плюнуть.

КРЕНЁВ (ПОЗДЕЕВ) Павел Григорьевич родился 28 октября 1950 года в деревне Лопшеньга Приморского района Архангельской области. Окончил Ленинградское суворовское военное училище, Школу военных корреспондентов, факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Автор 18 книг и множества журнальных публикаций. Лауреат всероссийских премий: им. Н. С. Лескова и Александра Невского. Заместитель председателя правления Союза писателей России. Живет в Москве.

Стоял март 1945 года. Война близилась уже к завершению. Смертельный ее вихрь, покружив над российским Северо-Западом, разметав деревни, спалив лес, унесся на запад и крушил теперь города Польши и Германии, коверкал людские судьбы и везде оставлял после себя только выжженную землю и незаживающие язвы неизбывного человеческого горя.

В почти совсем разрушенный Мурманск Аня приехала через притихшую и обугленную Карелию. Город, раскиданный по черным, опаленным пожарами сопкам, всего полгода назад сотрясаясь от взрывов снарядов и бомб и был теперь похож на погашенный гигантский костер с еще теплыми головешками – недогоревшими остатками бывших человеческих жилищ. Ане показалось, что через весь город проехал тяжелый, гигантский, размером до небесной выси, сокрушительный каток. Проехал и раздавил все, что жило в нем раньше.

На улицах, присыпанных углями и пеплом, почти не было людей. Только кое-где сновали, подгоняемые резкими командами охранников, безликие, худые фигуры, одетые в серые лохмотья, – немецкие пленные. Разрушив город, они теперь его восстанавливали.

Но мурманский морской порт работал. Он снабжал возрождающийся город, корабли и воинские части всем необходимым, через него переправлялись в глубину России товары ленд-лиза, отсюда уходили на рыбный и зверобойный промысел суда морского пароходства.

3

Аня приехала с бригадой зверобоев. Ей самой, ее маме и дедушке Илье стоило больших хлопот, чтобы она попала в эту бригаду. Входило в нее всего-то пятнадцать человек, а желающих участвовать в зверобойном отряде от деревни набралось человек двадцать пять. На колхозном собрании долго судили-рядили, привередливо обсуждали каждую кандидатуру. Это потому, что зверобойи обычно хорошо зарабатывают, а всякая семья хочет, чтобы и в их дом пришла копеечка.

– Почему эт Аньку зуйком посылать? – допытывались односельчане. – Лучше парня какого. У ей силенок не хватит шкуры по льду таскать да туши. Парня надо!

Аня с мамой сидели среди односельчан, волновались. Мать рвалась выступить и сказать хоть пару слов, да понимала: бесполезное это занятие. И слушать не станут, знамо дело – мамка за

дочку хлопочет. Хуже только будет. Но сказал веское слово дед Илья, уважаемый в деревне человек:

– Я вам так скажу, селяне, эта девка мужика хорошего стоит. Я в прошлом годе сиживал с ей на Никольской тоне, дак знаю. И на веслах гребет в погодушку, и кашеварит не хуже наших женочек. Труженица она, надо брать ее.

Сопротивлялись некоторые. Выступила Калинична, самая напористая деревенская крикунья:

– Ты, Илья, хоть и рыбак самолучший, а не прав ты! Родню свою ташшишь. А другим ведь тоже надо рублик да другой заработать.

Дед Илья был родным дядей Аниной матери, и крыть ему было нечем. Так бы, наверно, и заклевали девочку и не поехала бы она на зверобойку, но слово взял председатель колхоза Майзеров. А его мнение, чего уж там, самое авторитетное.

– Тут надо по-хорошему, по-человечески подойти. Все же знаем, что у Анны нашей Матвеевой год назад похоронка на отца пришла, и она, девочка эта, младших братишек своих вытягивает. Как взрослая женщина работает в колхозе все лето, во все каникулы. Мать у нее с туберкулезом – это всем известно, а Анна всего-то в седьмом классе, вы же знаете. Надо бы помочь семье этой.

Сидящий в президиуме председатель опустил голову, спрятал покрасневшие глаза, помолчал. Потом рывком голову поднял и уже с улыбкой сказал притихшему залу:

– А кроме того, надо бы поддержать будущего нашего зоотехника. Матвеева Анна летом будет поступать в сельхозтехникум по нашей путевке, а потом, значит, к нам и вернется, в наш колхоз.

Все дружно захлопали, и Аню включили в бригаду, которая отправлялась на промысел гренландского тюленя в район Зимнего берега Белого моря.

4

В мурманском порту бригада погрузилась на транспортное судно «Лена». Этот гигантский трофейный корабль на период тюленьей охоты специально переоборудовался для перевозки промысловиков, тюленьего сала, мяса и шкур. Один из трюмов предназначался для жизни в нем людей. Там стояли застеленные койки, тумбочки, столы. Питание в большой кают-компании организовывалось по очереди, по бригадно.

Ане на судне понравилось все. После деревенской обыденности, где на море плавают всего лишь карбасы и все давно уже кажется однообразным, здесь была другая жизнь.

На палубе работали матросы. Они перематывали и перекладывали канаты, приводили в порядок корабельный такелаж, шаркали по доскам длинными березовыми голиками, смазывали мазутом черные стальные лебедочные тросы. Аня смотрела и думала: наверно, лебедкам предстоит большая работа, вот о них и заботятся.

Она стояла на палубе, прислонившись к борту. Ей было холодно, потому что корабль шел по морю, а на море всегда ветра. Голова ее была укутана в шерстяной старый, но в общем теплый платок, тельце прикрывал поношенный мамин свитер и выдавшая виды мамина же фуфайка. Холодный восточный ветер продувал насквозь всю эту одежду, но Ане совсем не хотелось спускаться в трюм. Ей нравилось разглядывать летящих за кораблем чаек и далекий берег, тянувшийся бесконечной неровной полосой за правым бортом. На нем, словно тупые зубья огромного чудища, высились полярные сопки, выкрашенные в белый и коричневый цвет. Между темным берегом и серо-синим морем постоянной белой полосой пролегал прибрежный лед. От него в море отплывали отколовшиеся льдины. Словно белые пароходики, отправившиеся искать приходящую из-за синя моря красную весну. На некоторых таких пароходиках посиживали валяжные пассажиры — тюлени. Они плыли на льдинах и грели свои толстые бока на солнышке. Они уплывали из надоевшего холода навстречу весне... Ане совсем не хотелось в трюм.

5

— Эй, пассажирка, ты чего тут зябнешь? — окликнул кто-то Аню. — Вот помрешь, тогда будешь знать!

На трапе, ведущем к капитанскому мостику, стоял и улыбался всей своей веснушчатой физиономией какой-то молоденький морячок. Фуражка у него красовалась на голове набекрень, а козырек закрывал правый глаз. Аня сразу решила, что так могут носить фуражки только хулиганы, хвастуны и вообще несерьезные, а может быть, и нахальные люди. И она ответила так, как и должна была ответить скромная деревенская девушка, отличница и комсомолка:

— А вам-то какое до меня дело? Хочу и стою.

Морячок, видно, не знал, что и сказать. Он маленько опешил: только высочил из каюты и сразу замерз, а тут стоит какая-то ненормальная, видно, что продрогла вся, да еще и хамит.

— Да ты же в самом деле заболеешь. А у тебя работа впереди. Не на курорт ведь отправилась.

Аня понимала, что он прав, что давно пора идти в тепло, но не могла же она вот так сразу, по команде этого хвастунишки, взять и куда-то бежать. Она только фыркнула и отвернулась, стала смотреть на небо и на чаек.

— Ладно, — примирительно произнес морячок, — вижу я, что ты решила закончить свою молодую жизнь самоубийством. Но я лично не считаю, что это правильно. Комсомольцы должны умирать ради чего-то, например за Родину. А просто так нельзя. Комсомольский устав это не разрешает.

Аня еще раз фыркнула и спросила:

— Откуда вы знаете, что я комсомолка?

— Да по тебе сразу видно. Ты же ненормальная. Комсомольцы все такие.

— И вы тоже такой?

— И я такой же.

Он попереминался, поежился и вдруг заявил:

— Я знаешь чего решил?

Аня промолчала. Она не могла и не хотела долго разговаривать с посторонним незнакомым человеком. И какая, в конце концов, разница, чего он там решил?

— Я буду стоять здесь, пока ты не уйдешь с палубы в тепло. Умру вместе с тобой.

И он втянул голову в куртку, как будто и в самом деле приготовился к самому худшему. В глазах его возникла решимость. Хотя даже Аня понимала: шуточная, конечно. Потом он сказал:

— Мне как-то неудобно стоять рядом с тобой одетым, когда ты мерзнешь. Хочешь, я отдам тебе свою куртку? Она теплая.

Быстрым и уверенным движением он сбросил с себя форменную куртку и набросил на Анины плечи.

— Так будет лучше, — добавил он.

Аня не знала, что и сказать, не знала, как реагировать. Все это было впервые... Но парень явно не был бесстыжим нахалом.

— А вообще, — сказал он, — давай знакомиться. Меня зовут Михаил Плотников, я четвертый помощник капитана, штурман.

— Чего-то я сомневаюсь, — призналась Аня. — Такие молодые штурманы разве бывают?

— Ну зачем мне врать? — стал серьезно возражать Михаил. — Семь классов — это четырнадцатый.

цать лет, затем мореходка три года, штурманский факультет – это семнадцать. Я год как работаю четвертым штурманом, и мне сейчас восемнадцать. Все реально.

В Ане шевельнулось какое-то чувство, похожее на уважение к этому живому веснушчатому парню в лихой фуражке.

– А меня зовут Анна, Аня Матвеева. Я учусь в седьмом классе.

– Наверно, отличница?

– Есть такое дело, но я этим не горжусь, просто так получается.

– А как же, дорогая моя, тебя отпустили на зверобойку? Уроки же идут. Ты что – отпетая прогульщица?

– Ничего, я навестаю. Меня директор отпустила. Просто у меня в семье очень трудно сейчас. Мама болеет, работать не может.

– А отец на фронте?

– Мой папа погиб год назад на Карельском фронте.

Плотников покачал головой, помолчал. Потом он спустился на палубу, решительно взял Аню за руку и повел по лестнице вверх. Она не понимала, куда и зачем ее ведут, сопротивлялась.

– Слушай, ты, комсомолка, голоднущая вся, замерзла совсем и еще упирается. Давай двигай! Мы тебя хоть отогреем немного.

Он привел ее в командную рубку, где находились капитан и его старший помощник. Там Аню накормили американской тушенкой и напоили чаем с печеньем. Тушенку Аня прежде никогда в жизни не ела, и она показалась девочке невероятно вкусной. Потом Ане дали корабельный бинокль, и она долго разглядывала море, расстелившееся по бескрайним просторам вокруг корабля, небо и облака, летящих над водой чаек, белые льдины на темно-синей и свинцово-серой воде, далекий берег... Близость дальних предметов потрясла Аню, и она все глядела и глядела в прохладные окуляры. А четвертый помощник Плотников стоял рядом и подсказывал, как надо пользоваться оптическим прибором по названию бинокль.

А потом, когда прошли опасное ледяное поле, капитан отдал штурвал старшему помощнику и долго беседовал с Аней о деревне, о колхозе, о поморской жизни. У него самого осталась дочка в Архангельске, он ее редко видел, потому что все время был в море, и, видно, сильно по ней скучал.

Плотников явно не хотел уходить из рубки, и капитан его прогнал. У четвертого помощника было много обязанностей в корабельном хозяйстве.

Аня, разморенная едой, теплом, добрым разговором с капитаном, уставшая от дороги и впечатлений сегодняшнего дня, уснула прямо в кресле. Капитан отнес ее на руках на топчан, стоящий в углу рубки, и накрыл своей шинелью. Так она провела первую свою ночь на зверобойном промысле.

6

Ранним утром следующего дня транспортное судно «Лена», ведомое ледоколом «Капитан Мелехов», преодолело горло Белого моря и вошло в морскую акваторию. Впереди был недолгий путь к лежкам гренландского тюленя, всегда расположенным в одних и тех же местах – напротив Зимнего берега Белого моря. Этот коренной полярный житель – гренландский тюлень – извечно живет в холодных водах северных морей и Ледовитого океана. Но из-за лютых штормов, разбивающих любые льды, там невозможно выращивать детенышей: их убьет океан. Поэтому Белое море, более спокойное и мелкое, загороженное со всех сторон сушей, гренландские тюлени рассматривают в качестве родильного дома для своих детенышей и собираются здесь каждую весну, чтобы продолжить свой род.

25

В Белом море очень долго не тают ледяные поля. На их кромках, около самой воды, самкам удобно рожать тюленят и нянчить их первое время. Потом тюленята очень быстро растут и становятся самостоятельными. Рядом с самками всегда много взрослых самцов. Они воют друг с другом и постоянно дерутся. Так создаются лежки – места скопления тюленей. Здесь всегда стоит рев дерущихся бойцов.

Судно «Лена» пришвартовалось прямо к ледяной кромке, к краю огромного ледяного поля, упирающегося дальним своим концом в Зимний берег. Примерно в километре от места швартовки вдоль края льда чернела толстая полоса тюленьей лежки.

Все шесть бригад зверобоев, представителей колхозов всех беломорских берегов, каждая по двенадцать – пятнадцать человек, сошли на лед.

Бригадир коллектива от колхоза «Промысловик» Петр Зосимов по-военному построил своих работников, разделил на группы и проинструктировал. Сержант в отставке, на войне он был тяжело ранен осколками вражеской мины в лицо и в легкое, поэтому говорил плохо, с трудом выговаривал слова, задыхался. Но своим, деревенским, его речь была понятна.

— Задачи у нас простые, — сказал бригадир, — добыть и сдать на транспортное судно как можно больше морского зверя. От этого зависит общий заработок. Устраиваем соревнование: стрелок, занявший первое место, сверх зарплаты получает премию, равную заработку. Кто окажется на последнем месте, тот в следующий сезон на зверобойку не поедет. Всем понятно?

— Поня-ятно, — подтвердили зверобои.

— Имейте также в виду, что среди колхозных бригад организовано социалистическое соревнование. Лучшие бригады будут отмечены грамотами профсоюза области. Это большая честь для нашего колхоза и для нас с вами. Надо бы побороться, товарищи, за эту высокую награду. Согласны, товарищи?

— Со-о-огласны! — прогудела бригада, и все отправились по своим местам.

Работа началась.

7

Стрелки от колхозных бригад заняли выделенные им сектора и пошли вперед к тюленьей лежке. Все они были вооружены трехлинейными винтовками системы Мосина калибра 7,62 миллиметра и тяжелыми дубинами. Приблизившись к лежбищу метров на двести, они сбавили ход, стали ступать медленно, а затем и вовсе пошли внаклонку, крадучись. Двигались так, пока наблюдавшие за ними самцы не стали один за другим скользить по снегу и нырять со льда в море. До стада оставалось 50–60 метров. Стрелки все как один попадали на лед, подползли к ближайшим торосам и, положив на ледяные выступы свои винтовки, открыли по тюленям бешеную стрельбу.

Стреляли не по головам, а по силуэтам. Так надежнее: легче прицеливаться, а разрывная пуля, выпущенная из мосинской трехлинейки и попавшая даже просто в корпус, не оставляет никакому живому существу шансов на выживание.

Отстреляв по двадцать патронов (то есть по четыре обоймы), стрелки поднялись, подхватили винтовки и дубины и побежали к тюленьему стаду. Основная часть ближайших к ним тюленей была неподвижна. Звери лежали, уткнув морды в снег, некоторые валялись на боку, безвольно опустив на живот лапы и откинув назад головы. Часть билась в судорогах, и к ним стрелки не подходили: зачем тратить патроны и силы, если зверь сам скоро подохнет?

Но многие раненые тюлени, разъяренно раскрыв пасти, полные острых зубов, кидались на людей, и таких стрелки убивали в упор из винтовок или глушили дубинами.

Шаг за шагом продвигались стрелки вперед среди тюленьих туш, не оставляя за собой ничего живого. Под ноги им часто попадались тюленьи детеныши — бельки — доверчивые, любознательные существа с белоснежной шкуркой и черными бусинками глаз. Но на этой зверобойной кампании плана по их добыче и сдаче не было, поэтому стрелки не обращали на них внимания.

Лежка гренландского тюленя и широкая, и длинная. Она тянется вдоль морской кромки на километры. И вот группа других стрелков, «отработавших» свою территорию, обходит справа и идет вперед к еще не отстрелянному зверю. И там начинается новая бойня.

Повсюду ходят люди с дубинами и винтовками, и над всем ледяным пространством далеко вширь и высоко в небо разносится предсмертный рев убиваемых животных.

Сразу за стрелками идут и принимаются за свою работу обелевщики — свежеватели тюленьих туш. Каждый подходит к убитому зверю и своим острым ножичком разделяет его на две части: на шкуру с приросшим к ней толстым слоем жира и на мясо. И уж потом в работу включаются волочильщики. Их задача — подтащить мясо и шкуры к месту погрузки на транспортное судно.

8

Аня еще в деревне была назначена волочильщицей. Ей, как и другим, выдали стальные крючья. Здесь в обиходе их называли гаками. Вообще Аня скоро убедилась, что в зверобойном деле много специальных терминов, странных, словно иноземных слов. Здесь тюленьи лапы называют катарами, ледяные торосы именуют ропаками, а стальной трос — это финш. Здесь тюленью тушу называют рауком, ошкуривание зверя — обелевкой, а про роды самки тюленя говорят так: утельга оценилась. Аня недоумевала: тюленята — это же не щенки, почему тогда «оценилась»?

Она уже стояла на льду вместе с другими волочильщиками, крутила в руках свой тяжелый гак, примерялась, как станет подцеплять им шкуры убитых тюленей, как будет тащить их по льду. А как же, везде требуется сноровка.

Ее окликнула ледокольная повариха Варвара, с которой они познакомились еще в Мурманске. Оказалось, что та давно работает на судне, знает

многих поморских рыбаков и зверобоев. Знала она и отца Анны, который до войны не однажды бывал на тюленьем промысле. Искренне опечалилась, услышав, что хороший человек погиб.

– Анечка, погоди маленько, я тебе сказать хочу, – попросила Варвара и двинулась к ней по трапу.

Подошла без накидки, без телогрейки, в одной кофтенке, мороз ей не мороз. Голова в тоненьком платочке. Отвела за локоток в сторонку.

– Предупредить хочу тебя, девка. Сейчас ты много кровушки увидишь. Сможешь, нет выдерживать такое? Дело-то страшенно. Бывает, что коты и не выдерживают, назад убегают. Девки-то молоды особенно. Сидят потом в уголке, глаза прячут.

И она, придвинувшись вплотную, испытующе уставилась на Аню.

Аня съежилась, она уже слыхала и в деревне, и на судне о том, что картина будет тяжелая. Но куда ей было деваться? Она приехала на работы, а деньги – это она хорошо знала сызмальства – никто в карманы просто так не накладывает. Их все тяжким трудом зарабатывают.

– Я постараюсь, – сказала она просто и посмотрела поварихе в глаза. – Мне надо денег домой привезти, у меня семья дома голодает. Куда мне теперь бежать отсюда?

Она пошмыгала носом и как будто даже приободрилась:

– Я, тетя Варя, видала, как овцу соседи резали. Не умерла же со страху и сейчас, наверно, тоже не помру.

– Сравнила тоже, овцу-у, – едко передразнила ее повариха. – Тут не одна овца, там страхи божии что учиняется, по кровушке вышагивать будешь, дева. Видала я его дело коегодни... Форменны страхи божии.

Варвара резко развернулась, шагнула к ледокольному трапу, остановилась, повернулась опять к Ане со скрещенными на груди руками.

– Жалко мне тебя, Анька. Вот ведь как тебе приходится, сиротинке. Держись уж как-нибудь Христа ради.

Вдруг сгорбившаяся то ли от холода, то ли от жалости, она шла по трапу вверх и что-то вытирала ладонью на своем лице.

9

Увиденное потрясло девочку. И она подумала: это белое поле в огромных кривых пятнах красного цвета, кучи из мяса и желтые пласты

снятых шкур, еще дымящихся, – все это будет приходить к ней во сне теперь постоянно, всю жизнь. Хмурые, деловитые лица мужиков, несущих в руках окровавленные ножики, переходящих от туши к туше...

Аня отвернулась от этой чудовищной картины, подошла к ближайшему ледяному ропаку и тяжело на него села, наклонилась. Ее рвало на лед, она никак не могла откашляться.

Подошел бригадир Зосимов, сел рядом, обнял за плечи:

– Некогда нам с тобой рассиживать, Анна, надо план выполнять. Нельзя колхоз подводить.

И заторопился куда-то, ушел.

Анна Матвеева встала и пошла работать. У нее не было возможности опустить руки и уйти куда-нибудь от этого страшного места. Дома ее ждала семья, находящаяся в беде.

10

Любая поморская девочка, привыкшая к тяготам быта, к суровым условиям жизни на Севере, быстро ко всему принаравливается. На Аню обрушилось так много работы, что ей некогда было лить девичьи слезки. Поначалу она боялась оглядываться по сторонам, страшилась наступить ногой на что-нибудь мягкое и скользкое, но жизнь заставила быстро привыкнуть к новой обстановке. Надо было выполнять план!

Работа у Ани была несложная, но тяжелая. Главная хитрость заключалась в том, чтобы среди ропаков и снующих туда-сюда людей выследить, не потерять обелевщика: рядом с ним шкуры и туши, которые надо было подтащить к общим кучам всей бригады, к кромке льда, где стояло судно. Народу много, а искать своего постоянно перемещающегося обелевщика некогда, надо было поторапливаться. Выход нашел бригадир Зосимов. Раздобыли где-то красную материю и нитками закрепили красные полосы на шапках обелевщиков своей бригады. Теперь их было видно издали, теперь зосимовская бригада напоминала боевой партизанский отряд.

Аня принаровилась работать с обелевщиком Леонидом Петровым. Молодой этот ухватистый парень трудился как заведенный. Со своим шкелочным ножиком подбегал он к только что подстреленному тюленю и свежевэл тушу всего за несколько минут. И как будто не мерзли у него руки, не брала его усталость. А лицо Леонида горело под стать красной повязке на шапке – такое же

алое. От мороза, от азарта работы и просто от здоровья.

— Аню-ютка! — кричал он всякий раз радостно, когда очередная ноша была готова, и махал обеими руками, и ножик в его правой руке сверкал на солнышке так же радостно.

Видно было, что Аня Матвеева ему нравилась, и она это понимала. Просто понимала, и все. И раньше, и сейчас ей было некогда думать о чем-то другом, кроме как об учебе, младших братьях и о матери, которые нуждались в ее помощи. Да и вообще Леонид уже был женат. Со всем недавно он сыграл свадьбу с хорошей деревенской девушкой Зиной Худяковой. Просто ветер у Леонида в голове, не нагулялся он, вот и все.

Но сейчас была зверобойка, и обелевщик Петров радовался встречам с Аней Матвеевой и учил ее правильно таскать по льду тюленьи туши и шкуры.

— Анечка, крюк надо цеплять сюда. Так волосы на шкуре будут лучше скользить по льду и тебе будет легче ее волочь. Понятно?

— Понятно, понятно, — улыбалась Аня в ответ.

Иногда он распрямлял молодое гибкое тело, весело глядел ей в лицо и сокрушенно выговаривал:

— Вот дурак я, дурак! Рано женился, дурак. Надо было мне тебя маленько подождать!

И неясно было, насколько серьезно Леонид говорит. Аня смеялась в ответ и старалась поскорее уйти подальше от этих шуточек.

11

На второй день зверобойки на свидание с Аней с «Лены» удрал четвертый помощник Плотников. Он подарил ей свои теплые рукавицы, обшитые с внешней стороны брезентом.

— Это тебе от меня на долгую память. Носи на здоровье, чтобы больше не замерзала, — сказал Михаил.

Он был явно рад встрече с Аней. Лицо его в крупных веснушках было слегка обожжено весенним солнышком и крепко разругалось.

Аня ему тоже почему-то обрадовалась. И сама не понимала почему. До сих пор она старалась не обращать внимания на мальчишек и взрослых ребят тоже. А тут обрадовалась.

— Можно, я тебе помогу маленько? — спросил он, сверкая глазами и поправляя рукава какой-то задрипанной куртки явно с чужого плеча.

Аня хотела было поинтересоваться, откуда такая странная одежда, но Михаил сам объяснил:

— Это я для маскировки надел, чтобы меня капитан не нашел.

— Можно, конечно можно, — ответила Аня, пряча глаза и слегка отворачиваясь.

Она хотела скрыть от Плотникова свою радостную улыбку и свое смущение. Такие новые для нее...

Потом они вдвоем таскали по льду шкуры, держась за один крюк. И Миша Плотников болтал о чем-то веселом. А Аня ему поддакивала. Уже открыто улыбалась, иногда даже смеялась. Им хорошо работалось вдвоем. Аня в тот день выполнила полторы нормы.

Капитан судна тем временем потерял своего четвертого помощника, но быстро нашел, догадавшись, где он может быть. Капитан взял медный свой мегафон и гаркнул в него в адрес Плотникова такие нужные слова, что того как ветром сдуло из зосимовской бригады. Но, убегая, он все же успел попросить Аню выйти вечером на палубу.

И она вышла. И они опять пили с ним чай в кают-компании. И опять долго проболтали.

А когда прощались и стояли на палубе, Аня вдыхала всей грудью морозный морской воздух, вглядывалась в темное пространство ледяного поля и невольно думала о том, что в этой холодной темени на снегу ползают беззащитные, одинокие тюленьи детеныши, плачут, как щенята, и разыскивают своих матерей. И не могут найти, потому что матерей у них отняли люди.

Такие мысли терзали ее сердце, и она, как и эти маленькие тюленята, была беззащитна перед своими думами, ведь все это было правдой. Но ей некуда было бежать от этого ледяного поля и от своих мыслей тоже.

Однако теперь, когда Аня видела Мишу Плотникова, когда разговаривала с ним, в душе ее вдруг оживал и начинал шевелиться теплый комочек, который стал постоянно ее согревать. И она стала думать о нем и заботиться, чтобы он не остыл, а чтобы жил в ней, в Ане, всегда жил.

12

Трагедия самки гренландского тюленя, утельги, заключается в том, что она не может бросить своего детеныша. Даже когда ей самой грозит смертельная опасность.

Если на ее маленькое дите посягает посторонний тюлень (неважно, самка это или самец), она с лютым ревом бросается на обидчика и тер-

зает его острыми зубами, пока тот не сдастся, не отступит.

Когда детенышу или ей самой угрожает человек, утельга до последней минуты будет защищать себя и свое чадо, но не отступит, не убежит к спасительной морской кромке. Самка гренландского тюленя – раба и жертва материнского инстинкта, который люди называют материнской любовью.

На этом и основан промысел морского зверя на тюленьих лежах. В то время как самец при первых выстрелах промысловиков бросает своих самок и детенышей и убегает со льда в море, утельга не может покинуть своего ребенка. Она остается с ним рядом до конца, и поэтому она легкая добыча.

Поэтому среди убитых на промыслах гренландских тюленей практически нет самцов. Это все утельги.

Мясо и сало их спасли в военное время от голодной смерти города Архангельск, Северодвинск и во многом блокадный Ленинград. Тот памятник в центре Архангельска стоит не зря.

Это памятник Утельге.

Это памятник всем тюленьим матерям, погибшим за то, чтобы жили люди. Их были многие сотни тысяч.

Я прошу горожан приходить к памятнику и возлагать к нему цветы.

Утельга это заслужила. Она совершила подвиг материнской верности.

13

Работа на льду продолжалась четверо суток. Это был срок фрахтовки поморскими колхозами транспорта «Лена» и ледокола «Капитан Мелехов». На больший срок эти суда не могли оставаться в распоряжении колхозов. У них было еще много других задач в акватории северных морей.

Вот и завершился последний рабочий день. Наступил последний вечер зверобойного промысла. Началась погрузка на суда использовавшегося оборудования, саней, винтовок, топоров, веревок. Стояла суета, которая вечно бывает перед отправкой в дорогу.

Аня проверила все и свое, и чужое, она стояла на льду возле трапа, глядела на спящих туда-сюда людей, на огромный корабль. Была тяжелая работа, но уезжать не хотелось. Здесь останутся ее переживания, ее успехи в работе, первое в жизни зарождающееся серьезное чувство...

У каждого члена бригады было плановое задание. Свое Аня даже перевыполнила. Не подвела никого: ни себя, ни бригаду, ни колхоз. Этой осенью ей надо будет уезжать в город на учебу, и теперь Аня знала, что заработала достаточно денег, чтобы купить для себя обновы, что в новой одежде она не будет выглядеть хуже других и что теперь можно будет приобрести новые обувки для братишек, а то ходят в таком рванье... Не зря она съездила на эту зверобойку.

14

Уже под самый конец сборов бригадир Зосимов мимоходом сказал ей:

– Сбегай-ко, Аня, в бригадный урез. Чего-то у меня душа болит, все ли мы там собрали?

В бригадный урез – значит в дальний конец выделенного бригаде участка. Сказал, а сам аж трясется весь, зубы у него колятся. Простыл он вчера крепко: пропотел в работе, а потом продрог, так уж получилось, и теперь его всего корежит. Видно, что надо бы ему в тепле побыть да отогреться, а как тут уйдешь со льда, когда сборы и за всем нужен пригляд? И Аня побежала. А Зосимов окликнул с борта «Лены» боцман Новоселов – неунывающий, веселый, хлопотливый человек, которому до всего есть дело. Он Петра приметил в работе и зауважал.

– Петруша, а чего ты не в себе как будто? Белый весь и качает тебя. Не прихворнул, случаем, Петруша?

Зосимов только махнул рукой и признался:

– Худо мне, в самом деле. Простыл вчерась. Скорей бы дело закончить, на ногах еле стою...

– Ты, едри это, чево? Ты героизм свое брось показывать, не удивишь им никого. Один недавно так же выказывал тут, помер на обратном пути в дороге, гортань у него замерзла вся, не откачали. Так же хочешь? – Держась за круглую окантовку борта, боцман потоптался, повертел головой туда-сюда и, наконец, сказал убедительно: – Давай-ко ты, Петя, шагай сюда ко мне. Я тебя лечить сейчас буду, быстро вылечу.

– Да у меня пока тут заботушка есть, всех обрядить бы надо.

– Уже обряжены все. Сам не видишь? Отходим через час. Сборов-то и не осталось уж. Сам на ногах не стоит, а тоже ему надо думать за всех, обрядальщик, едрит-тя.

И он проводил Зосимова в свою каюту. Там заставил выпить стакан едва разбавленного

спирта. Считай, без закуски, только кусочек хлеба и дал.

Израненного на войне, уставшего, задержанного в хлопотах и полуголодного, ослабленного простудой, Петра Зосимова от такой дозы сильно развезло. Так сильно, что он уснул мертвецким сном прямо в каюте боцмана.

Только через пару часов Новоселов кое-как его разбудил и помог добраться до койки в трюме. Боцману ведь тоже надо было отдохнуть в своей каюте после трудового дня.

А Зосимов упал на свою койку и ушел в болезненное забытие.

15

Разве это расстояние – километр туда да километр обратно? Снега на льду уже почти нет, его выело пусть и не жаркое совсем, но довольно вьедливое мартовское солнце. Под ногами плотный и гулкий лед. Туда-сюда можно обернуться за двадцать минут.

Прибежав к дальней границе участка, Аня обомлела: вдоль всей трехсотметровой кромки моря лежали тюленьи шкуры. Туш не было, а вот шкуры лежали. Вероятно, волочильщики, справившись с тушами, просто отвлеклись на другие дела да позабыли, что не dokonчили свою работу...

Сейчас некогда было гадать, кто в этом виноват. Надо было срочно стащить шкуры в одно место, в кучу и начать переправлять их на судно. А там подключится вся бригада. Нельзя же бросить такое богатство.

Так Аня решила. И взялась за дело. В первую очередь – за шкуры, лежащие подальше. И все надо было делать быстро, ведь она может задерживать отправку судна и подвести не только свою бригаду, но и все колхозы и капитана, такого доброго к ней человека.

Но, перетащив бегом по льду первые пять шкур, она поняла, что уже сильно устала. Ладно, надо еще пять, и она отдохнет. Вот наконец она присела, чтобы хоть немного отдышаться. Но почти сразу вскочила: сколько можно отдыхать, ведь ее ждут люди, она всех задерживает! А у ко- рабля все расписано по часам!

И Аня опять бросилась таскать тяжеленные тюленьи шубы с толстым слоем сала каждая. Она волочила, волочила по льду стокилограммовые тяжести, пока не устала совершенно, пока совсем не выбилась из сил.

И она сказала себе: «Ладно, я чуточку отдохну, совсем чуточку и пойду звать людей. Только чуточку...» Силы совсем ее оставили, но ведь не на лед же ложиться. Кое-как унимая дрожь в локтях, она подцепила крюком одну из шкур, протянула ее так, чтобы шкура легла мехом вверх, и упала на нее. И потеряла сознание. Она очень устала, ученица седьмого класса Анна Матвеева.

16

Две недели назад самка гренландского тюленя Утельга родила двоих малышей. Она долго, очень долго, целых одиннадцать с половиной месяцев готовилась к этому важному для любой матери событию.

Жившие в ней зародыши все это время купались вместе с ней в водах Карского, Баренцева и Печорского морей, гонялись за косяками сайки, трески, мойвы и сельди около побережий Шпицбергена, Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. Утельга набирала жир, который потребуется ей для вскармливания будущих детей, для последующего сразу за этим принятия в себя нового зародыша, для начала очередного этапа материнства длиной в одиннадцать с половиной месяцев.

В начале марта Утельга вместе со своим самцом выбралась из воды на льдину, где уже собиралась колония из множества тюленей. На этом месте из года в год, из столетия в столетие находится гигантский «родильный дом», продолжающий существование так называемого беломорского стада гренландского тюленя численностью в сотни тысяч голов.

Над «родильным домом» с февраля по апрель вековечно гремит многоголосый гомон живущего здесь зверя: рев самцов, дерущихся друг с другом, грозный рык самок, защищающих своих детенышей, жалостливое повизгивание тюленят.

Утельга выбрала место для своей лежки в заветерье от северного ветра – под наклоненной глыбой широкого ропака. Она несколько раз переваливалась с боку на бок, приминала снег, чтобы будущий ее ребенок не запутался в рыхлой замяти, не задохнулся.

Ей не пришлось долго ждать родов. Спустя пару часов она уже облизывала мордочки двух сыночков. Их запах совпадал с ее собственным запахом, и она узнала бы своих детей среди миллионов других щенков.

Самка гренландского тюленя редко рождает двоих детенышей. Как правило, рядом с ней только один. Но сейчас их было двое. И как только Утельга сорвала с них прозрачные родовые пле-

ночки, сыночки ее, одетые в розовые шубки, поползли к ней под брюхо искать соски. Их мамка повернулась на бок, откинула свои лапы, и щенята быстро нашли то, что требовалось. Чмокая и урча, они бойко принялись сосать молоко. А Утельга лежала на боку и жмурила глаза. Самец ее лежал поодаль, ревниво поглядывал на свою самку и тревожно порывался во все стороны. Наверно, он остерегался других самцов, следил, чтобы они не напали и не разрушили его семью.

Детеныши росли быстро. Утроенные жизненные силы им дает необычайно жирное и питательное тюленьё молоко. И уже вскоре «зеленцы», поначалу еле ползающие, превратились в крепеньких тугих бочоночков-бельков, которые начали заводить друг с другом и со своей мамой Утельгой боевые игры.

Дети были совершенно белоснежны, как и подбавает всем белькам, но у одного из них над глазом выделялось серое пятнышко. Утельга своим языком пыталась слизнуть эту темную точку. Но точка оставалась на том же месте.

Скоро уже, совсем скоро Утельга, повинаясь древнему инстинкту, должна была покинуть детей и начать новую игру со своим самцом. Властная Природа требовала, чтобы она вновь зачала в себе новую жизнь и снова стала матерью.

Над льдиной рядом с кромкой бесконечно синего моря, где лежала со своими детенышами Утельга, всходило солнышко, разгорался и угасал закат и висел высоко вверху огромный черный небесный купол, утыканный кристалликами ярких звездочек.

Трескались где-то льдины, и грохот этот пролетал над головой Утельги, над ее бельками, уносился к горизонту и исчезал в морской дали.

Иногда матери надоедало лежать долго без движения и она отползала от щенков, двигалась к находящейся рядом морской кромке. Там она наклоняла голову в воду и соскальзывала со льда в привычную глубину. В погоне за быстрой сайкой она выгибалась уставшее лежать в неподвижности тело, резвилась в родной стихии. Но это не могло продолжаться долго, через короткое время Природа звала ее обратно на лед, где Утельгу ждали ее дети.

Иногда она приносила белькам из морских глубин каких-нибудь рыбок и стелила их перед мордочками. «Смотрите, детки мои, каких вкусных селедочек принесла вам ваша мама», — как бы говорила она. Но детки на ту пору еще не ели рыбу. С принесенным им подарком они предпочитали играть, вырывать рыбок друг у друга из пасти.

Наигравшись, детеныши опять сосали молоко и снова лежали с двух сторон от матери, прижавшись к теплым ее бокам, слабо при этом похоркивая и посвистывая во сне, то и дело ворочаясь и тихо урча что-то свое, детское. Утельга лежала на льдине вместе с детьми. Она выполняла извечный свой материнский долг.

17

Однажды утром дремлющую с детенышами Утельгу и лежащего рядом Лысуна, ее самца, разбудили звуки выстрелов и гортанно-булькающие, всегда страшные для тюленей голоса людей — их извечных врагов. Самец рывком и, подпрыгивая на сильных лапах, умчался к морской кромке. Раздался громкий всплеск. Это Лысун шлепнулся в воду и исчез в глубине.

Утельга же не сдвинулась со своей лежки. Ее приковал ко льду материнский инстинкт, не позволяющий бросать детеныша. Пока белек не наберет достаточного веса, чтобы начать самостоятельную жизнь и самому добывать себе корм, мать будет находиться рядом с ним, какая бы угроза над ней ни нависла, пусть даже и угроза гибели. У Утельги было два детеныша, и когда пришла к ней смертельная опасность, она их не бросила.

Выстрелы грохотали все ближе и ближе. Вот и человеческие шаги зазвучали совсем рядом, и Утельга высоко подняла голову. К ней шел коренастый человек с равнодушным красным лицом. Он нес в руках какие-то длинные предметы. Утельга приподнялась на лапах и ринулась на врага с оскаленной пастью, со всей материнской решимостью защитить своих детей. Коренастый человек равнодушно выругался и, почти не целясь, привычно, из-под локтя выстрелил Утельге в голову.

Человек выполнял обычную свою, рутинную работу.

За ним шел обелевший с острым, как бритва, ножиком. Для него это тоже была самая обычная тюленья туша, которую надо было разделить на положенные части. Он уже сбился со счета, которая эта туша на сегодняшний день. Кажется, где-то из третьего десятка.

Два маленьких белька лежали поодаль и смотрели на людей черными маслинками широко открытых глаз. Все происходящее было для них добрым и счастливым, как их короткое детство, совсем не ведающее страха.

18

Стояла северная мартовская ночь, морозная и звездная. Ледокол «Капитан Мелехов» шел полным ходом курсом на Архангельск. Толстым и упрямым своим корпусом он проламывал смерзшуюся за ночь шугу, долбил и отгонял прочь с дороги плавающие тут и там льдины. Ледокол расчищал путь транспортному судну «Лена», следующему в кильватере. Транспорт – крупнотоннажный трофейный корабль – был огромен, тяжел был и груз, лежащий в трюмах, но мощные немецкие дизели давали хороший ход. И все шло по графику. В девять часов утра следующего дня «Лена» должна доставить свой груз в порт «Экономия» Архангельского пароходства.

Пассажиры «Лены», зверобои из поморских деревень, долго не спали. Все обсуждали удачный промысел. Все выполнили плановые задания, и все были довольны, что будет прибыль в домах.

Русский мужичок не может без заначки. И вот стали из пестерьков, из мешочков доставаться сокровенные припасы: у кого бражка, у кого невеста что намешанное, но тоже с градусами, а у кого-то для такого случая и вовсе припрятана бутылочка драгоценной водочки.

– И-и эх-х! – зазвенели песенки да прибауточки.

Народ пережил тяжеленные военные времена. Многие из этих мужичков – израненные да покалеченные, списанные с войны по причине военной негодности, а в основном пожилые все люди, для которых прошел срок воевать. Но сейчас на этом судне их всех объединила удача хорошей добычи. И нет причины, чтобы не гульнуть, не пошуметь на радостях.

А женщины спали. Если выпадает хоть одна минутка, свободная от детей, мужа или работы, русская женщина вмиг засыпает. И это справедливо, потому что женщина наша непомерно много работает.

19

Аня открыла глаза. Ее бил тяжелейший озноб. Мертвящий холод проник в каждую клеточку тела, лежащего на льду посреди морозной ночи, и тело перестало слушаться ее. Тряслись ноги и руки, громкой дробью стучали зубы. Замерз язык и холодил рот неподвижной льдинкой.

«Надо двигаться! Я ведь могу умереть! – эта мысль пронзила Аню. – Надо попытаться подняться. Надо встать, встать!»

И она начала подниматься. Но не хватило сил даже оторвать плечи от лежащей на льду шкуры. Плечи и руки будто были прибиты гвоздями к ледяной корке. Ей стало страшно.

Аня постаралась взять себя в руки. Поморская девочка, она слышала сотни историй о том, как люди погибали из-за того, что не смогли совладать со своим страхом в трудных ситуациях, будь то на море, на льду или в лесу. «За свою жизнь надо бороться до конца» – так учил ее отец. Так же говаривали опытные люди, бывавшие в разных переделках. «Со страхом в море не суйся, – предупреждают поморы. – Он тебя вглубь и утянет!»

Аня полежала, собралась с силами и стала раскачивать, приподнимать попеременно плечи ото льда. Тело стало совсем чужим, и каждое движение давалось ей с великим трудом. Затем она рывком перевалилась набок и поджала, подтянула к животу колени. Из этого положения ей легче было встать на четвереньки, а потом попытаться поднять и все тело.

На четвереньки она встала, потом на колени. Покачала перед собой трясущиеся руки и поняла, что совсем не чувствует ни ладоней, ни пальцев. Аня стукнула кистями друг о друга, но ничего не почувствовала. Руки стали совсем чужими, будто деревянными.

Но ей надо, во что бы то ни стало надо встать на ноги и начать ходить, чтобы согреться, оживить промерзшее тело. Предприняв невероятные усилия, Анна все же поднялась, медленно-медленно распрямилась, хотя необоримая сила водила трясущиеся плечи из стороны в сторону.

Она попыталась сделать шаг.

И сделала его, хотя ноги ее совсем не слушались. На них невозможно было удержаться равновесие. Качаясь из стороны в сторону, она дважды шагнула по окровавленному ледяному полю, но не устояла и упала набок, сильно ударившись плечом и головой. Впала на секунду в забытие, но тут же вновь пришла в себя. Она осознала, что здесь, на голом льду, оставаться надолго нельзя, что тут она замерзнет очень быстро. Тогда, собрав остаток сил, Аня снова поднялась на колени и, опираясь на трясущиеся, непослушные руки, кое-как доползла до заветной шкуры. Встала на коленях на ее край, потом повалилась набок и тяжело перевернулась на спину. Аня понимала: так она сохранит в теле

хоть на чуточку, но больше тепла. И еще она поняла, что этой своей попыткой встать на ноги она потратила последние силы.

Тело ее судорожно тряслось от мертвящего холода. Одежда, промокшая от изнурительной работы, лежала на ней мерзлой коркой и совсем не согревала. Ноги были обуты в бахилки, совсем новые, старательно смастеренные дедушкой Ильей из хорошей кожи, но и они за прошедший в беготне по сырому льду день тоже насквозь промокли, промерзли и сейчас стягивали ноги, как тяжеленные колоды.

Она поняла, что нигде рядом нет людей, что она одна.

Никто за ней не пришел, даже бригадир, который ее сюда направил. Наверно, что-то случилось. Не могли же ее бросить односельчане, хорошие все люди. Что-то случилось...

Кругом только ночь, сполохи холодного северного сияния и еще мороз, сковавший тело. И одиночество посреди жуткого мерцающего света...

Ее клонило ко сну. Аня подумала: «Я, наверно, сейчас умру». Живущая на Севере, она много раз слышала, что замерзающих людей тянет ко сну.

Она лежала лицом вверх с трясущимся от холода телом и глядела на звезды. Раньше она любила их разглядывать. Она знала, где Малая и Большая Медведицы, где Полярная звезда.

Сейчас Полярная звезда висела прямо над ней и мерцала ярким, равнодушным, мертвящим светом.

Аня Матвеева, в самом деле, умирала, и маленькому беззащитному ее сердцу оставалось стучать совсем недолго.

20

Четвертый помощник капитана Плотников спустился в пассажирский трюм и начал шарить взглядом по койкам. Он не дождался на палубе человека, с которым уже привык проводить вечера, потерял терпение, заволновался и начал искать Аню. Он не мог поверить, что девушка, которая так ему понравилась и которой он вроде бы тоже стал безразличен, вдруг просто так, без объяснения причин не захотела с ним знаться. Михаил нашел койку Ани, но ее самой там не было. В голову полезли всякие глупые мысли: где она и с кем? Но Плотников их решительно отбросил. И стал орать:

– Эй, вы что тут, обалдели все?! Где Анна Матвеева из колхоза «Промысловик»?

Люди стали просыпаться и недовольничать. А обелевшица Парасья Житникова, крепкая и грузноватая женщина, с которой Михаил уже успел познакомиться, села на койку в длинной толстой сорочке, потрясла головой, чтобы стряхнуть сон, и пробурчала:

– Капитан, ты че тут орешь? Людей будишь.

– Публика, вы чего, охренели? Где Анна Матвеева из вашей бригады? – с искаженным от волнения лицом продолжал голосить Плотников.

– Как это где? – Парасья начала просыпаться. – Она с тобой должна быть. Болтаете вы с ей допоздна каждый вечер, знамо дело.

– Вот я здесь перед вами. А где Анна?

Проснулись все. В самом деле, где она, Анна? Где? Народ заволновался.

– Да где она может быть? С нами же была. Все ее видели, с нами была.

– Когда была?

И вот на этот вопрос толком не ответил никто. Все вдруг осознали: последний раз видели ее на льду.

Бригадира Зосимова пришлось долго расталкивать. Он посидел, помолчал и наконец вспомнил:

– Дак я же посылал ее на край участка проверить, не осталось ли там чего неприбранного!

Он округлил глаза, перекошенное из-за раны лицо его задергалось в нервном тике. В глазах вспыхнул ужас.

– Разве она не вернулась?

Руками он вцепился в столешницу, пальцы затряслись. Потом схватил штаны, начал совать ногу в штанину, никак не мог попасть...

21

Охваченная тяжелым, мертвящим сном, Аня едва почувствовала, как в левый бок ее ткнулось что-то мягкое и тяжеленькое, прижалось к ней и стало потихоньку греть. Потом она с трудом слышала постанывания и всхлипывания. Так плачет проголодавшийся младенец, тянущийся к маминой груди. Этот кто-то прижимался к ней всем тельцем и как будто искал ласки и еды. От тельца веяло слабым, но глубоким теплом.

«Наверно, это мне так блазнится, – подумалось девочке среди тяжелой полудремы. – Но это значит, что я еще жива?»

Ане захотелось повернуться к мягкому источнику тепла и понять: кто это? Но тело ее не слушалось.

И вот надо же! С другого ее, правого бока тоже прильнуло что-то такое же плотное и упругое и тоже стало потихоньку согревать. До этого Аня боялась уснуть, боялась, что никогда больше не проснется. Теперь же, пусть и совсем немножко, но все же обогретая неизвестными живыми созданиями, она уснула, уже не опасаясь умереть во сне.

22

Ночью к ней пришел ее отец Федор Северьянович Матвеев. Пришел из ночного мрака со стороны моря. Он был без шапки, в линялой гимнастерке, и ветер пошевеливал седые его волосы. Шел к ней и шаркал о лед каблуками кирзовых сапог. И это гулкое шарканье разносилось далеко над ледяным полем. Он подошел к дочери совсем близко, и от него повеяло бесконечно близким с детства, бесконечно родным отцовским запахом. В нем было намешано так много памятно-домашнего, что у Ани перехватило дыхание. И аромат дома, и сенокоса, и запахи морских водорослей, и всей деревни, и пряный дух отцовских густых волос, в которые маленькая Аня любила прятать свое лицо, и многое другое родное, связанное с ее детской беззаботной жизнью, когда все были дома, были здоровы и когда не было войны.

Он опустил на колени возле нее, прямо на лед. На груди его висела медаль, а рядом с медалью зияла дырочка, отчетливо сквозная, через которую Аня видела далекую звездочку, мерцающую на небе за отцовской спиной.

— Почему ты седой, папа? У тебя ведь были такие красивые черные волосы.

— Бой был тяжелый очень. Я в нем поседел. Людей много погибло.

— Зачем ты стоишь на коленях на льду? Ты ведь простудишь ноги! И без шапки! Ты же можешь заболеть.

— Доченька моя, тебе тяжело сейчас, но я с тобой. Я все время с тобой, хочу, чтобы ты это знала.

Аня хотела протянуть руку к его лицу, но рука была непомерно тяжела...

— Мне не холодно, мне хорошо с тобой, доченька. Я попрошу, чтобы ты не умерла сейчас. Ты должна жить, чтобы выжили мои сыночки, твои братики, чтобы мама наша поправилась. Ты за меня в семье осталась, все на тебе... Думаю, меня послушают, я ведь погиб за матушку нашу, за Россию...

Он поклонился дочери низко-низко, коснулся лбом льда и словно растворился в воздухе.

Сквозь мрак ледяного сна услышала Аня, как ее зовет к себе родная деревня. Послышался ей перезвон весенних сосулек, свесившихся со ската крыши, теньканье прозрачных капелек, падающих с них.

Ей промычала Зорька, любимая семейная корова, которая стоит в хлеву и ждет не дождется прихода настоящего тепла.

Горланисто и отчетливо звонко пропели для Ани свои крикливые песни деревенские петухи. Разбудили, наверно, всю деревню. Их голоса тоже давно знакомы Ане.

Она услышала лай соседского пса Буянка, своего любимца. Буянко, когда видит Аню, открыто ей радуется, весело взлаивает, несет ей изгрызенную палку и требует, чтобы Аня с ним поиграла. Та игру поддерживает и старается вырвать палку из Буянковой пасти. Пес страшно рычит, будто злится на Аню, вертит рыжей своей башкой. Так они играют. Сейчас Буянко очень ждет Аню. Ждет и зовет.

Ждет ее и скворец, который каждый год селится в скворечнике, выструганном отцом и установленном на верхушке телеграфного столба прямо напротив их крыльца. Было это в конце зимы, и потом отец долго не мог дожидаться, когда же прилетит скворец. Нервничал: к тому прилетели, к этому тоже, а у нас никто не селится.

Однажды утром отец разбудил Аню, подвел ее к окошку и завороченно громко прошептал:

— Гляди-ко, Анютка, гляди!

Прямо на крыше скворечника, выгнув в сказочной позе кверху голову, широко раскрыв клюв и растопырив крылья, щебетал дивные песни наконец-то прилетевший скворец. Аня помнит, как они с отцом сидели тогда у окошка — ошеломленные, восторженные, радостные. И сейчас до Ани вновь донеслась весенняя, зовущая ее домой песня того самого скворца.

Где-то на краю деревни стучит и стучит топор. Это рубит баню вернувшийся домой без ноги Ефим Федотов, сорокалетний деревенский коных. И стукоток этот доносится до Ани, лежащей на холодной льдине.

А на самом морском берегу, на ледяной корке у воды, стоят трое: ее мама Наталья Александровна и братишки Сашка с Сережкой. Они пристально всматриваются в морскую даль и кричат в сумрачный далекий простор, в голомень что-то родное и нежное. Аня не может разобрать их слов, но она понимает: они зовут ее домой.

23

Капитан «Лены» был опытным моряком. Когда судно было на переходе, он никогда не уходил в свою каюту, а спал прямо в капитанской рубке. Вот и сейчас второй его помощник был у штурвала и вел корабль по Белому морю. Курс – Архангельск. А капитан отдыхал на топчане (именно на нем недавно ночевала Анна Матвеева).

И тут в капитанскую рубку ворвались двое шумных людей. А конкретно: четвертый помощник Михаил Плотников и какой-то взвинченный, косноязыкий мужик, как потом оказалось – колхозный бригадир Петр Зосимов.

– Человека бросили! – заорали они благим матом. – Человек на льду остался!

Капитан давно не просыпался в таком кошмаре.

– Мы человека бросили! – кричали два этих субъекта. – Скорее всего, она уже погибла!

Капитан сидел на топчане в кальсонах и в белой рубашке и совершенно ничего не мог понять.

Наконец он проснулся и сказал Плотникову насколько мог спокойно:

– Миша, ты помолчи, прошу тебя. – И приказал Зосимову: – А ты говори.

Взволнованный Зосимов с трудом, но смог объяснить, что на месте промысла случайно остался член его бригады Анна Матвеева.

Капитан усомнился:

– Как это – случайно? Это можно молоток случайно забыть или там плоскогубцы, а тут человек.

– Бросили мы ее, бросили, вот и все! – не выдержал Плотников. – Погибает она там одна, мороз там! Девчонка же!

И капитан вспомнил эту девчонку:

– Это та Матвеева, которая чай у нас пила?

– Та самая, та самая! – орал помощник. – Спасать ее надо, срочно спасать! Возвращаться надо!

– Информация проверена? – спросил капитан, натягивая на кальсоны форменные брюки. – Тут нет никакой ошибки, товарищи?

– Да какая тут ошибка, человек погибает! Одина на льду, мороз! Вы это понимаете?! – продолжал кричать четвертый помощник.

– Витя, стоп машина! – твердо сказал капитан старшему помощнику, стоящему у штурвала. – И вызови мне по радиции «Мелехова».

Радиосовещание между двумя капитанами состоялось на траверзе поморской деревни Летний Наволок. Было решено «Мелехов» отправить обратно на поиски Анны Матвеевой. С этой це-

лью на борт ледокола был пересажен бригадир зверобоев Петр Зосимов. А транспорт «Лена» со своим ценным грузом продолжил путь в Архангельск.

Четвертый помощник капитана «Лены» Плотников тоже рвался пересест на «Капитан Мелехов». Его с трудом удержали. И тогда, наклонившись через борт транспорта, Михаил прокричал вслед уходящему ледоколу:

– Передайте Ане, что я ее жду! Жду я ее!

Но ветер, волны и шуршание льда о борта судна заглушали его крик.

А уплывающий обратно бригадир Петр Зосимов знал, что нельзя ему возвращаться домой без живой Ани Матвеевой, что деревня не простит ему, если с ней случится беда. Он ведь старший, а это значит, что отвечает за все.

24

Медленно вылезающее из-за моря солнце, приподнявшись над горизонтом, вылило из огромной своей полости желто-красную краску на белый ледяной простор, на торосы. И на еще схваченной ночным морозом ледяной поверхности миллиарды похожих на снежинки кристалликов начали выстреливать в пространство разноцветные брызги ярких лучиков. И лед на многие километры стал как сказочно роскошный, тончайшей работы дивный ковер, усыпанный драгоценными камнями.

Аня открыла глаза. Первая пришедшая мысль была: «Я все еще жива».

Все тело было деревянным и почти не двигалось. Очень болели ступни и пальцы ног, страшно ныли колени, стали ледяными ладони. Гортань будто залило свинцом.

Она понимала: ее спасало то, что она лежала на тюленьей шкуре, которая не пропускает холод, идущий ото льда. Кроме того, по бокам к ней прижались и отдавали ей свое тепло какие-то живые существа.

Кто же это?

Аня с большим трудом повернула голову налево и обомлела: к ней прижался и, закрыв глаза, посапывал маленький тюлененок. Он был совершенно белый. Значит, возраст его около двух недель, подумала она. Это белек. Скоро детеныш тюленя начнет покрываться серыми пятнами и станет именоваться хохлушей.

А что же присоединилось к ней с другой стороны? Ане тяжело дался поворот головы направо: шея, перехваченная морозом, совсем не слуша-

лась. Там, тесно к ней прижавшись, спал другой тюлененок. Только не совсем белый: на его лбу выше глаза виднелось серое пятнышко.

Она поняла, что в крошечной темени бельки приняли ее за свою маму, прильнули к ней и укрылись под ее защитой.

Аня не знала, что шкура, на которой она лежала, была шкурой матери этих тюленят – Утельги. И что бельки пришли сюда на запах своей матери.

Она хотела сказать им что-нибудь ласковое, ободряющее, но горло ее замерзло. И рот, и губы тоже не двигались. Тогда она стала говорить с ними беззвучно, про себя.

– Я теперь буду вашей мамой, дорогие мои дети, – говорила она, глядя полузамерзшими глазами в небо. – Во-первых, спасибо вам за то, что вы спасли мне жизнь. Я теперь буду вам благодарна всегда. Во-вторых, как любящая мама, я обязана дать вам имена. Ты, беленький, получишь красивое имя и будешь называться Беляком. – Тут она маленько подумала. – А ты, с пятнышком, получишь не менее красивое имя. Ты теперь будешь Пятнышком. Согласны, дети мои? Ну, чего вы сразу загалдели, заперебивали друг дружку? Вижу, что согласны. Вот и хорошо, вот и молодцы.

Аня попробовала пошевелить ногами. Ничего у нее не получилось.

– А теперь, в-третьих, – продолжила она разговор со своими малыми детками, – вы должны твердо знать, что я, ваша мама, никогда не дам вас в обиду. Я же вас люблю, как же я могу допустить, чтобы моих деток кто-то обижал...

Солнце приподнялось над горизонтом и обдало округу слабеньким, еле различимым теплом. Но даже такое легкое прикосновение мартовского северного солнца вызвало испарину на ледяной поверхности, и над белым пространством повис искрящийся туман. Воздух от этого стал еще более промозглым.

– Знаете, дети мои, чего я хотела бы больше всего на свете? – беззвучно разговаривала с Беляком и Пятнышком Аня. – Я очень хочу, чтобы выздоровела моя мама. Чтобы она играла опять со мной, пела своим замечательным голосом песни, чтобы ходила со мной в лес. А она только слабеет и слабеет. Это меня очень беспокоит, дети мои.

Из глаз ее вытекли слезы, но она их не вытерла, потому что не могла поднять одеревеневшие руки. И слезы хрустальными стеклышками застыли на ее щеках.

Тюлененок, который был слева, зашевелился, и Аня с трудом повернула голову к своему Беляку. Тот лежал, держа мордочку у нее под мышкой, и глядел на ее лицо немигающими черными глазами.

– Ну вот, сыночек мой Беляк, ты проснулся и слушаешь мамин рассказ. Наверно, Пятнышко тоже не спит. Тогда не перебивайте меня и сидите тихо. А я буду с вами разговаривать... Еще я очень хочу, чтобы поскорее подросли мои братья. Они совсем меня не слушают, даже маму нашу слушают не всегда. Нам с ними трудно справляться. Уж скорее бы они стали серьезными. А вы, сыночки мои, что на это скажете?

Аня попробовала пошевелить пальцами рук. И не поняла, получилось у нее это или нет, потому что пальцев она не чувствовала. В ее ладонях, как и в ступнях, стояла неизменно-тяжелая боль.

И еще были вопросы, которые совсем недавно стали ее сильно волновать. Совсем беззвучно, не шевеля ни губами, ни языком, она высказывала своим детям наболевшие эти вопросы:

– Seriously ли относится ко мне Михаил Плотников? Не шалопут ли он какой-нибудь, не бабник ли? Я так боюсь в нем ошибиться... Нравлюсь ли я ему? Или это все шуточки для него? В фуражечку вырядился, видите ли... А он, сыночки мои, мне нравится, даже очень. А может быть, и больше того. Волнуюсь я и почему-то тревожусь. Не было со мной такого никогда...

Дети ее, Беляк и Пятнышко, с обеих сторон прижимались к ней, хлопали своими черными глазками и что-то там попискивали. А совсем зачоченевшая Аня Матвеева не сомневалась, что люди к ней вернутся, что ее найдут. Еще ей хотелось, чтобы за ней пришел, чтобы нашел ее четвертый помощник капитана Михаил Плотников. В своей фуражечке.

25

Она с трудом сдерживала смыкающиеся веки, ей нельзя было спать, это она хорошо понимала.

Мысли ее вдруг ушли к Тому, Кого все чаще и чаще вспоминала ее мама. Она обращалась к Нему обычно по ночам, когда все спали, и шепотом называла Его то Господи, то Боженька. Мать упрасивала Его пожалеть ее доченьку и ее сыночков. Просила, чтобы вернулся с войны муж, хотя на него пришла уже похоронка. «Но Ты верни его мне, верни, Господи, ведь я люблю его очень. Не нагляделась я на него, не надышалась».

Хоть и прожили с ним изрядно, а все как один день. Не хватило мне... Да и семье-то как без отца, без кормильца? Не выжить ведь нам без него».

Еще она просила продлить ей хоть ненадолго жизнь. «Знаю я, — шептала она в ночную тишину, — что умру я скоро, лихоманка у меня неминуемая, съела меня совсем, но Ты, Боженька, продли хоть на годик-другой денечки мои. Надо мне ребятишек своих поднять. Малы ведь совсем да глупы. Не в приют же их отдавать. А Анечке моей надо учиться. Она умница у меня, в школе успевает на отлично. Но ведь избилась она совсем в трудах немилосердных. Девчонка еще малая, подросток, а работает больше всех. Не надорваться бы ей... Помогите нам, Господи, помогите и помилуйте».

И мама тихо плакала в подушку.

И Аня тоже плакала. Ей было нестерпимо жалко маму.

Сейчас первый раз в своей жизни она тоже стала думать о Боге.

«Я Тебя совсем не знаю, Боженька, и не могу разобраться точно: есть Ты или нет на белом свете? Я ведь комсомолка, а наш комсомол не верит в Тебя. Но в Тебя верит моя мама, а ей я доверяю больше всех на свете».

Потом она подумала и белыми беззвучными губами сказала Богу со всей решимостью:

— Теперь я тоже буду жить с верой в Тебя, как моя мама. Так мне легче будет жить, я это точно знаю.

Аня попробовала пошевелиться. Движения не получилось. Тело совсем ее не слушалось. Только с боков ее подталкивали, пошевеливали и отдавали часть своего тепла два живых существа, ее сыночки Беляк и Пятнышко.

«Я прошу Тебя, Боженька, выручи меня, помоги мне. Мне совсем не хочется умирать. Рано ведь еще. Я в жизни ничего не видела... Пусть за мной придут».

Силы совсем оставили ее. Она обратила к Боженьке последнюю свою мысль: «И помоги сыночкам моим Беляку и Пятнышку. Они ведь тоже остались без матери».

И потеряла сознание.

26

Было десять часов восемнадцать минут утра. Стояло 15 марта 1945 года. Ледокол «Капитан Мелехов» причалил к ледовой кромке как раз в том месте, откуда вчера отходило транспортное

судно «Лена». Бригадир зверобойной команды Петр Зосимов сам выбросил за борт и закрепил деревянный слип. Он буквально сбежал с трапа на лед и быстрым шагом впережку с трусой поспешил туда, куда вчера ушла Анна Матвеева. За ним поспевал матрос Шостак, выделенный ему в помощь боцманом ледокола.

Зосимов торопился и страшно клял себя: как же, как же потерял он Аню? Не доглядел, вернулась ли она, зашла ли на борт... Конечно, оправдание имеется: спешка, погрузка, суета, простуда эта... Но ведь сам же отправил девчонку! Сам! И фактически оставил ее одну. Считай, что бросил.

Что бы сказал ему сейчас Федор Матвеев, уважаемый в колхозе человек, который еще в предвоенные годы учил его рыбодобыче и зверобойке и который лежит где-то в карельской земле? Отец Анны. Ничего хорошего он не сказал бы, а может быть, и рожу бы ему набил. И правильно бы сделал.

...Аня лежала на тюленьей шкуре неподвижная, с мертвенно-белым лицом. Зосимов рванул к ней, прильнул ко рту: дышит или нет? Нет, дыхания не слышно. Эх ты, беда! Он знал, что у умирающего на морозе человека дыхание как бы замирает, его трудно обнаружить. И тогда он встал перед ее лицом на колени и сбоку уставился на едва открытый рот. Должен быть парок, если человек дышит.

Ничего не видно.

Но вот ему показалось, что в какое-то мгновение между Аниных губ промелькнула тоненькая полоска пара. И Зосимов скинул рукавицы, стал ладонями растирать лицо девочки, ее руки, ноги, тело.

— Жива ты, Аня, жива! Теперь не умрешь! Мы тебя выправим! Оживай, девочка, оживай! Ишь, помирать удумала! Рано тебе помирать! Ты сперва внучат нарожай Федору...

Он не говорил, а кричал. Наверно, ему казалось, что его крик может разбудить Аню, вернуть из навалившегося непомерно тяжелого сна.

И она в самом деле услышала его спасительный крик, открыла глаза. Лишь после этого обесилевший Зосимов перевалился набок и зашелся в судорожном кашле.

— Ничего, — хрипел он, — это легкое хандрит, едри его корень, пройдет оно, ничего.

Только теперь разглядел он, что каблук на его сапоге пытается разодрать маленький белый тюлененок. Справиться с каблуком у белька не хватало силенок, но он упрямо урчал, посвистывал и вцеплялся крепко.

– Ну ты, брат, даешь, – сказал бригадир, отталкивая тюлененка другой ногой. – Чем же я тебе насолил?

Со вторым тюлененком, что был на другой стороне от лежащей на льду Ани, воевал Шостак. Белоснежный малыш напал на него и старался цапнуть за ногу.

– Эх, жалко, я багра не взял, – ворчал матрос. – Сейчас бы тукнул, да и все.

– Не трогай их, – прохрипел ему Зосимов, – видишь, они нашу девочку обороняют. Они, наверно, спали рядом с ней, за мамку приняли. А тут мы пришлепали. Вот они и гонят нас от своей мамки.

– Такие клопы, а туда же – нападать! – весело возмущался Шостак и кое-как все же отодвинул тюленят в сторонку.

Те сидели теперь в трех метрах от людей, помаргивали черными круглыми глазками, хоркали и посвистывали.

Аня лежала с открытыми глазами и молчала. Теперь ее оттирал Шостак. Наконец она тяжело повернула голову к Петру Зосимову и едва различимо ему улыбнулась.

– Ну, все! – обрадовался бригадир. – Стала улыбаться – теперь не помрет. Давай, матрос, понесем ее на судно.

Они ушли и унесли Аню на руках. А Беяк и Пятнышко сидели рядышком и глядели им вслед. И эта мама от них ушла.

27

Аня пролежала в больнице долго – целый месяц. Медленно восстанавливались сильно обмороженные лицо, руки, ноги, тяжело залечивалось сильнейшее двустороннее воспаление легких.

Но какую хворь не одолеет юный крепкий организм? И вот она, с перевязанными руками и ногами, уже выходит из палаты, прохаживается по больничным коридорам, воркует с нянечками и медсестрами.

Ее тут все уже знают, все именуют ласково Анечкой. Всем известно о ее страшных приключениях. Все хотят с ней поговорить. И она – добрая душа – общается с людьми с открытым сердцем.

В крепких ее снах постоянно возникают картины незабываемой той ночи. И в ноги ее ложатся два белых ангелочка с черными глазками, ее сыночки Беяк и Пятнышко. Они снова прижимаются к ней теплыми бочками, от этого и ногам ее, и телу становится тепло-тепло. Аня давно уже знает, что ангелочков этих послал ей Тот, к Кому и она обращалась за помощью, и ее отец.

А кисти рук, получившие сильнейшие обморожения, спасли от ампутации только варежки, подаренные четвертым помощником капитана Плотниковым. Об этом Ане сказали врачи. Уже три раза прибежал к ней в больницу и сам Михаил.

У судна «Лена», задействованного в каботажных перевозках, короткие рейсы: снабжение поморских деревень и воинских частей всем необходимым, доставка и выброска геологических партий, перевозка грузов и специалистов на Новую Землю и в другие точки Белого и Баренцева морей. А возвращение – всегда в родной город, в порт приписки Архангельск. Этого возвращения Михаил с некоторых пор ждет особенно...

Когда он приходит к Ане Матвеевой, у всех возникает ощущение, что не может Михаил надыхаться самим ее присутствием, тем, что она рядом. И люди всегда радуются его приходу, потому что этот парень всегда приносит с собой откровенный праздник любви. Скажите, кто не рад такому празднику?

Аня тоже его всегда ждет, очень ждет.

День выписки из больницы счастливо совпал с приходом «Лены» в родной порт. Плотников ворвался в больницу с букетом гвоздик, возбужденный и счастливый оттого, что не опоздал. Аня ждала его в вестибюле. Сидела и была уверена: он придет. И он пришел!

Потом они долго-долго, до самой ночи просидели у маминой тети, Павлы Андреевны, живущей в Соломбале, говорили, говорили и не могли наговориться.

Мише нельзя было опаздывать на вахту, и он умчался на свое судно. Аня на другое утро уехала в деревню.

Перед тем как расстаться, они обещали писать друг другу письма и обещание свое сдержали. И подружались крепко-крепко. На всю жизнь.



Поздравляем нашего дорогого автора с 60-летним юбилеем!

Счастья! Здоровья! Успехов! Многая лета!

Андрей
РЕБРОВ

В ТОЛЩЕ ВРЕМЕННОЙ



* * *

Цвели целительные травы
Под взором солнечным небес.
И, как Мамврийская дубрава,
Дышал иссопом русский лес.

В душистой дымке золотистой
Ягненок пасся на лугу,
И женщина несла тернистый,
Смолистый хворост к очагу,

Где до поры, тая дыханье,
Заветно тлел огонь костра,
И старец, будто в ожиданье,
Стоял у ветхого шатра...

И голубь реял крестоносно,
И шло служенье муравья...
Все было значимо и просто,
Как в вечной Книге Бытия.

* * *

Поветшала скитская дубрава,
Понищал одеждами народ.
Лишь церковей намоленные главы
Золотят осенний небосвод.

39

Снова, Русь, в убогом одеянье
На заветный свет их
ты спешишь.
Века и природы увяданье –
Время для спасения души.

* * *

Засыпал стекла рыхлый свет дневной,
И мне светлица кажется норую.
И растворяю в поле я окно,
Где пахнет свежей пашнею сырою,
Где крот, как будто в толще временной,
Копают ход сквозь древний пласт земной.
Так я порою Вечность носом рою,
Чтоб в смертной тьме, под жизненной
корою,
Найти просвет в небесный мир иной.

* * *

Вот снова чьи-то дети вдалеке
Так по-библейски плещутся в реке
И голышом на свежем ветерке
Простосердечно бродят по мыску.
А время, уподобившись песку,
Заносит их следы на бережку.
И человек, похожий на Луку,
Им что-то пишет тростью на песке...

РЕБРОВ Андрей Борисович родился в 1961 г. в Ленинграде. Один из основателей Православного общества писателей, созданного по благословению митрополита Иоанна (Снычева). Пребывание в святых местах русских: на Валааме, в Оптиной пустыни, в Дивееве, Святогорском, Псково-Печерском монастырях – оказало большое влияние на его произведения. Секретарь СП России. Лауреат всероссийских литературных премий. Академик ПАНИ, АРС. Имеет церковные и государственные награды. Главный редактор журнала «Родная Ладога». Живет в Санкт-Петербурге.

СВЯТОЧНОЕ

Блекнет день,
исполнясь ветхим светом.
В старый сад тропа замечена.
В снежной сфере яблоневых веток
Созревает новая луна.

На дворе – мороз, но временами
Чудится, что в законной мгле
Сладко пахнут горными садами
Яблоки, не собранные нами, –
Маленькие луны на земле.

НА БРАНЬ ПОСЛЕДнюю...

Митрополиту Константину (Горянову)

Золотилось небо спелой рожью,
А в полях синели васильки.
Шел монах сумняшеся ничтоже
Вековой тропой, и кулики
Щебетали в долах васильковых
Под ржаной вязью облаков.
И лучилась к полю Куликову
Тропка летописною строкой.

Шел чернец строкой незавершенной,
Посох предрежа в руке своей,
Мимо новорусских вавилонов,
Мимо стойких дедовых церквей.

А издалека сквозь птичье пенье,
Сквозь халдейский ропот городов
Доносился грозный гул сраженья:
Гром гранат, глухой, как стук щитов,
Посвист пуль, звучащий, словно эхо
Впившихся в простор ордынских стрел,
Лязг пропятых танковых доспехов,
Трубный гуд страстных монастырей.

Шел монах без усталости и страха
На армагеддонское жнивье...

И служило посохом монаху
Пересвета древнее копьё.

У РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЕЛКИ

Моему сыну Арсению

Там мир таинственный, согретый
Воображеньем детворы:
И за спиралью мишуры
Не просто полые шары –
А населенные планеты.

Там детских грез чудесной силой
Гирлянды лампочек цветных
В неугасимые светила
Невинно преображены.

И, как сгущенный – до сверканья,
Овеществленный в форму свет,
Шпиль над еловым мирозданьем
Горит, мечтами их согрет.

А здесь, пред елкою, в сторонке –
Весь в чистых, радужных слезах –
Лик обомлевшего ребенка,
Его нездешние глаза.

* * *

В долгом омуте метели
Тонет черная река.
К часу пушкинской дуэли
Нет ни брода, ни мостка...

Только белая пучина
Стонет, словно человек.
Только ягоды рябины
Тихо каплют на снег.

Только вдруг, заколыхавшись,
Щелкнет ветка у виска,
Будто выстрел, прозвучавший
Сквозь метельные века.



**Дмитрий
ХОБОТНЕВ**

**НЕТ В НАШЕМ МИРЕ
СКОРБИ, СЛЕЗ И ЗЛА**



* * *

*Нет в нашем мире скорби, слез и зла.
Я верю, нет, надеюсь, он хороший.
И, сидя у накрытого стола,
Я всем друзьям похлопаю в ладоши.*

*Я так хочу увидеть этот мир
Таким, каким он должен быть по смете.
Чтоб наконец-то главный ювелир
Придал огранку гибнущей планете.*

*Планета гибнет, киньте мне в лицо
Тот камень, что мешает под ногами,
Пока я пью последнее вино
В немыслимой и вкусной амальгаме.*

* * *

*Куплю-ка я себе на вырост гроб,
Пока не разобрали конкуренты,
Но неспроста куплю, а просто чтоб
Не пропустить веселого момента.*

*Когда никто воды не поднесет,
В него я лягу и глаза прикрою.
И, отправляясь в длительный полет,
Я даже крыльев не возьму с собою.*

*И пусть несут без лишних процедур
Подальше: за луга, леса, болота,
Где наконец-то будет перекур
И потеряет значимость работа.*

*Где безразличны правда и обман,
Земля и небо, замок и лачуга,
Никто не лезет ни к кому в карман,
Не надо ни любить, ни бить друг друга.*

*Куплю-ка я себе на вырост гроб
Как символ веры в счастье и богатство,
Как знак того, что только пуля в лоб
Несет свободу, равенство и братство.*

* * *

*В моей голове поселилось Солнце,
Оно пылает, оно жжет,
Страшное, красное, как на флаге японца,
Куда-то меня зовет...*

*Далеко не хочу, не надо,
Откройте подвала днище,
Пусть каждая крыса будет рада,
Что есть на ближайшее время пища...*

ХОБОТНЕВ Дмитрий Николаевич (1978–2020) родился в Новокузнецке. Учился в Сибирском государственном индустриальном университете. Окончил Кузбасскую государственную педагогическую академию по специальности «учитель русского языка и литературы». Работал шахтером. Публиковался в журнале «Огни Кузбасса», альманахе «Кузнецкая крепость», «Литературной газете». Автор книги рассказов «Мост». Член Союза писателей России. Жил в Новокузнецке.

Сижу и слушаю сердца стук,
Какая странная песня,
Что будет, если она прекратится вдруг?
Здесь или там интересней?

* * *

Вновь костры у славянской избы
Разожгли чужеземные люди,
И за вкрадчивой песней судьбы
Слышен гром стенобитных орудий.

Снова старый безумный колосс
Наступает на ржавые грабли,
И среди белокожих берез
Засверкали монгольские сабли.

Мы идем, что нам сабли и гром?
Пережито давно и не ново.
Наша цель – в самый маленький дом
Занести подзабытое Слово.

Не споткнуться бы нам на пути,
Не сломаться под тяжестью неба
И на дальний рубеж донести
Знамя с запахом черного хлеба.

* * *

Я видел сон.
В нем молчаливый кто-то
Кружил над пропастью по шаткому мосту,
И уходило плавно в пустоту
Скрипение печального фокстрота.

И старые бесформенные скалы,
Истертые о темный небосвод,
У пропасти водили хоровод,
Покинув вековые пьедесталы.

Сон без цветов, светил и ароматов.
Ни дня, ни ночи, лишь полутона
Любила эта грустная страна,
Не знавшая восходов и закатов.

* * *

Далеких дней забытые слова,
Застывший лик седого циферблата,
Чужая, незнакомая трава
На всех тропинках, пройденных когда-то.

Лукавая, святая тишина
Стоит в конце туманного проспекта,

И запахом дешевого вина
Насквозь пропитан зазеркальный некто.

Рука сжимает олово креста,
И плачут хрипло тонкие суставы:
И там и здесь все та же пустота,
Не правы мы, но и они не правы.

Ночами слышу чьи-то голоса,
Какой-то шепот грозный и невнятный,
Как будто чужестранные леса
Мне шепчут: рано, уходи обратно.

Но крюк немой, глядящий с потолка,
Все ждет и ждет, когда в часы похмелья,
Устав искать дорогу в облака,
Я соглашусь спуститься в подземелье.

* * *

Играет бликами лопата,
Спеша упрятать смелый фарс.
Под монотонный лязг набата
Восходит красноглазый Марс.

Его единственное око
Мерцает в зеркале зари:
На сбор гранатового сока
Ступайте, жалкие цари.

И две бесформенные глыбы
Парят вокруг него в тиши,
Как бремя первозданной дыбы
Для заблудившейся души.

* * *

Однажды за окном ударил гром
В минуту гипнотического сна,
И понял я: нагрянула в мой дом
На годы опоздавшая весна.

И смыли ливни старости налет,
И обновленный воздух дух пьянил,
Но лишь окреп сковавший душу лед
И навсегда надежду схоронил.

Мой взор мечтал о радужном венце,
Обнявшем изумрудные луга,
Но, как уведомление о конце,
Стянула город черная дуга.

Смотрел на город я с вершин холмов,
И мне обман открыла высота.
Из желтых глаз задумчивых домов
Струилась равнодушно пустота.

* * *

Замолчи, истерзанная лира,
Кровью захлебнувшийся набат.
На погостах плачущего мира
Демонов парад.

Плач звучал всегда – звучит и ныне,
Разъедает эшафоты соль,
Но стоят надежно две твердыни –
Ненависть и Боль.

Стало пусто в золоченых храмах,
Окна их черны.
Скалится в газетных панорамах
Злобная личина Сатаны.

В гневе термоядерного рыка
Меркнет скорбь растоптанных икон,
Веру человеческая клика
Бросила на кон.

Замолчите, немощные боги –
Часовые мнимых аксиом,
Смерть бредет по замкнутой дороге
С цинковым ведром.

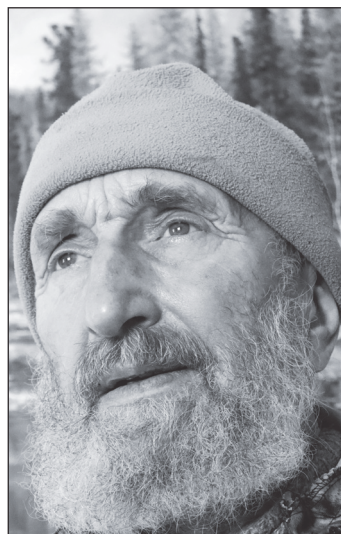
Но внезапным эхом исказила
Одинокий вопль пустота,
И в словах вернувшихся сквозила
Глупая мечта...

Лей бальзам, сверкающая лира,
Смолк навеки стонущий набат.
В небесах смеющегося мира
Ангелов парад.



Геннадий СОЛОВЬЕВ

Рассказы



ГОРЬКИЙ ВЫСТРЕЛ

1.

Федора разбудил шум подъехавших снегоходов. Он не вышел смотреть, кто это, зная, что должны подъехать староверы. В балке выстудило, и вылезать из теплого спальника не хотелось. «Зайдут сами, затопят печку», – подумал он. Сын Денис тоже лежал молча.

Зашли знакомые молодые старообрядцы, возбужденные дорогой и брагой, к которой они, судя по веселым лицам и голосам, не раз прикладывались. В балок струями хлынул свежий вкусный воздух. Потянул по полу, освежая лицо и легкие. Нар в балке не было, и мужики спали на расстеленных по полу оленьих шкурах. Ребята быстро затопили печь, поставили на нее чайник и котелок с водой, тут же достали бидончик и пластмассовое ведерко. В ведерке была густая сметана, а в бидончике – продолжение дорожного веселья.

Парни стали расталкивать Дениса, чтобы он сел с ними, и вежливо предложили Федору попробовать их изюмовки. Федор отказался. Они с сыном приехали охотиться на гусей, и Федор знал, что, когда пригреет весеннее солнышко, хмель будет совсем не союзник на охоте, где главное – терпение и бдительность. Рассла-

бленный алкоголем и теплом охотник начнет попросту засыпать в скрадке.

Парни разлили по кружкам ароматную жидкость, настоенную на изюме, и, перекрестившись, выпили. Стали закусывать вяленным мясом, макая его в сметану. Такой закуски Федор еще не пробовал – оказалось очень вкусно и сытно.

Раскрасневшиеся, возбужденные трудной дорогой, парни подшучивали над своим товарищем, у которого была пятазарядка с наваренным стволом от другого ружья. Ствол был длиннее сантиметров на двадцать пять и выделялся из кучи прислоненного к стене оружия. Ему советовали, когда гуси налетят, со стрельбой не спешить. «Первого бей просто стволом, как палкой. А уж которые уцелеют – тех добивай выстрелом». В ответ хозяин ружья грозился оставить всех без добычи, потому что его ружье бьет так далеко, насколько глаз видит. Так что он один будет охотиться, а остальные – только смотреть и ему завидовать.

Федор с удовольствием смотрел на крепких ребят, которые с пеленок приучены не бояться тайги и охотничьих трудностей. Денис спросил, сильно ли прибывает вода на Енисее. Ответ был неожиданным: про воду ничего не знают, потому что Енисей дал подвигу и намял на берег лед. Денис с Федором переглянулись. Их деревня

СОЛОВЬЕВ Геннадий Викторович родился в 1949 году в г. Боготоле Красноярского края. Охотник-промысловик. С ранней юности не мыслил себя без тайги и после армии уехал в Туруханский район, сменил несколько сел, пока не переехал в пос. Бахта. Выступил главным героем фильма о промысле «Счастливые люди». Публиковался во многих журналах. Живет в пос. Бахта.

была на шестьдесят километров выше по реке и стояла на правом берегу. Староверский поселок находился на левом. Никто не ожидал такого раннего ледохода.

– Что будем делать? – спросил Денис отца.

Помолчав, Федор ответил:

– Охотиться.

До места охоты надо было добираться по тундре, залитой водой, которую приходится проходить на скорости. Потому они и приехали каждый на своем снегоходе. Денис сказал Федору, что через пять дней прилетит рейсовый вертолет. Староверы, слушавшие их разговор, добавили, что в деревне уже есть пассажиры, тоже охотники из другого поселка, и что заявку на посадку уже отправили. «Оставьте снегоходы у нас, потом на лодках увезете», – предложили ребята. На том и порешили.

У приехавших веселье набирало обороты. Федор понял, что на этом озере охота будет громкой. Спросил Дениса, что он думает. Тот ответил, что, вернее всего, ребята допьют брагу и лягут спать. Так что он посидит здесь. Федор, взяв гусиные профиля, поехал на соседнее озеро. Там птица шла хуже, но было спокойней.

Тундрами местные жители называют обширные сухие болота. Они и похожи на маленькие кусочки тундры – такие же бугристые. Россыпью блестят зеркальца маленьких озер, и почти везде растет карликовая березка и багульник. Зимой, пересекая такие места, видишь только безжизненную, с полоской далекой тайги равнину. Весной все меняется. Даже удивление берет, сколько здесь живности. Утром тундра наполняется голосами: бормочут тетерева, квакают копалухи, дурными (по человеческому разумению) голосами орут куропахи. И над всей этой какофонией плывут лебединые торжествующие клики.

Расставив профиля, отогнав снегоход подалее и закрыв его маскировочной тканью, Федор вернулся к прошлогоднему скрадку. Охота началась. Гуси пролетали редко и стороной, не обращая внимания на фанерные обманки. Солнце стремительно набирало высоту, стараясь заглянуть в самые затененные места. Где оно не доставало, ему помогал ветерок. Он нес весеннее тепло, и оно с жадностью подъедало грязный зернистый снег.

Налетел гусь-одиночка. Федор сбил его первым выстрелом. С озера ответили дуплетом, по-

том еще и еще. «Видать, хороший табун налетел», – с завистью подумал Федор.

Тундра потихоньку затихала, перестали чужать-бормотать косачи, пара копалух целеустремленно пролетела к дальнему кедровому острову.

Снова ударили выстрелы с соседнего озера. Солнце карабкалось в зенит и не жалело тепла. Федор снял шапку. На озере опять отдуплелись. «Наверное, надо вернуться на старое место. Озеро большое, найду где пристроиться», – подумал Федор. Но не мог решиться, зная по опыту, что только начини собирать профиля – обязательно налетят гуси.

С озера донесся залп, потом несколько одиночных выстрелов. Федор не выдержал, вышел собирать профиля. Выдернув несколько штук, услышал, что идет снегоход. Блестя фарами и защитным стеклом, в ореоле разлетающихся брызг к нему несли на скорости Денисов белый «линкс». Не сбавляя хода, он подъехал прямо к скрадку.

– Летают? – спросил Денис.

– Летают, но редко. И летят самой кромкой над тайгой, – ответил Федор. – А у вас там, смотрю, весело.

– Весело, – ответил Денис, – все банки перестреляли. Два табунка налетали, дак они спяну стали палить метров за сто, не подпустили. Поеду сяду куда-нибудь на другое место. Они сказали, что послезавтра начинаются праздники и они завтра к вечеру уедут. Им в праздники охотиться и работать нельзя. Так что до вертолета у нас будет время спокойно поохотиться.

Так оно и получилось. Подошел основной гусь, на спокойной тундре он хорошо шел на профиля, и отец с сыном неплохо добыли. В день отъезда придавил хороший утренник, и они быстро доехали до староверской деревни. Было около восьми утра. Подъезжая, Федор думал, что неудобно так рано будить хозяев. Но, к его удивлению, разнеженно-сонной они деревню не застали. У многих топились печи, а самого хозяина, у которого они собирались оставить снегоходы, встретили на тракторе-семьдесятятке. Мефодий сидел в кабине с четырнадцатилетним сыном. Остановившись, он объяснил, куда поставить технику, сказал, что вернется через полчаса. Когда Федор проезжал по деревне, его удивило и порадовало, что в окна выглядывали не только взрослые: любопытные детские мордашки мелькали там и сям из-под занавесок.

По разбитому трактором огороду Федор с сыном подъехали к бревенчатому дому. Он был под одной крышей со всеми пристройками. Когда загнали снегоходы во двор, поразились его длине. Везде стояла разная иностранная техника. Пока развязывали багаж, подъехал хозяин и пригласил в дом.

Мефодий был невысоок ростом, но крепок. «Заходите, заходите, как раз успели к завтраку», – пригласил он радушно. Глядя на этого неряшливо одетого человека с всклокоченной бородой, Федор подумал, как обманчива внешность. Если б он просто встретил Мефодия на улице, никто бы его не убедил, что перед ним крепкий и основательный хозяин. Раздевшись, Федор с сыном прошли в дом. Везде была чистота и порядок. Из кухни выглянула девочка лет десяти и быстро юркнула обратно. Потом вышла невысокая женщина, поздоровалась и, указав на диван, сказала, чтобы они подождали, хозяин сейчас придет. Федор ответил, что тот во дворе и они уже виделись.

Гости сели на диван и стали рассматривать фотографии на стене. Два портрета, висевшие рядом, сразу привлекали внимание. Молодой мужчина с роскошной бородой и молодая женщина с косой, уложенной на голове кольцами. Бородач смотрел с портрета жестко, прямо в глаза. Казалось, что сейчас он скажет что-то резкое. Женщина, наоборот, была весела лицом, смеющиеся глаза и полные губы были очень хороши.

Появился переодевшийся Мефодий, сразу прошел на кухню. Вынес небольшой столик и поставил перед гостями. Хозяйка и девочка быстро расставили чашки с едой. Хозяин принес кувшин. Федор догадался, что это все та же изюмовка. Напиток оказался вкусным и крепким. Когда позавтракали, Федор спросил про портреты. Старовер ответил, что это его дед с бабкой. Дед пропал во время войны без вести, а бабушка так и прожила с детьми одна, замуж больше не вышла и похоронена здесь на кладбище.

У Федора дед по матери тоже пропал без вести под Сталинградом. Федор помнил фотографию, где его дед так же смотрел в глаза и казалось, сейчас прикрикнет за какую-нибудь шалость.

– Их было три брата, – начал рассказывать хозяин, кивая на портрет. – Два брата спрятались в тайге, не пошли, а дед мой сам пошел. Бабушка рассказывала, что его отец, наш пра-

дед, сильно с ним поругался, хотел, чтоб он тоже ушел в тайгу, но тот ослушался и ушел на войну. – И, помолчав, добавил: – Ушел совсем. Царство ему небесное, – и перекрестился, глядя на иконы.

Прибежал хозяйский сын и сказал, что вертолет будет через полчаса. Мефодий завел старенький «буран». Загрузили сани и поехали заранее. Трое незнакомых охотников уже были на месте и стояли возле своего многочисленного груза. Мефодий сказал Федору, что у этих охотников был большой раздор с деревенскими, потому что с гусями они настреляли и глухарей, и копалух, а это птица не пролетная, местная. Досталось и человеку, у которого они остановились.

Послышался гул вертолета, и вскоре, вынырнув из-за сопки, он стал заходить на посадку. Федор переживал, возьмут ли их с грузом. Пассажиры в вертолете было много. У незнакомых охотников (они оказались портовскими работниками) наверняка все было договорено с экипажем, и они сразу же стали грузиться. Федор с Денисом стояли в нерешительности. Когда грохот двигателей затих, Федор решил подойти к первому пилоту. Тот сидел в наушниках у отодвинутого окна. Это был молодой раскормленный парень, равнодушно глядевший на суету пассажиров. Федор, видя его холерное, сытое лицо, подумал, что чужие заботы такого человека не беспокоят, и если их возьмут, то без груза, и договариваться бесполезно. Он подошел, пересядывая себя.

- Сколько груза? – спросил пилот.
- Килограмм сто двадцать, – ответил Федор.
- Охотники?
- Да.
- Гусей добыли?
- Добыли.
- Хорошо гусь летал?
- Так себе, но постреляли.

«Сейчас начнет выдавливать гусей на весь экипаж», – с раздражением подумал Федор.

Пилот о чем-то переговорил с экипажем. Потом повернулся к Федору и сказал просто:

– Последними грузитесь. Если подыдемся, то заберем, а если нет, то, брат, извини, груз оставим.

От спокойного его голоса спало напряжение, и Федор почувствовал симпатию к этому человеку, в который раз убедившись, что внешность обманчива.

Вертолет трижды поднимался и зависал над землей. У Федора замирало внутри от предчувствия, что груз придется оставить и кому-то из них не лететь. А следующий рейс будет только через неделю. Но вертолет все-таки зацепился за воздух и быстро пошел вперед. Замелькали крыши, пятна черной земли, хаос ломаного льда на Енисее. Все это стало уменьшаться, а на душе сделалось спокойно от ощущения прямой дороги домой.

Внизу проплывали оттаявшие хребты и пятна озера. Вертолет пошел на разворот, и снова замелькали квадраты огородов и плоские крыши домов. Замедлив скорость, сотрясаясь и грохоча, вертолет приземлился на бетонную площадку. Быстро скинув груз и пассажиров, он улетел.

После тайги особенно бросалось в глаза, какой разгон набрала весна. Дороги протаяли до земли, журчали ручьи, уходя под сугробы. Выкинутая зимой зола и бытовой хлам вытаивали и пестрели серо-черными пятнами на фоне еще чистого снега по сторонам дорог и набеганных собаками тропинок.

2.

Денис пошел было за снегоходом, но вернулся: подъехал «буран» с санями забрать почтовый груз. Девушка-почтальонша с водителем стали таскать в сани посылки и мешки с почтой, объясняя Федору, что не успели к вертолету, потому что завязли в мокром снегу и долго обкапывали снегоход, чтобы выехать. Денис попросил добросить их груз до дома. Парень согласился, а девушка сказала, чтоб Федор зашел за пенсией, и сама пошла пешком.

Федор помог вытолкать снегоход до дороги и отправился на почту. Дорожные волнения позади, охота удалась, и Федор в хорошем настроении быстро шел по улице. Впереди двигался мужчина в телогрейке и зимней шапке. По походке было видно, что это старый человек. Федор смотрел на его согнутую спину, на худые, медленно шагающие ноги, по которым хлопали голенища резиновых сапог, подчеркивая немощность их хозяина. Догнав этого мужчину, Федор узнал Володю, коренного местного жителя из русских, человека со странностями. Своим образом жизни он удивлял деревню. Был одинок, но держал хозяйство – коров. Покупать у него молоко народ брезговал: был Володя по-стариковски неряшлив. И сам он молочное не ел, скармливал телятам, собакам, а то и просто выливал на ули-

цу. Сена же вечно не хватало. Ему советовали: убери хозяйство, сам не мучайся и не мучь скотину. Он соглашался, но приходила покосная пора и Володя снова бегал по деревне, набирая рабочих на сенокос.

Обгоняя Володю, Федор собрался пошутить: что, мол, ползешь, как на похороны? Ведь за пенсией идешь, бежать должен. Но что-то его сдержало, и он просто поздоровался. Володя сначала ответил, а потом посмотрел на Федора. Не по-стариковски чистые голубые глаза были холодны, и взгляд их проходил куда-то мимо. По спине Федора протянул холодок, когда он представил, насколько неуместной оказалась бы шутка. Невеселые, видать, думы давили этого трудового человека, так ничего и не нажившего, кроме gryжи.

Встреча эта подействовала на Федора угнетающе. Какое-то время он не мог освободиться от мертвого взгляда голубых глаз. Было ощущение, что на него глянули с того света. Не может живой человек так смотреть. Наверное, мысли у Володи были там, и через глаза потянуло оттуда холодом.

Почта была закрыта изнутри, и пенсионеры, человек восемь, в основном женщины, стояли возле крыльца. Федор поздоровался, бойкие бабы ответили: «Смотри, как рожа у него загорела, видать, прямо с гусей за пенсией прибежал. И вообще, зачем тебе пенсия, если ты еще бегаешь, как сохатый?» Федор отмолчался и, заняв очередь, встал в стороне. Женщины его больше не задевали. Все знали друг друга смолоду, потому и шуточки бывали порой остры. Подошел Володя, тихо поздоровался и, не спросив, кто крайний, встал недалеко от Федора, прислонившись спиной к забору.

Погода была как на заказ. Весеннее солнце щедро лило тепло, и легкий ветерок разносил его по всем закоулкам, располагая людей к хорошему настроению. Почта почему-то не открывалась, и никто больше не подходил. Шуточки затихли, тек спокойный разговор.

Федор обратил внимание на собаку, бежавшую к почте. Чем-то она отличалась от других, своим отрешенным видом, что ли. Из соседней ограды выскочили еще две. А этот крупный дряхлый кобель не стал ни убегать, ни обороняться, а просто остановился. Собаки обнюхали его и разбежались, а пес продолжил путь к людям. Сквозь клочки линяющей шерсти было видно, насколько он худой. Шрамы на морде говорили о

том, что жизнь его была богата событиями. И раз дожил он на Севере до такого возраста, значит, кобель был стоящий и даром хлеб не ел.

Подняв морду, пес нюхал воздух, тянувшийся от людей. Федор смотрел, какие мутные у него глаза – признак начинающейся слепоты. Вот кобель поймал какую-то нужную струйку воздуха и медленно, стараясь ее не потерять, пошел мимо Федора к стоящему Володе. Тот молча опустил руку ему на голову. Кобель не шевелился. Володя смотрел на Енисей, на котором прошла вся его жизнь. О чем думали эти два существа?

Федор не мог вспомнить, чей это кобель. На Севере редко собаки доживают до такого возраста. Надо иметь хорошие заслуги, чтобы хозяин «отправил на пенсию» и кормил, ничего не требуя взамен.

Наконец-то почту открыли, и народ вошел в помещение. Федор и Володя пока остались на улице: их очередь была далеко. Володя все так же стоял, держа руку на голове собаки, потихоньку почесывая ее пальцами. Кобель, закрыв глаза и прижав голову к его ноге, замер. Федор смотрел на них, и комок подкатывал к горлу. Старость, проклятая старость. Отнимая силы, она толкает к неизбежной черте...

Собака тяжело вздохнула, переступила с ноги на ногу и еще сильнее прижала голову к человеку. Федор стал вспоминать, сколько собак у него дожили до такого возраста. Сбивался, опять начинал считать, сколько их перестрелял. Кого из жалости, кого по дурости, а в основном – по непригодности.

Память – это такое дело, только тронь. Потяни одно звеньишко, за ним пойдет другое. И дошло до случая, который сидел у Федора в душе как заноза. Временами он забывался на несколько лет, пока что-нибудь не заденет успокоившуюся память, и вот снова щемит и ноет в груди, и ворочаются сомнения, правильно ли тогда поступил.

3.

В семидесятых годах промхозы крепко стояли на ногах, пушнина принималась разнообразная и была в цене. Профессия охотника почиталась, промхоз дорожил промысловиками, давал им оружие и все нужное для промысла, забрасывал на место авиацией. Федор тогда жил на центральном участке в большом поселке. Там была служба лесной охраны с вертолетом. После очередного облета знакомый летчик-наблюдатель

позвал Федора в контору. Федор зашел, и тот попросил показать на карте границы его участка.

Федор обвел границы, пожарный постоял, посмотрел и сочувственно сказал:

– Горит, Федор, твой участок, горит прямо в центре, и выгорело уже порядком.

И указал границы пожара. У Федора похолодело в груди: в центре круга, обведенного летнабом, находилась базовая избушка с баней и лабазами.

– Причины пожара известны? – спросил Федор.

– Точно – нет. Вернее всего, неосторожное обращение с огнем. Гроз в это время не было. Нынче в начале лета туда закинули несколько экспедиций лесоустроителей прорубать квартальные просеки. Не зря их называют лесоустранители, насобирают всякое бичье!

Федор снова подошел к карте и, показав на слияние двух речек, спросил, видали ли там избушки. Наблюдатель ответил, что там самый очаг и все выгорело.

...Начал желтеть лист. Народ зашевелился на огородах. Охотники тоже засуетились, замелькали в конторе у охотоведа. Наступало время заброски на промысел. С тяжелым сердцем собирался Федор в тайгу. Участок горел около трех недель, пока не пошли дожди и не забили этот сильнейший пожар.

Заброска шла поочередно, работал Ми-4, который забирал сразу по несколько охотников с грузом. Федор выбрасывался вторым. Перед ним пожилой охотник долго не мог сориентироваться с воздуха. Вертолет делал круги над тайгой, ища площадку, которую указал охотник. Позвали Федора. Тот, посмотрев на карту, сказал, что они совсем на другой речке, и показал правильную точку. Пока искали, Федор любовался пестрой осенней тайгой, а под сердцем сосало: что он увидит на своем участке?

Ровно гудя и чуть подрагивая, вертолет шел дальше. Федора позвали в кабину уточнить место посадки. Зайдя к пилотам, он ужаснулся увиденному: не было видно привычных нежно-зеленых волн кедров, не пестрели желто-багряно березняки и осинники, только обгорелые деревья торчали по хребтам, напоминая гигантские расчески. Унылый серо-черный цвет лежал до горизонта. Пилоты сочувственно поглядывали на Федора...

Сгорела база, баня, лабаз, где был десяток сетей, два лодочных мотора и разные хахаряш-

ки. За две недели Федор срубил зимовье, лабаз и наготовил дров. Потом решил пройти по берегу речки до конца пожара. Взяв продуктов на три дня, пошел на обход. Местами по берегу попадались островки зеленой тайги, дававшие надежду, но, пройдя какое-то время, Федор снова открывал безотрадную картину мертвого леса. К вечеру, выйдя из-за поворота, он увидел зеленую сопку. С робкой надеждой поспешил за другой поворот: там тянулось плесо и по правой речной стороне зеленела тайга. Федор знал, что скоро справа будет впадать большой ручей. Он решил до него дойти и там заночевать.

Подходя к месту, Федор издали увидел человека, стоявшего с удочкой в устье ручья. Залаяли Федоровы собаки, с другой стороны тоже отвели. По берегу бегала белая собака.

Раздевшись, Федор перешел речку. Подойдя к рыбаку – это был средних лет крепкий мужик, – спросил, кто он и что тут делает. Оказалось, что это начальник партии лесоустроителей и что у них тут база. Народ уже вылетел, а он с одним рабочим ждет вертолет – вывезти оставшийся груз.

Виктор, так звали нового знакомого, собрал рыбу и пригласил Федора ночевать. Они прошли вверх по ручью метров двести, где среди лиственного леса открылась поляна. На ней стоял большой барак с банькой. Федор познакомился с рабочим, готовившим ужин.

Местный кобелишка, беленькая лайка с пепельными пятнами, был настолько общителен и миролюбив, что даже Федоровы драчливые собаки уже вовсю с ним играли. Федор спросил Виктора, чей пес. Тот ответил, что привез его он: соседке по квартире, одинокой женщине, дали путевку в санаторий, и она попросила Виктора забрать Мальчика с собой. Ей больше не к кому было обратиться.

– Ну и как он? – спросил Федор, наблюдая за собаками.

– Кормилец! Не знаю, что бы без него и делали. Тушенки оказалось мало, а бригада – две-надцать мужиков.

Кобелишка как почувствовал, что о нем разговор, подбежал к Федору и дружелюбно помахал баранкой. «Экстерьер у собачки что надо, и глаза говорят, что не дурак», – подумал Федор. Он позвал Мальчика, но тот больше не подошел, убежал к собакам.

После ужина Федор с Виктором долго говорил про тайгу и про жизнь вообще. Оказалось,

пожар на правом берегу потушили они, спасая базу. Виктор не стал отпираться, что пожар мог устроить кто-нибудь из его рабочих. «К нам всякие люди приходят», – сказал он как-то обреченно.

Договорившись с Виктором, что тот оставит ему печь и немного посуды, утром Федор ушел. Идя дальше вверх по реке, долго слышал тявканье обиженного Мальчика, которого привязали, чтобы он не убежал с собаками охотника. Километрах в полутора от базы с левой стороны впадал в речку большой ручей. Федор посмотрел по карте: если его вывершить, то от истока до новой срубленной избушки останется два-три километра. Решил: «Пройду и, если все нормально будет, сделаю новый путик на эту неожиданно приобретенную базу». Снова перейдя речку, Федор шел уже по горелой тайге. Разом залаяли собаки. Услышав треск ломающихся сучьев, Федор понял, что это лось. Но сразу внутренне осадил себя: еще тепло и мясо пропадет.

Это были матка с быком. Матка стояла, а рогач гонял собак. Подкравшись как можно ближе и выйдя на чистое место, чтобы его увидели звери, Федор закричал и застучал палкой по деревьям. Матка сразу сорвалась и с треском побежала в гору. Бык какое-то время рассматривал человека, потом побежал вслед за маткой, иногда останавливаясь и пугая собак. Федор продолжил свой путь по ручью.

Тайга в его пойме хоть и выгорела, но здесь не было ветровалов, как по хребтам, где везде виднелись щиты вывернутых с корнями кедров. Часа через два Федора догнал его кобель, долго лакал, хакая, из ручья воду. Ручей выбегал из небольшого болотца, затянутого трясинной, которое пришлось обходить. Не считая лосей, тайга была пустая, за весь день Федор видел только копалуху.

Сучка до ночи так и не пришла. Федор беспокоился, не спал, лежал в какой-то полудреме, ждал, что заворчат друг на друга собаки. Но было тихо. Под утро все-таки уснул, а когда проснулся, было уже совсем светло. Открыв дверь, он увидел у порога лежавшую Норку. Когда она пришла, он не слышал.

...Время летело. Посыпал снежок, понесло по реке шугу. Пришла пора настораживать ловушки. На береговых путиках капканы остались целы. Но Федор решил, что сезон нынче, можно сказать, пропал. Сгорела еще одна избушка в центре участка, и надо было все переделывать.

Он решил настороживать капканы сразу по обоим берегам и, пока позволит снег, охотиться с собаками, не тратя времени на хребтовые пути. Уже по шуге перейдя на правый берег, он насторожил капканы, решив, что проверять пойдет, когда встанет речка. Соболь был, и следы встречались везде. Но ходил он широко и как-то метался по тайге. Собаки с утра быстро натякались на соболиный след, но тот уходил на хребты в ветровал и уводил собак так далеко, что и намека на лай не доносилось. Правда, соболя они все-таки загоняли, приходили ночью грязные, с прокусанными носами.

Осень была теплая, валили снега, и Федор еле дождался, когда речки встанут, чтобы уйти на лесоустроительную базу, где зеленая тайга и нет выматывающих силы ветровалов. С силой простукивая лед посохом, Федор перешел на правую сторону, где уже около двух недель стояли настороженные капканы. Снял пару соболей, которые висели высоко на очепях. Все, что попало на жердущах и там, где не было очепов, оказалось съедено – остались только лапки. Одного капкана не было, кто-то попал большой, и вертлюг не выдержал. Кто разбойничал, было непонятно: следы засыпал снег.

На следующее утро с запасом продуктов на несколько дней Федор отправился на базу, впер-
50 вые в этом сезоне встав на лыжи. Речкой идти было легче, но, опасаясь провалиться, он шел осторожно, обходя подозрительные места и проверяя лед посохом. Вечером, уже возле базы, собаки заинтересованно забегали по каким-то следам, но те были старые, засыпанные снегом, и Федор не мог определить чьи.

Поднявшись к зимовью, он увидел, что вокруг все истоптано. Особо не рассматривая следы, он зашел в зимовье. Виктор выполнил обещание. Печь была на месте, на столе стояла кастрюля, ведро, и чашка придавливала исписанный листок бумаги.

Федор зажег керосиновую лампу и прочитал:

«Федор! Твоя сука вернулась к нам. Под утро к избушке подошел, наверное, лось. Сучка ушла за ним, а за ней и Мальчик. Утром пришел вертолет, а собаки так и не пришли. Улетаю без Мальчика. Большая просьба: сохрани и вывези!! Вот адрес. Виктор».

Затопив печку, Федор принес воды. Заполнив посуду, поставил на печь и пошел по дрова. Найдя возле бани небольшую поленницу, он вернулся. К радости Федора, бывшие хозяева

оставили кое-какие продукты: вермишель, крупу и начатую бутылку постного масла. Это снимало вопрос кормления собак: на себе-то много не принесешь. Под нарами он нашел бачок с керосином. Жить можно. «Собачье» вынес на улицу остывать. Чтобы собаки не лезли к горячей кастрюле, запустил их в избушку, а сам сел ужинать. Печка была большая, сваренная из серьезного, миллиметра четыре, железа. Она быстро прогрела зимовье, хоть то и было большое. Федор разделся до пояса, а собаки залезли под длинные, во всю стену, нары, где было прохладно.

Федор заканчивал ужинать, когда собаки забеспокоились. Кобель подбежал к двери, сучка зарычала из-под нар. Тут что-то звякнуло, потом еще. Кобель ударил лапами в дверь и выскочил на улицу. За ним бросилась и сучка. Послышался рык, потом визг, и все затихло. Ружье было на улице. Выскочив с фонарем, Федор сразу его схватил, выглянул из-за угла и увидел собак. Они что-то обнюхивали в снегу. Подойдя к ним, в свете фонаря Федор увидел лежащую на спине чужую собаку. На передней лапе у нее был капкан. Отогнав своих, он позвал собаку в зимовье. Та охотно пошла, но, учуяв еду, потянулась к кастрюле. Еда была еще горячая, и ее пришлось убрать. С ночным гостем в барак заскочили и Федоровы собаки, которые рычали и обнюхивали его, но не кусали. Подойдя к собаке, Федор узнал Мальчика и позвал по имени, тот сразу навострил уши и завилял хвостом. Потом поднял лапу с капканом: дескать, сними проклятую железяку! Федор взялся за лапу ниже капкана – она была холодная и твердая.

Капкан снялся легко, и Мальчик начал с силой лизать лапу. «Да-а, вот так дела, – думал Федор. – Что же мне с тобой делать?» Мальчик поглядывал на него, постукивал по полу хвостом. Пока «собачье» остывало, Федор отдал ему остатки своего ужина, накрошив туда сухарей. Еду собака хватала жадно, вся трясясь. Все проглотив, кобелек подошел к Федору, вопросительно глядя на руку и нюхая воздух в сторону стола. «Что, не наелся? Терпи, брат, нельзя тебе много сразу», – поглаживая Мальчика, объяснил Федор.

Собака, положив голову ему на колени и закрыв глаза, притихла. Иногда тяжело вздыхая и вроде как соглашаясь: мол, потерплю, столько голодовала, а тут уж потерплю.

Федор задумчиво смотрел на огонь в лампе, поглаживая голову Мальчика. «Что ж ты, брат, так опрочаился? – думал он. – И что же теперь делать?»

Где-то глубоко Федор знал ответ и всеми душевными силами гнал его, ища другой выход. Но, как ни думал, получалось как с больным зубом. Или сразу собраться с силами и вырвать, или терпеть и мучиться.

Накормив своих, он дал еще еды Мальчику. Его собаки, наевшись, сразу залезли под нары. Мальчик же лег посередине зимовья, положив морду на лапы, и не сводил с Федора глаз. Если они встречались взглядами, пес начинал приветливо постукивать по полу хвостом.

Керосина было с избытком, поэтому Федор, убавив пламя, тушить лампу не стал. В длинном бараке было неуютно и мрачно, а свет создавал хоть какой-то уют. Мальчик перебрался ближе и лег рядом с нарами. Когда Федор ночью ходил к печке, кобель неотрывно смотрел на него, чуть шевеля хвостом и всем видом показывая радость, оттого что он снова в тепле и накормлен.

Этот кобелек был Федору симпатичен. Он любил и ценил рабочих собак и долго не колебался, если собака попадалась непослушная и бестолковая. Здесь же, видя породистого, умного кобеля и помня рассказы Виктора о его подвигах, он не знал, как поступить. Если б пес не попал в капкан и не потерял лапу, все разрешилось бы просто. Да и если б был не работягой, а хлебоедом – Федор просто убрал бы его, и все.

Сон пропал. Федор обреченно ждал утра. Представлял, как Мальчик жил в городе, в теплой квартире, сытый и обласканный. Как и в бригаде огрубевших мужиков был любимцем, где, кроме ласки и вкусных кусков, от них ничего не видел. И вдруг все исчезло. Кругом знакомые запахи – и ни души. Федор представлял, как собака недоуменно бегала вокруг стана. Как лежала ночами, вслушиваясь в теперь уже враждебную тишину, надеясь услышать шаги или голоса. Постепенно запахи жилого исчезли, запахло сыростью и запустением. Постоянное чувство голода заставляло уходить на поиски съестного. Возвращаясь, пес издали принюхивался, слушал, не раздастся ли стук топора. И, наверное, не раз ночью раздавался его тоскливый вой, возвращаясь эхом, отраженным сопками, а отвечал ему разве что филин лешачьим голосом... Жутко, голодно, тоскливо. И вот появился человек, снял с лапы эту опостылевшую, принесшую столько

мук железяку, накормил, и он теперь сытый и в тепле. Теперь он ни за что не потеряет человека, будет искать для него глухарей, и все будет хорошо!

Федор ворочался на нарах: своими фантазиями он только ухудшил дело. Да, хороший кобель, но калека. Впереди почти три месяца капканного промысла. Отощавший и ослабший, будет он тащиться сзади по лыжне, а там лежат и висят такие аппетитные куски привады! Не жить же Федору на одной избушке, пока пес не наберет сил. Виктор – хороший человек и вынул, сдержав обещание. Но как быть с его просьбой? Федор никогда не выкручивался в сложных обстоятельствах, был честен. Он знал, что с него никто и ничего спрашивать не будет, но на Севере отношения у людей другие, здесь привыкли опираться друг на друга и доверять. У Федора даже мысли не было, что можно сказать: «Не видел, не приходил». Федор чувствовал себя обязанным Виктору и хотел отплатить добром. Но если Виктор ценил Мальчика только как хорошего работника? Нужна ли ему покалеченная собака? Да и с женщиной-хозяйкой та же заваyka...

Утро Федор встретил невыспавшимся и раздраженным. Позавтракав сам, накормил собак. Мальчику наложил отдельно, разделив с ним банку тушенки. Кобелек ел спокойнее, поглядывая на Федора и изредка шевеля хвостом.

На улице ослепительно светило солнце. Деревья притихли под пухлым снегом, боясь расшатали наряд. Снег был искристый и скрипел под ногами. Отдохнувшие Федоровы собаки, радуясь хорошему дню, сразу убежали по лыжне. Мальчик стоял возле зимовья, не решаясь отойти.

«Как чувствует», – подумал Федор и позвал пса:

– Мальчик, пошли. Пошли!

Кобелек неуклюже запрыгал за ним. Федор не хотел смотреть ему в глаза и, приговаривая «пошли-пошли», пропустил вперед. Собаки вернулись и легкими прыжками весело неслись к Мальчику. Тот остановился и приветливо махал баранкой, соглашаясь на игру.

Тихо щелкнул тозовочный выстрел. Федоров кобель с маху перепрыгнул через упавшего Мальчика и стал смотреть по деревьям, в кого стреляли. Федор бездумно смотрел на запрокинувшего голову Мальчика. Придавленная снегом тайга хранила молчание. Много видела она на своем веку трагедий, больших и маленьких, и

сейчас серые листья замерли в равнодушном оцепенении: ни укора, ни осуждения. Трезвый ум подсказывал, что все сделано правильно, но волна жалости захлестывала все доводы. Подняв легковесного Мальчика, Федор уложил его в корни и засыпал снегом.

Теперь только снежный холмик да утоптаный вокруг снег напоминали о случившемся. Пройдут снегопады и все сровняют. «Пройдет время, и это забудется», – успокаивал себя Федор. Накатанным шагом он как можно быстрее уходил от этого места.

* * *

Вышедшая с почты женщина крикнула Федору, что его очередь подходит. Он кивнул ей, мол, слышу, и остался стоять. События далеких лет с такой силой всколыхнули память, что казавшееся забытым виделось Федору ясно и четко. И бившийся в смертной агонии Мальчик, и ясное утро, когда он, скользя на лыжах, убегал от своей совести.

В тот памятный год, выйдя с промысла, Федор написал Виктору письмо. Но ответа не получил.

«СПЕЦНАЗОВЕЦ»

(из цикла «Волчьи истории»)

Окончен охотничий сезон. Охотники совхоза вышли из тайги. Встречаясь иногда в конторе или другом месте, обговаривали, что надо конец сезона отметить где-то основательно. Решили собраться после сдачи пушнины. Обозначили место, у кого собираться, и кто что должен принести на закуску.

Сдача пушнины! Для охотников этот день особый. Это тот случай, когда человек результаты своего труда выставляет на всеобщее обозрение. За этой ухоженной и тщательно вычищенной горкой разноцветной пушнины стоит отчаянье и радостные взлеты, горячий пот и бессонные ночи, тяжелейшие переходы по болотам и захламленной тайге.

Ревниво осматривает охотник пушнину своих товарищей. Сколько? Какое качество пушнины и как она обработана? Хотя на лице маска равнодушия. Подходит его очередь. Встряхивая, чтобы ость стояла на соболе, начинает выкладывать на приемный стол драгоценные шкурки. Наверх лег черный, как уголь, и пушистый кот, который сразу притягивает внимание. Но какой

бы он ни был красавец, охотник знает, что у шкурки есть маленький дефект. Да, эту небольшую плешь он вырезал, но разреженность волоса вокруг осталась. Сейчас, перед сдачей, хозяин тщательно его распушил – в надежде, что приемщик просмотрит. В груди замерло ожидание... Вот сволочь старая: рассмотрел! От этого стоимость дорогого соболя упала на десять процентов. Вроде и не сильно велик убыток, а неприятный осадок остается. И дело вовсе не в деньгах. Это пятно на профессиональной репутации охотника – не сумел убрать дефект, довести дело до конца. Сам виноват – поленился переделывать.

Сдав пушнину и по традиции обмыв сдачу с заготовителем, охотники разбрелись по домам. Надо доделать дневные дела и в назначенный час уже собраться своим кругом, чтобы отвести душу за разговорами. Все-таки месяцы, проведенные в одиночестве, дают о себе знать.

В жарко натопленной избе не чувствуется, что за стенами за тридцать градусов мороза. Сдвигаются два стола, и на них выставляется сибирско-таежная закуска: рыба соленая и жареная, мороженая ягода и соленая черемша, кусками отварная лосятина в тазике, а на улице еще дожидается своего часа строганина из сырой печенки и свежей рыбы. В общем, к мероприятию подошли серьезно, на всю ночь. Это подтверждает тускло поблескивающая из-под лавки батарея заиндевевших бутылок.

Первый тост – за то, что живы-здоровы и собрались вместе. Второй – за «лося»: чтоб пило-ся, жило-ся и так далее.

Гулянка была на самом подъеме, когда неожиданно без стука широко распахнулась входная дверь. Холодный воздух радостно ворвался в теплое помещение. За столом замолчали, выжидающе смотрели на дверной проем. Нога, обу-тая в солидный серый валенок, вынырнула из темноты и нависла над полом. Но у хозяина ноги не хватало силы придавить валенок к полу, и тот медленно поплыл обратно в темноту. Все замерли в ожидании грохота неизвестного тела в сенцах, однако тяга к обществу оказалась сильнее и нога снова устремилась к свету и теплу. За ней появилось круглое крепкое пузо в расстегнутой телогрейке, а потом и круглая раскрасневшаяся физиономия в лохматой шапке. Собственной персоной пожаловал на огонек бригадир трактористов.

Человек был в таком состоянии, когда мозг уже отключился, а душа требовала продолжения банкета. В деревне знали, что трактористы с утра погнали трактора для вывозки сена на центральный участок, который находился ниже на сотню километров по Енисею. И вот уехавший утром в командировку на несколько дней бригадир стоит здесь в очень странном состоянии.

Непонимающие глаза тракториста, метавшиеся по лицам, наконец-то приобрели осмысленное выражение. Говорят, что лучшая защита – это нападение. «А-а-а, охотники! Сидите?! Пьете?! А там волки, волки вокруг деревни! А они сидят пьют, а там волки, стая!»

Это было похоже на бред в белой горячке. Мужики стали усаживать и успокаивать неожиданного гостя, но тот гнул свою линию про волков и какого-то лося, которого те задавили.

После кружки горячего чая и внушительного куска мяса, которое тракторист умял с большим удовольствием, кое-как выяснили причину его появления в деревне.

...Они гнали по Енисею два трактора, шли, выдерживая расстояние метров двести – триста друг от друга. Один из тракторов что-то забарахлил, пришлось остановиться, чтобы устранить неполадку. За это время первый трактор скрылся за мысом. Провозившись с ремонтом с полчаса, поехали дальше. Заскочив за тот же мыс, за которым скрылся первый трактор, заметили какую-то странную большую черновину. Подъехав ближе, увидели лежащего лося, который еще дергал ногами. Вокруг была вырванная шерсть и множество волчьих следов. Недолго думая, стали его обдирать. От такого подарка грех отказываться! Тут вернулись и уехавшие вперед. После того как разделали тушу, первый трактор продолжил путь, а бригадир с напарником вернулись в деревню с мясом. Завтра они поедут обратно.

Охотники спросили тракториста, много ли было волков. Тот ответил, что самих волков не видел, а судя по количеству следов – пять – семь штук. После чая и еды бригадира свалил сон, его уложили на диван, и больше он о себе не напоминал.

Долго обсуждали этот случай, стали вспоминать другие, давние. Практически у всех были обиды на серых разбойников. Федор не принимал участия в разговоре, сидел обдумывал ситуацию. На свои вопросы вразумительного ответа от бригадира он не получил. Но было ясно одно:

эту стаю можно попытаться проредить. Была только проблема с напарником: одному несподручно. Федор предложил мужикам утром съездить обойти волков и сделать загон, но его стали отговаривать, мол, волки, подьев остатки отобранной у них добычи, уже ушли. Было понятно, что никому не хотелось после застолья, не спавши ночь, ехать по морозу бог знает зачем. Как мужики ни уговаривали его остаться, не разбивать компанию, Федор ушел домой.

Утром еще по темноте стал собираться. У него был план попробовать в одиночку испытать охотничью удачу. В десятилитровую канистру налил солянки и прихватил из дома чей-то старый шерстяной свитер, надеясь, что тут обойдется без ворчанья жены. Из оружия решил взять карабин СКС: все-таки десятизарядный, а это много значит на такой охоте. По опыту он знал, что волк – зверь осторожный и в тайге свежую лыжню сразу не переходит, делает несколько подходов, прежде чем решится ее перескочить. А если волков окружить лыжней, пахнувшей солянкой, они будут искать выход из круга. Вот там-то Федор и решил их караулить.

С погодой подфартило, к утру мороз спал, отмякло. Не доезжая упомянутого мыса, Федор увидел старый какой-то след на пабереге, который вел в ручей. Развернувшись, стал разбираться: след явно волчий, но в снегу было не понять, спустился он на Енисей или, наоборот, зашел в тайгу. Начал тщательно исследовать надувной твердый снег на реке. Разглядел отпечатки от когтей. Это был одиночный волчий след, который уходил с реки в тайгу. «Что-то они разбродились нынче: там – стая, тут – какой-то одиночка», – подумал Федор.

К мысу он подъехал, прижимаясь к берегу. Заглушив снегоход, пешком потихоньку поднялся на выступающий надув снега и осторожно выглянул, ожидая увидеть зверей на убоине. Но ничего не было видно – ни волков, ни какой-то черной отметины.

Вернувшись к снегоходу, Федор поехал дальше. Проехав метров семьсот, он наткнулся на указанное место. Везде волчьи следы, раскиданная и припорошенная шерсть, еле заметные следы крови и содержимое желудка – все, что осталось от лесного великана.

На высокий увал уходила волчья тропа. Федор прошел рядом с тропой, пока она шла по чистому месту, стараясь понять, сколько было волков. Дойдя до торчавшего корня, увидел, что ко-

бель сделал обильную метку. Она была с кровью. Видать, нелегко досталась такая крупная добыча. Метить к корню подходил один самец, других подходов не было. «Наверное, здесь не стая, а всего пара – самка с кобелем», – решил Федор. Для стаи все-таки следов маловато. Проследив взглядом волчью набитую тропу до леса, Федор вернулся к снегоходу. Положив канистру и свитер в рюкзак, стал на лыжах подниматься к лесу в стороне от тропы.

Зайдя в лес с приготовленным к выстрелу карабином, осторожно пошел к тропе. Федор боялся, что волки, вернее всего, устроили лежку на самой кромке леса, чтобы просматривался Енисей. Если это так, то они уже далеко от этого места. Подойдя к тропе, с радостью увидел, что она уходит вглубь тайги. Достав свитер и привязав его к поясу на длинной веревке, чтобы он тащился по лыжне, полил его соляркой и пошел на круг.

Пройдя вдоль берега метров пятьсот, повернул под прямым углом. Через полтора километра повернул снова вдоль Енисея в сторону тропы. Через какое-то время наткнулся на выходной след. Озадаченно попробовал его рукой. След был застывший, вчерашний.

Отвязав воняющий соляркой потаск и скинув рюкзак с канистрой, Федор решил пройти по следу и посмотреть, будет ли кто из волков ложиться. Ведь одного лось сильно ударил, раз он мочится с кровью. Пройдя по следу метров двести, он увидел метнувшуюся серую тень. Сперва даже не понял, что это волк, который уходил на коротких махах и сразу скрылся в подросте. Федор рванул за ним что было сил. Проскочив кусок густого подроста, впереди он увидел скачущего зверя. Снег был рыхлый, и волк вскакивал на валежины, на которых снег был плотнее, и быстро уходил. Федор поднажал, но толку было мало – расстояние не сокращалось.

Волку было нелегко в рыхлом снегу, но и Федор уже жадно хватал ртом воздух. Когда зверь вскочил на следующую валежину, Федор решил стрелять. До хищника было метров сто пятьдесят – для хорошего стрелка и хорошего карабина это не расстояние, но воздуха в груди не хватало и ствол ходил ходуном. Улучив момент, выстрелил два раза подряд. Волк спрыгнул и понесся куда-то вбок с удвоенной скоростью. Подойдя к валежине, с которой спрыгнул волк, Федор увидел срезанные пулей длинные остевые волосы, но крови не было.

Рядом проходила старая засыпанная лыжня. По ней-то волк и ушел на хороших махах. Немного отдышавшись, Федор пошел в пяту по следу – посмотреть, где волк лежал и где были другие: разбежались или это был отставший из-за удара? Подойдя к лежке, Федор увидел, что волку сразу повезло. Рядом проходил сохатиный след, он выскочил на него и потому так резво скрылся. Без этой сакмы Федор, вернее всего, его догнал бы. Тем более что она после чащи уходила в сторону. Сделав вокруг лежек круг, Федор понял, что волк был один. Это он за ночь натоптал тропу и сделал несколько лежек. Да, на полкилометра бы больше сделать круг, и зверь оказался бы в окладе. Да-а, если бы не бы...

И тут Федора осенило, что это тот волк, который пришел с левой стороны Енисея. И теперь пуганый зверь будет уходить своим старым следом. Только успеть бы к снегоходу, пока он не пересек Енисей!

Федор снова побежал. На берег выскочил удачно, прямо напротив снегохода. Весь мокрый от пота, надев на себя запасную куртку задом наперед, чтоб не продуло грудь, помчался назад к следу. Выжимал из техники все, что можно. Мотор возмущенно визжал. Федор, не обращая на это внимания, шарил по широкому белому простору глазами: не замелькает ли где-нибудь между торосов черная точка?

Выходного следа не было. Федор поднялся к кромке леса, загнал снегоход за заснеженный куст и стал ждать возможного выхода зверя из тайги. Однако зимой в мокрой одежде долго в засаде не просидишь. Федор покрутился на месте, поводит плечами, но это мало помогало. «Придет не придет, а я тут точно окочурюсь, – подумал он. – Погода мягкая, снег сильно не скрипит, пойду-ка я ему навстречу».

Попив из термоса чая и сунув кусок хлеба за пазуху, Федор осторожно двинулся по следу волка в надежде с ним встретиться. Пройдя с километр, он вышел на сохатиное стойло. Здесь волк закрутился по лосиным следам, и Федор с интересом – что будет? – пошел за ним. Побродив по застывшим лосиным следам, волк направился в сторону, проваливаясь в снег. Перейдя широкую пойму ручья поперек, он вышел на дневку трех лосей и закружил вокруг них. Обеспокоенные лоси встали и топтались на месте. По следам было видно, что волка смущал глубокий снег. А может, это было сделано специально? Хищник кружил вокруг лосей, пока они не вытоптали в

снегу площадку. Получив твердую опору, волк в два прыжка достиг цели и вцепился в бок сохатому. Лось с повисшим на нем хищником кинулся бежать. На снегу четко отпечатались при скачках лося контур висящего на нем волка. Даже форма хвоста на нем отпечаталась. Федор никогда не поверил бы этому, если бы не увидел все своими глазами.

Удивляясь силе волчьих челюстей, Федор шел по следам дальше. Лось, проскакав со страшным грузом метров двадцать, сунулся к ручью, где по берегам рос густой ольшаник. Там он волка с себя и сбил. На снегу валялся комок сохатиной шерсти с кровавой пеной. Проскакав галопом еще метров двести, лось шагом направился в сторону Енисея. Скоро его следы повели в гору. Гонные лоси почти всегда стараются двигаться вдоль склона: там снег рыхлее и поэтому бежать им легче, но на этот раз лось полез на сопку. Поднявшись на нее, пошел дальше к Енисею. На реке снег мелкий, и там он легко уйдет от волка. Но тут лось сделал непростительную ошибку, пойдя к реке хребтом. Хребет обрывался оплывником, а на самой его кромке снег был прибитый ветрами до твердости наста. И хищник умело воспользовался этим. В снегу было выбито две площадки, где-то пять на пять метров, и они были усыпаны клочками лосиной шерсти. Видать, из последних сил рванул сохатый к Енисею и попал на крутой склон оплывника, где почти не было снега, поскольку ветер его оттуда сдувает. Волк со своими лапами и когтями получил полное преимущество. Так на своей жертве он и съехал на лед на радость трактористам...

Федор стоял на краю оплывшей в Енисей сопки. Внизу виделся исковерканный тракторами снег. Хорошо просматривались таежные хребты на другой стороне реки. От этого простора и дикости захватывало дух, поднималось какое-то волнение в груди, и он чувствовал, что без всего этого он, наверное, не смог бы жить.

Федор представлял, как волк с этой же высоты смотрел на своих грабителей, следил за их суетливыми движениями и беготней вокруг его добычи. Ставя себя на место ограбленного, он догадывался, что творилось в волчьей душе, и он ему сочувствовал: халевщиков никто не любит.

День заканчивался. Большое северное солнце катилось по горизонту. Казалось, что оно высматривает место, куда удобнее завернуть на ночлег. Световое время позволяло, и Федор ре-

шил пройти по следу стреляного волка. «Я ведь стрелял просто по корпусу, и если попал по животу, то крови и не будет, а волосы-то срезаны пулей, так что чем черт не шутит».

Развернувшись, он пошел по хребту вдоль ручья – так было легче идти. «Пройду подальше по прямой, а потом подрежу лыжницу, по которой так ретиво ушел от меня волк». Пройдя приличное расстояние, Федор стал подворачивать в сторону ручья и скоро наткнулся на лыжню. Сумерки уже обозначились, и, хоть было еще светло, следы волчьих лап на лыжне просматривались не очень ясно. Шаг зверя был спокойный, ровный. Федор шел потихоньку по лыжне, тщательно всматриваясь в следы, чтобы не просмотреть даже маленькие бусинки крови, если бы они были.

И вдруг боковым зрением он уловил какое-то движение. И сразу увидел волка. Он вынырнул из-под вывернутых корней метрах в двадцати. Широко расставив передние лапы, отчего его мощная грудь казалась еще шире, он смотрел на Федора в упор. Это был спокойный, оценивающий взгляд уверенного в себе зверя. Федор медленно снимал карабин. В голове мелькнуло: «Когда это сердце успело так набрать обороты, что отдает в висках?» Зверь стоял не шевелясь, внимательно наблюдая за охотником. Федор осторожно прикоснулся к предохранителю.

Наверное, не один охотник проклял этот подпружиненный эсказсовский предохранитель! Раздался металлический щелчок. И только снежная пыль взлетела на том месте, где прежде стоял, как изваяние, волк. Вскинув карабин к плечу, Федор ждал появления хищника, который уходил в тайгу, прикрытый корнями, как щитом. Когда тот выскочил из-под защиты, Федор увидел, как трудно ему делать прыжки по глубокому снегу. Основное усилие волк делал, чтобы выпрыгнуть из снега, и скорость была невысокая. Стрелять в него в угон было бы намного легче, но зверь почему-то стал бежать поперек, и поймать его на мушку в облаке снежной пыли было сложно. Федор успел выстрелить пару раз, пока волк не подскочил к толстой кедре. За ней зверь развернулся и стал снова уходить от охотника, прикрытый деревом. «Да ведь он уходит по правилам боевого искусства! Спецназовец хренов!» – восхитился Федор. «По такому снегу догоню», – решил он и бросился следом, но тоже развил скорость не ахти. Сгоряча он взял слишком высокий темп, а так

как уже набегался за день и вдобавок был голодный, силы быстро его покинули. Но еще оставалась надежда, что волк может где-нибудь запурхаться в глубоком снегу и подпустит на выстрел.

Пробежав немного по волчьему следу, Федор еще раз восхитился умным зверем. Удалившись на безопасное расстояние, тот прекратил прыжки, которые отнимали много сил, и пошел частым мелким шагом. От этого опора у него увеличилась вдвое, и он пошел почти поверху.

Осознав бесполезность погони, Федор остановился отдышаться. Идя по лыжне в обратном направлении, он размышлял о происшедших событиях. Увиденное и узнанное за сегодняш-

ний день навсегда оставило в нем уважение к этому великолепному хищнику.

С такими мыслями он вышел к реке. На западе полыхал красным цветом небосклон, похожий на зарево далекого гигантского пожара. Федор стоял на спуске к великому Енисею, у которого сумерки размыли противоположный берег. Оттого синяя даль, сливаясь на востоке с ультрамариновым небосклоном, казалась бесконечной.

Опершись на посох, Федор пил глазами эту волнующую даль, вдыхал все окружающее вместе с морозным воздухом и чувствовал, что он частица этого и с этим он неразделим.



**Наталья
ДЖУРОВИЧ**

ВЕРНИ МНЕ РУСЬ



В ЭТУ ЗЕМЛЮ

*В эту землю кротко отцветая
Лепестком воскресшей тишины.
Если ждать тебя, то как с войны.
В вишнях сад, и плачется как в мае.*

*Вербы слов боятся содрогнуться,
Мир натянут трепетно, как лук.
Я боюсь теперь других разлук,
Из которых можно не вернуться.*

*Странная, родная сторона,
Бедное надколотое блюдо,
Так хочу порой к тебе пригнуться,
Милостью оставив семена.*

*Мир, как слезы детские, правдив,
А другие – разве столько значат?..
Сын родится – Родина заплачет,
Никуда еще не проводив.*

ДЕРЕВЬЯ

*И опять этот май
Неумело, но искренне всхлипнет,
Отгадаю тоску его в светлом, белесом
чаду.*

57

*По аллее бреду,
Где грустит белопенная липа,
Или крохотной былкой в твоём прорастаю
саду.*

*Припадаю к дорожным камням,
Словно каменной, грудью,
Где разносит твой ветер останки цветов,
словно прах.*

*Я готова расти на камнях,
Отказаться от «будет»,
Возвращаясь, печальное имя качать
на ветрах.*

*Мне теперь говорят,
Что дорога не «право», а «десно»,
И душа не отвергнет радушный и добрый
приют.*

*Из шагов, как из ямбов, смотри,
Получаются песни.
...Замереть и стоять.
А деревья поют и поют...*

БРАТУ

*Хорошо, что с сердцем я не в ссоре,
Сердцу – биться, строчкам этим – быть.*

ДЖУРОВИЧ (УНГЕРОВА) Наталья Александровна родилась 23 января 1987 года в Москве. Окончила Российский православный университет. Публиковалась в журналах «Наш современник», «Гостиный двор». Автор сборника стихов «Нескончаемое лето» и книги в соавторстве с сербским писателем Н. Милаковичем «Румия Крестоносная» («Румија Крстоносна»). Преподаватель и переводчик. С 2009 года живет и работает в Черногории.

Посмотри, как корчится цикорий,
Не умея горечь разделить.

Сколько лет прошло, десятилетий,
Сколько ветер обломал ветвей,
Сколько горьких высохло соцветий,
Сколько мы нахмурили бровей!

Гаснет тропка в травах, словно свечка,
Все успело стихнуть и остыть.
Посмотри, как обмелела речка,
Что боялись мы не переплыть.

* * *

Словно в оберег в тебя я верю,
Отводи, пожалуйста, беду.
Я в ответ тебя на старый берег
Тайною дорогой отведу.

Слышишь, речка плачет безутешно?
Берег речку за руку берет...
Молчаливо, трепетно и нежно
Пеленает небо птиц в полет.

Смотрит дом глазами старых окон,
Он простил, что здесь я не живу.
Шелестя печальной осокой,
Луны яблок падают в траву.

Та трава колола в детстве пятки.
Видишь, память на моей щеке?
Оттого кувшинки как лампадки
Обо мне зажгутся на реке.

Загадаем трепетно и кротко
Привести на берег сыновей.
...И до слез меня тревожат лодки
Колыбельной нежностью своей.

РАЗГОВОР

Наш разговор боимся мы начать,
Чтоб слов и звезд не потревожить
ясность,

А названная деревом свеча
И пламенеет, и боится гаснуть.
Ты знаешь, пусть я вслух и не молюсь,
Но я всегда лишь об одном просила,
Я и сейчас прошу: верни мне Русь,
Упрugое хождение по сини.
Как ветку память тихо покачнуть,
О возвращенье помолиться небу...

Мне кажется, когда я прилечу,
Ты поднесешь гнездо мне вместо хлеба.
Туман там будет серый, как висок,
Но я искать не стану откровений.
Ты помнишь, как он был тогда высок,
Наш тайный домик в зарослях сирени?..

ЗЕМНОЕ СЧАСТЬЕ

От года нам осталась только треть.
Так осторожны мысли, словно астры.
Трава права, пришла пора желтеть,
Но в том и есть ее земное счастье.

Нет, не чернее гроздь бузины
Земли тамбовской, тем сумев поранить.
Во сне я обходила полстраны,
По-августовски муча свою память.

Там сенокос. К губам прильнет вода...
Мне жаль, что я к страде той
непричастна.

Я не люблю приморского плода,
Но в том и есть мое земное счастье.

Успеть, пока звенит на ветках медь,
Прильнуть к твоей земле нечерноземной
Должны теперь мы. И ее согреть.
И в то тепло смиренно бросить зерна.

Смотри, лампадой вздрогнула печаль,
Печаль, как хлеб, разломится на части...
Вкушай тот хлеб. И колыбель качай.
Она и есть – твое земное счастье.

ТЕБЕ

Триумфально приходит весна,
Снится венчик черемухи русской.
Здесь такая стоит тишина,
Что назвать ее миром боюсь я.

Вырастаю как древо в ряду,
Я не буду лишь пристально ждавшей,
Ты же знаешь, я тоже иду
В этом горьком апрелевском марше.

Знаю, смотришь и ты, но куда?
Столько праведней, звонче и шире!
Там, где я не оставлю следа,
Твое имя затеплится в мире.

*Станут пламенем вешних ночей
Ветки белой черемухи хрусткой.
Может, кровь оттого горячей,
Что сливается сербская с русской?!*

*Как люблю я две птицы бровей!
Нет, отдать свое сердце не поздно.
В сербском небе всего красивей
Загораются русские звезды.*

ГУСИ

*Детство пахнет картошкой вареной,
Кострецом на зазубринах вил,
Нашей тихой речкой Вороной
И плотвою, что брат наловил.*

*Детство пряное, блеклые маки
Отцветают на грядке в росе.*

*Мы бежали в траве без оглядки
И травы не жалели совсем.*

*На просторном лугу чуть подальше,
От суровых гусей убежав,
Мы лягушек ловили бесстрашно
И гоняли пупырчатых жаб...*

*Замолчали крикливые птицы,
Заросли осокой берега,
Лишь лягушка из сказки мне снится,
И свирепое чудится «га!».*

*Гуси, гуси! Да пусть бы кричали,
Пусть колола бы пятки трава,
Лишь бы речка как раньше журчала
Там, где бабушка вечно жива...*



Дмитрий ФИЛИППЕНКО

МЕНЯЮТ НАС И ГОРЕ, И БЕДА



АВТОПИЛОТЫ

*Ветер срывает и топит афиши
В лужах непрожитых дней.
Ездят по городу пьяные Миши,
Жизни крадут у людей.*

*Водят по городу автопилоты
И не приводят домой.
Если порой за рулем бегемоты,
Значит, нам снится покой.*

*Ездят магнаты и аристократы.
Может, их кто-нибудь съест?
В зеркало гордо глядят адвокаты,
Только не смотрят на крест.*

ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ ГОД

*Я хороший, день плохой,
В плеере играет Хой.
Девяносто пятый год,
Задыхается завод.*

*Я подстриженный под бокс.
Спит в розетке Фумитокс.
Под зарплату рис, мука,
Сахара по три мешка.*

*А в деревне огород.
Баба ждет, и деда ждет.
Каждый вечер пироги
И рыбалка у реки.*

*Девяносто пятый год,
Загибается народ.
Черно-белая страна,
Без деревни нам хана!*

ЧЕТЫРЕ ДНЯ

*В реанимации четыре дня.
И мир перевернулся черепахой.
Предупреждала добрая родня,
Но я гулял с есенинским размахом.*

*Я падал вниз, а надо мной врачи
Спасали мной запущенное тело.
Свой карандаш души я не сточил,
Еще не жил и ничего не сделал.*

*Я темнотой дышал, и запах стен
Впитался в кожу и в мои сосуды.
Я выжил, я стерпел больничный плен.
Исправлю все и запустать не буду.*

МОРЖ

*Когда я пек оладьи и
Готовил вкусный борщ,
У берегов Ирландии
Очнулся старый морж.*

*Приплыл на черном айсберге
В холодную страну.
В порту ирландском Абигейль
Чуть не пошел ко дну.*

*И на корабль животное
Подняли рыбаки
И тело инородное
От гибели спасли.*

*Пока я слушал новости
Про бедного моржа,
Борщ по закону подлости
На кухне убежал.*

СНЕГА

*А в детстве по ночам цветут снега,
Ложатся на лохмотья тротуара.
Компот – на дне стакана курага,
Деревни воздух, повести Гайдара.*

*Следил за нами справедливый дед,
Чтоб с братом мы не брали в руки спички.
Мы гнали каждый свой велосипед
И уезжали к черту на кулички.*

*По вечерам окрошка и кино,
Зеленый чай и шоколада плитка.
Я все равно вернусь в деревню, но
Закрылась в детство старая калитка.*

СТАРИК

*Плыла ленивой рыбою река
Вдоль берегов черемушного ситца.
В деревне хоронили старика
В гробу закрытом, чтоб не заразиться.
Семья не посмотрела на него
В последний раз и не смогла проститься.
Они тогда не знали одного –
Что тело перепутала больница.
Лежит в палате дед. Еще живой!
И не найти виновных в круговерти.
И по ошибке сделали вдовой,
Вручив жене свидетельство о смерти.*

* * *

*Остался цирк, он в городе полгода,
Артисты голодают в тишине
И принимают пищу от народа,
Чтоб прокормить животных. На стене
Висят афиши из вчерашней жизни,
И клоунам давно не до детей.
Метут проспекты вместо антрепризы,
Чтоб накормить талантливых зверей.
...Уже зима. Но цирк на том же месте.
По снегу ходит поседевший лев.
Под гривой висит блестящий крестик
Как символ Божьей веры на земле.*

* * *

*Все шахтеры капельку поэты,
Свой они составили словарь.
И аристократы, и эстеты
Не освоят шахтный инвентарь.*

*По уклонам бегают Лариски,
Ярко-длинные у них хвосты.
Не нужны им сало и сосиски,
Но зато с конфетами на «ты».*

*На аншлагах, трубах и пикетах
Пишут, как начальству лучше жить.
Все шахтеры капельку поэты,
Никому их не перешутить.*

*В ведрах носят слесаря напругу,
Обезьянкой нарекли домкрат.
Друг-шахтер сильнее любого друга,
А работать я с друзьями рад.*

* * *

*Куда же вы уходите, друзья?
Я верю, что уходите вы в детство.
И пишите там письма для меня,
И шлете мне их в преданное сердце.*

*Не знаю, будет встреча или нет,
Но нашей дружбы свет неразделимый.
Я нарисую каждого портрет
И подпишу вот: «Коля», «Миша», «Дима».*

*Бессмертен воздух и жива вода,
Пока есть память и стихи сияют.
Меняют нас и горе, и беда.
Друзей и после смерти не меняют.*

**Игорь
НАЗАРОВ**

ЯЗЫЧНИКИ

Историческая драма



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Горсер, варяг, боярин князя Святополка.

Мстивой, дружинник Горсера.

Ян, боярин, брат Горсера.

Князь Святополк.

Князь Борис.

Князь Глеб.

Анастас, епископ, первый глава русской церкви.

Илларион, монах, в будущем митрополит Руси.

Старшой, предводитель ватажников.

Торчин, раб князя Глеба.

Дружинники, купцы, киевляне.

ПРОЛОГ

Занавес еще закрыт. Темнота.

Голос диктора: «Русь. Начало одиннадцатого века. Всего чуть более десяти лет прошло с момента крещения Руси князем Владимиром».

Сцена чуть освещается, и мы видим стоящего человека. Он не торопясь оглядывает сцену и зал, потом делает знак рукой и говорит кому-то: «Давай его сюда».

На сцену выталкивают Мстивоя. Он одет в какую-то рванину, глаза завязаны. За ним выходят двое, одетых и вооруженных примерно так же, как и тот, кого мы увидели первым. Один из них берет сзади Мстивоя за плечо и с силой толкает вперед со словами: «Вот он, Старшой». Теперь Мстивой и Старшой стоят лицом друг к другу, а те двое, скрестив руки, за спиной Мстивоя.

Старшой (после паузы). Повязку-то ему снимите. Вот так. (Снова внимательно разглядывает Мстивоя.) Бают, ты еще ни разу попа греческого не убивал? Правда аль нет?

Мстивой. Правда.

Старшой. А чего так?

Мстивой (пожимает плечами). Да так как-то. Случая, что ли, не представилось.

Старшой. Сколь же тебе годов?

Мстивой (считает что-то по пальцам, шевеля губами). Семнадцать, что ли... або чуть поболее.

Старшой. И ни разу случая не представилось?

Мстивой разводит руками.

Старшой. Ну, а чего ты им делал?

Мстивой. Кресты рубил. Церкву одну сжег.

Старшой (с усмешкой в голосе). За что ж ты их невзлюбил-то так?

Мстивой (яростно). А чего мне их любить?! Дом разорили, пожгли. Деда повесили. Дед никогда никому никакого худа не сотворил. Резал из дерева богов. Световида там, Ладу еще. Иных, прочих. Раскрашивал их. Людям продавал. Пришли эти... греки в черных одеждах с дружинниками княжьими. Деду говорят: «Жги идолов своих». Он отказался. Ему петлю на шею и... (Всхлипывает.)

Старшой. Деда как звали?

Мстивой. Сиявор. На все княжество первый резчик был.

Старшой смотрит на одного из тех, кто стоит за спиной Мстивоя. Тот утвердительно кивает головой.

Старшой. Ну-ну. Дале чего было? Сам-то как спасся?

Мстивой. Дед как увидел, кто к нам идет, меня в лес толкнул. «Беги, – кричит. – Беги отсель, Тиша. Подале».

Старшой. Тиша? Ты ж баял, что Мстивой тебя зовут. *(Смеется.)* Аль забыл уже? Заврался, а? Эх, ты! *(Снова смеется.)*

Мстивой. Ничего я не заврался! Родители Тихомир называли. Вот я и был Тишей, покуда эти *(мотаает головой в сторону)* не пожгли нас. И тогда я решил зваться Мстивоем. Потому как мстить хочу! Мстить им! И не успокоюсь, покуда в кровь их поганую по самы уши не окунусь!

Старшой. Потому и нас искал?

Мстивой. Потому и искал.

Старшой. Складно. Покуда все складно. Вот только, паря *(усмехается и треплет Мстивоя по плечу)*, ты ить не первый. Тут уже такие появлялись. Просили в ватагу принять. Тоже складно баяли. А на деле оказалось, князь да попы их к нам подсылали. Знаешь, что мы с такими делали?

Мстивой. И что?

Старшой. По вере их отпевали да хоронили. *(После паузы.)* Живыми. *(Показывает пальцем вниз, на землю.)* Туды.

Мстивой. Я не из таких! Проверь меня! Проверь!

Старшой. И проверим. Баешь, хочу мстить, да случая не представилось? Ну вот, зараз мы трудноте твоей поможем. *(Кричит за кулисы.)* Эй! Волоките монаха сюда! *(Мстивою.)* Тут мы намерены обоз церковный разбили. Ну, кого прям там порезали, а одного *(усмехается)* раба божьего сюда притащили. Как, скажи, знали, что ты к нам в гости пожалуешь. И гляди, как ладно получилось: ты пришел, а тебе и подарок готов.

На сцену выволакивают связанного по рукам монаха и кидают перед Мстивоем. Слышно, как монах вполголоса молится.

Старшой. Как подарочек? Годится?

Мстивой. И на что он мне?

Старшой. А ты, сирота, не догадал ишшо? *(Вынимает из ножен кинжал и протягивает его рукоятью Мстивою.)* Ну! Чего ты так смотришь? Мстить хотел? Мсти! Вот и представился тебе случай!

Мстивой секунду колеблется, потом делает шаг вперед, решительно берет кинжал и поворачивается к монаху.

Старшой. Не здесь! Там. *(Машет рукой на кулисы.)* На поляне Сварожьей.

Двое ватажников подхватывают монаха под руки и волокут за кулисы. Мстивой идет следом. Оставшийся ватажник подходит к Старшому.

Ватажник. Слышь, Старшой, он вроде не брехал нам. Знал я и деда его Сиявора, да и парня этого еще юнаком видал.

Старшой. Зараз посмотрим.

Ватажник. Не сомневайся, Старшой. Он парень хват, сгодится квашню месить.

Из-за кулисы раздается отчаянный вопль.

Ватажник *(оживленно)*. А, Старшой? Чего я тебе говорил?

Мстивой выходит и протягивает окровавленный кинжал Старшому. Секунду они смотрят друг другу в глаза, потом Старшой переводит взгляд на ватажников, что уходили вместе с Мстивоем. Один из них кивает головой и проводит ребром ладони у своего горла.

Старшой принимает у Мстивоя кинжал.

Старшой *(Мстивою)*. Рубаху сними.

Мстивой снимает рубаху и ищет глазами, куда ее положить.

Старшой *(зло)*. Выкинь рванину свою. *(Обеими руками поднимает кинжал острием вверх.)* Свароже, дидо рода небесного и наш отец. Ты творец мира явного, солнца, звезд и землиматушки. К тебе обращаюсь я, сын твой, и говорю тебе весть радостную: вот обрели мы, сварожичи, себе брата, а тебе сына. Не оставь его своей помощью. А узнаешь ты его всегда по знаку сему. *(Кинжалом вырезает что-то на груди у Мстивоя, потом вновь вскидывает кинжал вверх острием.)* Слава, Сварог!

Ватажники *(хором)*. Слава, Сварог!

Старшой протягивает кинжал Мстивою.

Тот принимает и прижимает лезвием к сердцу.

Мстивой. Слава, Сварог!

Уходят. Некоторое время на сцене пусто. Слышно только, как громко тикают невидимые часы. Потом шум голосов, и на сцене появляются торговцы с различным товаром, покупатели. Все гомонят.

1-й торговец. Подходи, налетай! Товар не залежалый. Веревки пеньковые, канаты смоленые. В огне не горят, в воде не тонут!

2-й торговец. Ведерки дубовые, коромысла расписные. Подлетай, выбирай. Торгуем честно, всему Киеву известно!

3-й торговец. Яблочки садовые, груши медовые. Покупай про запас да на квас.

Появляется Мстивой. Он богато одет. Немного повзрослевший. Держится уверенно, даже нагло.

Торговка. Орешки каленые. Продает Алена. Всем продаю и всем сдачи даю.

Мстивой походя забирает у нее горсть орешков и проходит дальше к к у п ц у, который молча сидит на лавке. Рядом разложены кольца, перстни, браслеты.

Мстивой. Ну, а ты, дидо, чего не базлаешь? Чего народ не зазываешь? Продать нечего?

Купец. Мой товар сам себя хвалит. Узорочье, дак и тово...

Мстивой (*небрежно перебирая товар*). Тоже мне, узорочье. И не в стыд таким торговать? Седой уж.

Купец (*беря в руки перстень*). А чем эта жуковина плоха?

Мстивой (*берет перстень, вертит в руках*). Груба. Не чернена, не наведена толком. Не... Груба работа. (*Достает из пояса другой перстень*.) Глянь, как надо.

Купец. Ну-ка, ну-ка. (*Осматривает перстень, потом возвращает*.) Спрячь. Садись рядом.

Мстивой (*саясь рядом*). Чего звал? Говори.

Купец (*оглядываясь по сторонам*). Ты пнем-то не сиди. Выбирай у меня в товарах чего-нито да слушай.

Мстивой. Чего такой пугливый стал?

Купец. Станешь тута. Князь Владимир воеводу на Киев нового поставил. Ох и лютого. Всюду у него глаза и уши.

Мстивой. Кто таков?

Купец. Зовут Горсер. Варяг. Боярин князя Святополка.

Мстивой. Святополк же в тюрьме.

Купец. Он-то в тюрьме, а Горсер, вишь... взлетел. Поверил ему Владимир чего-то. А только, я смекаю, зря поверил.

Мстивой. Почему зря?

Купец. У князя Святополка люди все верные. Умеет подбирать. С чего бы Горсер князя своего бросил да Владимиру служить стал?

Мстивой. Ну, ошибся Святополк, значит. С кем не бывает?

Купец. Ошибся-то ошибся. Да не Святополк. Говорю ж тебе.

Мстивой. Да мне-то что до этого? Плевать мне на всех князей да бояр. Отцовскую веру предали, нас попам греческим продали, а я печалуй за ними? Да пусть они хоть все там друг друга перережут. Христианин мне не князь. И не боярин.

Купец. Э-э, брат, не смотри на кличку, смотри на птичку. Люди-то про Горсера на разное бают. Слышал я от знающих, что Горсер, он... ну, не так чтоб христианин. Прикидывается просто. Уж не знаю, правда ли, нет ли, а люди верные то говорили.

Мстивой. Погоди. Так он наш, что ли? Сварожич?

Купец. Ну, это навряд. У них, у варягов-то, свои боги.

Мстивой. Да и ладно. Главное, что не распятые. Так ты за этим только и звал?

Купец. Нет. Слушай главное. Наибольший киевский поп Анастас обоз даров патриарху царьград-

скому стюковал. Завтра к вечеру отправит. Сначала горой пойдут, а уж у Хортицы на струги сядут.

Мстивой. Та-а-ак. Почем знаешь?

Купец. Попы у меня узорочье купляли. Проболтались.

Мстивой. Ага. Кто да кто с ними?

Купец. Не. Никто из купцов с ними обозом не идет. Только свои. Охраны мало. У Хортицы – тамо ратных много будет. Тамо они печенегов берегутся. А здесь, слышь, им вроде бы и некого опасаться.

Мстивой. Ну-ну. Спасибо, брат, за весть добру. Не забудем.

Расходятся. Все погружается в темноту. Слышен разбойничий свист, топот копыт, лязг мечей, дикие крики и вопли. Потом все стихает.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Сцена вновь освещается. Занавес уже раздвинут. На заднике слева нарисованы крупно языческие статуи богов и прочая языческая символика, справа – кресты, иконы и прочая символика христианская. На сцене стол, несколько лавок. За столом Горсер и несколько дружинников.

1

Горсер. Вот что, други. Зараз, не стряпая, отправитесь на реку Двину. Там, кажись, три или четыре моста через нее. На Новгород коль идти, их не минешь. Смекаете?

67

Дружинник. Князь Владимир приказал?

Горсер. А то. Брат мой, Ян, сегодня из Новгорода вернулся и сразу ко князю. Даже ко мне повидаваться не зашел. И через мал час мне приказ от Владимира: чистить пути да мостить мосты на Новгород. Так вы и посмотрите, целы ли те мосты, крепки ли. А даже будут и крепки, все одно сгоните смердов тамошних да еще более мосты укрепите. Броды известные тоже укрепите да новые разыщите. Не помешает нам их много иметь. Работать чтоб мне споро! Мужичье мясом кормить, но и спуску не давать. Коли лениться будут – батога не жалеть! Хоть целый лес на батоги переведите, а чтоб ко времени, как урожай снимем, дорога до самого Новгорода была гладкой! Иначе князь Владимир с меня шкуру спустит, но того раньше я с вас – три.

Дружинник (*улыбаясь*). Это мог бы и не говорить, Горсер. Не первый год тебя знаем, и не первый снег нам на голову упал, чтоб такое не понять. Лучше вот что скажи: коли такое князь приказал, стало быть, точно быть войне с Новгородом?

Горсер. Стало быть, точно, други. Не захотел князь Ярослав подчиниться отцу. Новгород от Руси упорно оторвать желает. А значит, быть войне. И не

когда-то, а нынче же осенью. Владимир такое не прощает и медлить не любит. Прихлопнет сына своего, как муху.

Дружинник. Сын на отца меч поднимает. Ох, до чего ж дошло на Руси. Раньше-то и помыслить о таком нельзя было.

Горсер. Погоди, еще не то увидим. Боги не только завистливы, но и мстительны. И счастье свое им показывать нельзя, и ссориться с ними нельзя. А князь наш и то и другое сделал. Да ладно, досыта уже об этом баяли. А и печалиться тоже особо не след. Новгород богат, каждый дружинник с возом добра из похода вернется. Чему ж печалиться-то?

Дружинник. Оно и не печально. Непривычно просто: сын на отца, отец на сына.

Горсер. Это ничего. Быстро привыкните. Война-то всегда одинаковая. Неважно, кто, на кого и зачем. Ну, в путь, други. Неча рассуждать. Дел много, а время мало.

Дружинники уходят. Появляется Анастас.

2

Горсер. Здравствуй, поп Анастас.

Анастас благословляет Горсера.

Горсер. Смешно ты это делаешь. Ну да ладно. С чем пожаловал ко князю? И вовремя ли? Владимир занят зараз. Дела у него господарские, тебя не касаемые. Да и недужится ему.

Анастас. Для того и звал меня великий князь. Для ради дел своих тяжких и для ради недуга.

Горсер. Ишь ты. Ну-ка, покажи, что там за свиток у тебя? Что за письмо князю несешь? Ну, давай, давай его сюда. Я воевода Киева, потому все знать должен.

Анастас. Ну что ж. *(Протягивает Горсеру свиток.)* Бери чтить. Это и для тебя полезно будет знать, как надлежит народ стольного града христианской державы исправлять, поучать и наставлять.

Горсер *(разворачивая свиток)*. И что бы я делал без тебя, Анастас? Так бы небось и умер дураком. *(Читает.)* «В воскресные праздники приходить в церковь и стоять смиренно, скоморохов и ворожей к себе в дома не призывать, в первый день луны не смотреть, зерню, картами и тавлеями не играть, медведей не водить, с сучками не плясать. На браках жениха с невестой матерной бранью в церковь не провожать, срамными песнями из церкви не встречать, кулачных боев не делать, на качелях не качаться. Если не послушают, бить батогами. Домры, гусли находить и жечь»¹. Экий ты свирепый, Анастас. За что ж тут батогами-то? Люди

обычаи чтят. Это от дедов-прадедов повелось. А ты за батоги сразу.

Анастас. Обычаи от тьмы и невежества нарождаются. Церковь слушать надо, а не обычаи.

Горсер. Мало ты новин на Руси ввел? Народ кресты носит, в церковь ходит, какого рожна тебе еще нать? Гусли-то чем тебе помешали?

Анастас. Беса тешат.

Горсер. Нет у нас на Руси никаких бесов. И отродясь не было. Это у вас, в Греции, они водятся. А у нас откуда? Разве что ты с собой из Херсонеса их в мешке привез.

Анастас. Крест носят, а в душе язычники. И ты такой же, Горсер. Думаешь, коли крест надел, так обманул меня? Все я про тебя ведаю. Мне бы тебя, язычника, за шиворот да ко князю, но молчу пока. До часу.

Горсер. Я про тебя тоже много чего знаю, поп. Не первый день чай знакомы. Церкви Владимир десятину даней брать определил. А ты больше дерешь. И я о том доподлинно знаю. Мне бы тебя за руку да ко князю. А я смотрю и молчу. Все знаю и молчу.

Анастас *(после паузы, поразмыслив над чем-то)*. Врешь ты, Горсер. Не можешь ты всего знать.

Горсер. Так это, выходит, я еще и не все знаю? Ловко. Ну, да и того, что знаю, немало.

Анастас. А того, что знаешь, никогда не докажешь. А сунешься – прогневаешь только князя Владимира наветами своими на церковь Христову. Князь церкви верит.

Горсер. Церкви? Тебе Владимир верит, это точно. В чести ты у него.

Анастас. Незаслуженно то и много для смиренного слуги Божьего.

Горсер. Слушай, смиренник, ты такого больше при мне не говори. Князь лучше знает, кто чего заслужил. Не тебе судить.

Анастас. Верно. Не мне, но и не князю, а Господу нашему, Христу Вседержителю.

Горсер. О себе, Анастас, сам не будешь думать – Бог за тебя тоже думать не станет.

Анастас. И это верно, боярин Горсер.

Горсер. Так чего ж не думаешь? О гусях да песнях вона целую грамоту накатал. А о голове своей и мысли нету, что ли?

Анастас. А в чем угроза голове моей?

Горсер. Да некрепко она у тебя на плечах сидит с недавних пор. Закачалась. Аль не чувствуешь, Анастас?

Анастас. Почему так думаешь? Говори.

Горсер. Верно ли, что князь Владимир некую грамоту написал, в которой приказывает, чтобы по смерти его великим князем Руси стал не старший в роду, князь Святополк, а сын греческой княжны, князь Борис?

¹ Цитируется подлинный текст русской церковной грамоты Средних веков.

Анастас. Верно. И о том скоро всем повестят. Князя Бориса и брата его Глеба Владимир в Киев позвал. Скоро уже и здесь будут.

Горсер. Ну и вот.

Анастас. Что «ну и вот»? Князь Борис на троне киевском твоей голове, Горсер, угроза. Не моей. Он христианин с детства. И рожден от благочестивой княгини Анны, сестры божественного базилевса. С молоком матери Борис к вам, язычникам, нелюбие впитал. Так что это тебе о голове своей думать надо, Горсер. Не мне.

Горсер. Ай, Анастас. Умный ты, а дурак. Иль забыл, кто нам, русичам, Херсонес сдал? Кто тем самым базилевса предал? Божественного. Забыл? Так я напомним: ты, Анастас. Ни в жизнь мы бы тогда Херсонеса не взяли, если бы не ты. Так чьей голове цена в Константинополе назначена? Твоей, Анастас. А княгиня Анна? Может, она и благочестивая, как ты говоришь, вот только из-за этого Херсонеса, из-за измены твоей ее на Русь и отправили. А ведь не хотела. И по сей час не любит она Русь. Так кто же ей враг-то первый? Ты, Анастас! Чью голову она у сына своего Бориса попросит? Твою, Анастас! И чья башка первой с плеч слетит? Твоя, Анастас! Моя-то гораздо опосля. Да еще и не у всех руки такие длинные, чтоб до нее достать. А вот за тебя, Анастас, как станет Борис великим князем, вступить к нему кому будет.

Анастас (*после паузы*). Со мной, Горсер, произойдет только то, на что будет воля Божья. И ничего больше. Ну, а тебе-то чего до головы моей, боярин? Разговор такой затеял, значит, хочешь от меня что-то. Говори. Только прямо. Без кудрей!

Горсер. Головы спасти хочу. Твою да мою. Сам же видишь: мы теперь с тобой в одной лодке. Пусть временно, а в одной.

Анастас. И что я для этого сделать должен?

Горсер. Уговори князя Владимира, чтоб выпустил Святополка из темницы. Целый год ведь уж томит. И было б за что. А то – по навету. И жена его уж умерла в темнице. И епископа этого, духовника Святополкова иль как вы их, советчиков этих, зовете, тоже в той же темнице намереди уморили, а правду сказать – удавили.

Анастас. Епископ сей, именем Рейнберн, был не от церкви истинной, а от Римской церкви. Такие пусть хоть все передохнут, я возрадуюсь.

Горсер. Ну так радуйся, этот уже... того... к предкам ушел.

Анастас. Не к предкам, а в ад он ушел, собака папская!

Горсер. Да и хрен с ним! А Святополка спасти надо. Для тебя это надо. Ибо от одного князя может защитить только другой князь. Вот как Борис станет

князем киевским, Святополк за тебя и вступится, ежели чего. Он ведь русич, Святополк-то, чистокровный. Что ему ваши свары греческие?

Анастас (*подумав*). Это ты говоришь дельно. Ладно, обмысли, как сие сделать. Но и ты мне, Горсер, помоги.

Горсер. Говори, чего надо.

Анастас. Вчера ночью обоз мой с казной тати пограбили.

Горсер. Где?

Анастас. Да здесь! Под самым Киевом! Далеко отойти-то еще не успели.

Горсер. А и не знаю! Не доложили, суки! (*Подбегает к кулисе и кричит.*) Сотника градского мне быстро сюда! (*Возвращается к Анастасу.*) И что, много взяли, Анастас?

Анастас. Много. (*Вздыхает.*) Ой, много!

Горсер. Ну-ну. Не печалуй. Раз много взяли, далеко еще не ушли. А здесь, под Киевом, у меня все пути-дорожки их разбойничьи подсчитаны.

Вбегает градской сотник.

Горсер. Явился, кикимор! Что? Оплошал, а? Оплошал, спрашиваю?! И оплошку свою утаить от меня захотел, сукин сын?!

Сотник. Дак я сразу хотел про обоз тот тебе сказать, боярин.

Горсер. А-а-а! Сразу догадался, о чем речь! А пошто только хотел, а не мигом сказал?

Сотник. Так ты ж занят из ночи до утра был!

Горсер. Занят не занят, ночь-полночь, а сразу рассказать должен был. Под Киевом обозы грабят, а я, воевода Киева, о том и не ведаю. Да ты что, собака, с ума сошел?!

Анастас. И не только грабят, но и людей убивают. Всех обозных перебили тати. Да и глумились еще над телами. Уши и пальцы резали.

Сотник. Да то не глумились. То перстни да серьги снимали. Торопились, видать, дак и тово... Вместе с пальцами, чтоб быстрее.

Горсер (*берет сотника за грудки*). Ну ты, пес! Рассуждать тута будешь? У тебя тати под самым городом людей убивают невозбранно, а ты стоишь тут... (*Отталкивает сотника.*) Всех поднимай! Всю сотню на конь! Догнать татей! Рубить без жалости! И живьем кого-нито возьми. На торгу прилюдно бошки срубим волкам!

Сотник убегает.

Горсер. Ну вот, Анастас. Теперь все ладно будет. (*Наливает себе вина.*) Не горюй, поп, никуды они теперь не денутся.

Анастас (*поднимаясь*). Верю тебе, Горсер. И о деле, что ты мне сказал, как и обещал, помыслию.

Уходит.

Горсер (*помолчав, подумав, выпив еще вина*). Ишь ты. Песни русские ему срамные. Сука греческая! Аж руки чесались удавить, как того епископа давил. Но нельзя покуда. Святополка без него из темницы не вытащить никогда. (*Снова выпивает, усмехается.*) А не любят попы греческие римских попов. Стравить их, что ли? Можя, сами друг друга и перережут мне на радость. Ох, всем богам бы тогда богаты жертвы принес. Даже Христу ихнему. (*Подумав.*) Ладно. Потом помыслим. А пока Святополка пусть мне выручат.

3

Входит Ян.

Горсер. Здравствуй на тысячу лет, брат.

Ян. Здравствуй, Горсер.

Горсер. Ну что, окончательно ли князь Владимир решил?

Ян. Быть войне, брат. Владимир гневен на сына своего и на новгородцев.

Горсер. Так. Вот какие дела. Ну, а Ярослав там, в Новгороде, чего себе думает? Иль за него новгородцы теперь думают? Ты ж только что оттуда. Чего там?

Ян. Плохо, брат. Князь Ярослав даже не принял меня. И новгородцы говорить не захотели. Окончательно на сторону решили уйти. И под Киевом быть больше не хотят, и дань эту клятую, две тысячи гривен, давать даже не думают.

Горсер. Ишь ты. Мы ж их раздавим. Как блоху. Против всей Руси как выстоят?

Ян. Надеются. Три тысячи викингов наняли. Норманнов.

Горсер. Вона. Это серьезно. Норманны – это сила.

Ян. Сила. Только вот покуда силе этой делать нечего, она, от скуки должно, новгородцев силует. Блодят по Новгороду господа норманны как хотят. Людей грабят, лавки разбивают, женок насилюют.

Горсер. А новгородцы?

Ян. А чего им? Терпят. Чтоб Руси две тысячи не платить, они, похоже, и не то стерпят. Ожидовел чего-то совсем Господин Великий Новгород. За грош удавятся, а уж за две-то тысячи... Мало мы в тот раз их с Добрыней били, когда крестили. Недоучили, видать.

Горсер (*смеется*). Недокрестили, что ли?

Ян. Ан похоже.

Горсер. А может, наоборот?

Ян. Чего «наоборот»?

Горсер. Перекрестили? Перестарались? Вот зараз они нам и вспоминают?

Ян. Перестарались? Да им не такую бубну бы надо было набить в тот раз. Ить чуть не убили меня

в те поры. Ежели бы ты не запалил им улицы, не отстали бы от меня.

Горсер. То-то что запалил. Много еще где палили. Это ж подумать, из-за греков с их верой мы русичей жгли и били.

Ян. Так ты ж сам и жег.

Горсер. Да я-то не из-за греков, не из-за Христа ихнего. Я чтоб тебя, дурака, из окружения выручить. Ты ж в самую серединку Новгорода вперся. О как ради греков старался!

Ян. Да не ради греков. Ради Руси.

Горсер. Ради Руси? А на кой Руси греческая вера? Своей мало?

Ян. Для единой Руси и вера единая нужна. Иначе как?

Горсер. А так. Кому какая вера лучше, в ту пусть и верит.

Ян. Кому какая лучше, говоришь? Горсер, да только позволь стаду рассуждать, какая вера лучше, какая хуже, тут такое начнется. Ведь пока друг дружку не перережут, выясняючи, чей бог лучше, не успокоятся.

Горсер. Что-то наши деды-прадеды друг дружку не резали. Молились себе каждый своим богам.

Ян. Да в те поры каждый и жил в своем углу с медведями в обнимку. А сейчас посмотри окрест. Как расширил Владимир пределы русские. Сколько городов новых поставил. Народ-то весь перемешался. И что – каждому свой бог? На разных улицах разный? Нет, брат, так у нас ничего не выйдет.

Горсер. А как выйдет?

Ян. А вот как: одна Русь, один князь, один Бог.

Горсер. Один Бог, баешь. А он один?

Ян. А как не один?

Горсер. А вот так. Смотри. (*Начинает загибать пальцы на руке.*) У греков один Христос, а у римлян этот Христос уже другой какой-то. А у болгар, поспрошай их, Христос и вовсе ни на греческого, ни на римского не похожий. Третий, стало быть. У армян он опять другой. Это какой выходит? Четвертый, Ян, четвертый. От их сколь уже... Погодь, это ишло не все. Купцы варяжские рассказывали мне, что в Ирландии еще какой-то Христос есть, вовсе на других не похожий. Это, значит, пятый уже. (*Поднимает получившийся кулак.*) Вот, Янко, кто резать-то друг друга будет! Да как резать! Нам допрежь такого и не снилось – вот как они резаться будут! Я это уж понял. И ты пойми, в какую слякоть кровавую из-за всех этих Христов Русь может попасть.

Ян. Тьфу ты, дурень. Да мне-то какое дело до того, какой там у римлян або у болгар Христос? Я этих разниц не понимаю, мне до них дела нету, это

ты все умствуешь чего-то. У нас-то Христос один. Свой.

Горсер. Ну и какой он у тебя?

Ян. А вот какой у князя, такой и у меня.

Горсер. Ловко. Ну а переменит князь Христа?

Ян. И я переменю.

Горсер. Ян. Янушко. Да ты сам-то веришь в какого-нибудь бога?

Ян. Я, брат, верю в то, что он один должен быть. На весь народ. Потому как стадо, когда оно гуртом сбито, и охранять удобней, и стричь сподручней.

Горсер. Я не стадо, я овчарка! Меня пошто силовать? Мне зачем крест нацепили?

Ян. Это чтоб толпа, на высших гляючи, сама крестилась охотнее. И потом... Вера без власти слаба. Но и власть без веры тоже. Понял ли?

Слышен колокольный звон.

Ян. О, уже к вечеру звонят. В церковь-то пойдешь?

Горсер. На кой хрен? Князь Владимир с постели не встает, в церковь, стало быть, не пойдет. Коли так, мне-то там чего делать?

Ян. Для себя.

Горсер. Вот ты за меня и помолись.

Ян. Ну что ж, помолюсь и за тебя.

Горсер. Давай, давай. На коленках там поползай. Свечку поставить не забудь.

Ян. Поставлю.

Горсер. Ян, погоду. Все спросить хочу. А чего ты их каждый раз маленькие ставишь? Ты поставь один раз, но пудовую, вот так, в обхват. И целый год потом можешь не беспокоиться.

Ян *(смеется)*. Ох и дурень ты, братец.

Горсер. Иди, иди, праведник.

Ян. Зайди ко мне сегодня. Попируем. Новый терем мой посмотришь.

Горсер. С этого бы начал. Зайду непременно.

Обнимаются. Ян уходит.

4

Вбегает сотник.

Сотник. Боярин, взяли татей!

Горсер. Ишь ты! Молодцы, быстро спроворили. Где вы их?

Сотник. В Ясном овраге. Они, вишь, с обозом-то в лес не могли уйти, вот через Ясный-то и шли. Думали, знать, там награбленное разделить, телеги бросить да в лес. Ан не успели. Порубили мы их.

Горсер. Всех, что ли?

Сотник. Не. Одного живым взяли. Лютый, змий, двоих у нас положил.

Горсер. Волоки его сюды. Постой. А казна-то поповская с ними была?

Сотник. С ними, боярин. Не успели они ее спрятать.

Горсер. Хороша казна?

Сотник. У-у-у, тяжелющая сума.

Горсер. Ну, и ее сюда давай.

Дружинники затаскивают связанного Мстивоя и суму с казной. Казну кладут на стол, Мстивоя кидают на лавку.

Горсер *(дружинникам)*. Ступайте, молодцы. У ключника тамо возьмите бочонок меду княжеского, ставленого. Скажите, я велел. Погуляйте, чтоб все-му Киеву тошно стало. Заслужили.

Дружинники уходят.

Горсер *(приподнимая суму с казной)*. Хм, правда хорошо взяли. *(Мстивою.)* Ну что, дограбился?! Дограбился, спрашиваю? То-то. Эти вот дела завсегда так и заканчиваются. У меня так заведено: кто чужое берет, долго не живет.

Мстивой. Пить дай.

Горсер. Пить? А ты мне разве гость? *(Наливает из кувшина в чару. Потом пьет ее на глазах у Мстивоя.)* Нет, ты мне не гость.

Мстивой. Жаль, во рту пересохло. А то бы харкнул тебе в рожу.

Горсер. За что хвалю перед смертью, так это за храбрость. *(Снова наливает себе и пьет.)* Эх, хорошо вино. Тебе бы понравилось. Греческое. М-м-м... Вкусное.

68

Мстивой. Все у вас, псы, греческое. И вера, и вона вино даже. Ничего русского не осталось. Даже хари у всех какие-то стали... греческие.

Горсер. Ишь ты, как заговорил. Я-то, проста душа, думал, ты тать обычный. А ты что ж, против церкви, выходит? Ах, змий. Ах, подколодный. *(Пауза.)* Как звать? *(Пауза.)* Звать как, спрашиваю? Оглох, что ли, комолий?

Мстивой. Пошел ты.

Горсер. Имя назвать не хочешь. Стыдишься? Рода своего стыдишься? И кого ты там, в роду, скрываешь? Черного колдуна? Людоеда?

Мстивой. Мстивоем меня звать. И стыдиться мне в роду некого. У нас честный род.

Горсер. Ага, честный. На большой дороге купцам деревянной иглой воротники шить – все вы честные. А ты, видать... яблочко от яблоньки. Ну а по-гречески как тебя? Опять молчит. Когда крестили, говорю, как нарекли-то? Ну, чего молчишь? Тебя безыманным отпевать, что ли?

Мстивой. Не смей! Казнить – казни, а глумиться после смерти не смей! Нет чести над мертвым телом глумиться! Не нужно мне отпевание ваше. И попов не подпускай ко мне.

Горсер. Так ты чего? Аль не крещен? *(Подходит к Мстивою, открывает ему ворот рубахи,*

осматривает тело.) Ну точно. Крестика нет. Ага, зато вот знак Сварожий имеется. Вот по таким-то приметкам вас, дураков, и берут. Чего крестик-то на шею не повесил? Он ить не тяжелый. *(Замечает что-то в суме с казной.)* Хотя это, конечно, смотря какой. *(Достает из сумы массивный крест.)* Неужто и впрямь золотой? *(Пробует на зуб.)* Точно, ты глянь, золото. *(Бросает крест обратно в суму.)*

Мстивой все это время ошалело смотрит на Горсера.

Мстивой. Слышь, боярин, а ты кто, а?

Горсер. Воевода Киева. Горсер зовут. Слыхал про меня?

Мстивой. Доводилось. Баяли люди, ты не из этих.

Горсер. Не из каких, дура?

Мстивой *(кивает головой на суму)*. Ну, не из вот этих. Не из христиан.

Горсер. Был бы я из этих, стал бы я с тобой разговаривать. Кол в зад – и все дела. *(Подходит к Мстивою, перерезает тому веревки на руках, наливает чару и ставит перед ним.)* На, пей. *(Мстивой жадно пьет.)* Чего ж мне с тобой делать-то? *(Мстивой допивает чару и вопросительно кивает на кувшин с вином. Горсер ставит перед ним кувшин.)* Да пей сколь влезет.

Мстивой. Горсер, ты бы отпустил меня, а?

Горсер. Ну а отпущу, чего делать станешь?

Мстивой. Чего делал, то и стану делать.

Горсер. А чего ты делал? Попов да монахов грабил и убивал. И все?

Мстивой. Разве мало?

Горсер. Всех не перебеешь. А через месяц, много через два, опять попадешься. Что тогда?

Мстивой. Пусть. Пусть попадусь, но хоть еще погуляю. Хоть еще чуть-чуть крови ихней попью.

Горсер. Одного убьешь – другой на его месте тут же появится. Какой же толк?

Мстивой. Ну, что ж поделаешь. Нет толку, конечно. Я уж и сам это давно вижу.

Горсер. И чего увидел?

Мстивой. Пока корни в земле, сорняки не выведешь.

Горсер. Верно. Ты с башкой, как погляжу.

Мстивой. Только как же тот корень из земли-от выдернешь?

Горсер. Научить?

Мстивой. Нешто ты знаешь?

Горсер. Мож, и знаю.

Мстивой. Тогда научи, боярин. Научи, а? Я ради такой науки жизни не пожалею.

Горсер. Жизнь твоя и так у меня в руках. Без науки. Забыл?

Мстивой. Чего ж тогда хочешь?

Горсер. Служить мне будешь?

Мстивой. Коли ты и правда корень этот из земли выдернуть хочешь, то я верой и правдой. Как пес тебе верен буду, боярин.

Горсер *(обнажает меч и подает Мстивою)*. Клянись.

Мстивой *(берет меч за острие и рукоять, держит перед собой)*. Я, Мстивой, клянусь великим Сварогом и вечным блаженством воина, если выпадет мне счастье пасть в бою. Клянусь боярину Горсеру, что буду всеми силами, мечом и отвагой служить ему. Клянусь, что никогда не замыслю ничего черного против боярина Горсера. И пусть для меня навсегда погаснут костры чертогов предков, если я нарушу эту священную клятву. *(Протягивает меч Горсеру.)*

Горсер. Себе возьми. Он теперь твой. Это славный меч, верный меч. В полночь дай ему попить своей крови. Он за это будет тебе так же верно служить, как и мне служил.

Мстивой. Так и сделаю. Только как же мне до полночи дожить-то, Горсер? Меня ж казнить собираются.

Горсер. Ну, эту трудноту мы вот как одолеем. Зараз отведут тебя в церковь, и ты там скажешь, что хочешь покаяться и креститься.

Мстивой *(с отвращением)*. Чего?

Горсер. Того! Такая тебе от меня первая служба вышла. А как иначе я казнь от тебя отведу? Так что ты не просто раскаешься там, а от всей души каяться будешь. Слезы лить и рубаху на себе драть. И крестишься, и крестик на шею повесишь. Повесишь, я сказал! Ничего, не сдохнешь. Говорю ж тебе, он не тяжелый. *(Достает из-за ворота свой крестик и показывает его Мстивою.)* Во, видал? Сколь лет уже таскаю – и ничего, досель он мне шею не перетер. И тебе ничего не доспеется.

Мстивой. Так-то оно так. Только неужто простят?

Горсер. Христиане-то? Простят.

Мстивой. Сомневаюсь я чего-то. Я бы не простил. За такое-то.

Горсер. И я бы не простил. И не прощу, коль еще сблодишь чего без моей воли. А эти простят. Ты ж кто выходишь для них? Ты ж раскаявшийся разбойник. Это для них самый смак.

Мстивой. Почему?

Горсер. А ты не знаешь, что ли? Ну, это я тебе опосля расскажу, чего там у них и почему. А пока... *(Кричит.)* Эй, кто там есть!

Вбегает дружинник.

Горсер. Отведи вот этого парня к попу Анастасу. Скажи, он покаяться хочет и веру Христову, веру истинную принять возжелал. *(Дружинник усмехает-*

ся.) Но-но, смотри мне, там не расхмылься. Да скажи, Горсер за него просит. И вона суму с казной с собой прихвати да Анастасу передай. Увидит Анастас, что золото вернулось, смягчится.

Дружинник (*Мстивою*). Ну, пошли, что ли, праведник новоявленный.

Горсер. Ступай, Мстиша, ступай. Не бойсь, от этого не умирают.

5

На сцене Святополк и Анастас.

Анастас. Так-то вот, князь Святополк. Отец твой, князь Владимир...

Святополк (*прерывает*). Он мне не отец! Он убийца отца моего!

Анастас. Неподобно и нелепо ведешь себя, княже. Негоже прерывать слова слуги Божьего. Итак, паки реку, отец твой, князь Владимир, по просьбе и заступничеству церкви Христовой милость к тебе проявил и из узилища на свободу выпустил. За это ты возблагодарить должен и своего отца, и Отца Небесного.

Святополк. Спасибо Владимиру. Поклон земной. За то, что не уморил меня в темнице, как жену мою, и не велел придушить там, стойно епископу Рейнгарду. Спасибо ему за это огромное.

Анастас. Усмири душу свою, князь, усмири. Тяжко столько злобы на сердце хранить. Избавь его от тяжести сей. Прости Владимиру.

Святополк. Простить? И за отца убитого простить? И за то, что мать мою Владимир изнасиловал, а потом прогнал ради шлюхи греческой? За жену погубленную? Могу я все это вот Владимиру простить?

Анастас. Сможешь, коль захочешь.

Святополк. А ради чего мне этого захотеть? Я, может быть, хочу, чтоб он в аду горел.

Анастас. Тихо, княже! Опять в темницу захотел?

Святополк. Какой я князь? Имя одно. А власти Владимир меня лишил. По какому праву наследник ему грек Борис, а не я? Я старший в роду остаюсь после Владимира. По обычаю предков наших мне князем всея Руси быть надлежит. А не Борису.

Анастас. Владимир жив еще. И, может быть, даст бог, восстанет от болезни своей. А при живом Владимире такие речи вести грешно.

Горсер (*входя*). И опасно. Вас аж в сенях слышно. Остереглись бы.

Святополк. Горсер! (*Обнимает его.*) Как же рад я видеть тебя. Верю, что тебя я за свободу благодарить должен, а не Владимира.

Горсер. Так, да не так, княже. Больше, чем мне, благодарен ты должен быть вон попу Анастасу.

Кабы он не просил за тебя каждый день Владимира, ты и посейчас в темнице бы сидел.

Святополк (*склоняя перед Анастасом голову*). Благодарю тебя, кир Анастас. Прости, что раньше не сделал этого.

Анастас. Благодарю не меня, благодари Господа нашего. Все в воле Его, не нашей.

Горсер. А ежели все в Его воле, ты б, Анастас, попросил, помолился бы хорошенько, чтоб права княжеские Святополку вернулись.

Анастас. Князь Владимир свою волю менять не любит. О том тебе, Горсер, ведомо не хуже, чем мне.

Горсер. Владимир не вечен. А князь Борис совсем не так тверд, как Владимир. Понимаешь, поп, о чем я? Понимаешь, что будет, коли отречется Борис? Быть тогда тебе митрополитом русским до самой смерти. Какие бы ножи против тебя в Царьграде ни точили.

Анастас. Не искушай меня, Сатана. Изыди!

Уходит.

Горсер (*вслед Анастасу*). Сам изыди. (*Святополку.*) А ты спал с лица, князь. Похудел. Ну, это и понятно. Не с пира чай вернулся.

Святополк. Вернулся. На пепелище я вернулся, Горсер. Ни власти, ни семьи. Никого у меня теперь нет, кроме тебя, Горсер.

Горсер. И моей дружины. А это немало. Так что, может, и отстроим еще пепелище твоё.

Святополк. Услышал ли тебя Анастас? Понял ли? Поможет ли?

Горсер. Не знаю. Поп этот себе на уме. Но ежели что, обойдемся и без него.

Святополк. Как?

Горсер. Войско княжеское Владимир Борису поручил. И велел идти к степному рубежу. Печенегов отгонять.

Святополк. Какие в эту пору печенеги? Они уж давным-давно на юг зимовать ушли. Пригрезилось Владимиру, что ли?

Горсер. Это я весточку через третьи руки подослал про печенегов. Чтобы полки княжеские от Киева подальше ушли. А город стеречь моя дружина останется. Смекаешь, князь?

Святополк. Вона что... Страшное ты дело задумал, Горсер.

Горсер. Страшное, но нужное. По обычаям нашим ты, Святополк, должен князем Руси стать. А обычаи – дело великое. Без обычаев ни страна, ни народ не живет, потому их беречь надо. А коли обрушит обычаи кто, пусть даже и князь, их надо восстановить. Чего бы то ни стоило. Все обычаи восстановить. Все, князь Святополк. Так я вижу вещи. А ты как их видишь, княже?

Святополк. Да. Пусть так и будет. Если уж обычаи восстанавливать, то все.

Горсер (*кланяется*). Иного и не ждал от тебя, княже.

Святополк. Но ежели... Горсер, ежели что... Ведь тогда не темница нам, а плаха. Понимаешь ты это?

Горсер. За такое великое дело я и на плаху готов.

Входит Мстивой.

Святополк. Ты кто, отрок?

Горсер. Это, княже, дружинник мой ближний. Звать Мстивой. Это он сумел так весть о печенегах принести, что все поверили.

Святополк. Молодец. Возвеличь его за это, Горсер. И за мной служба тоже не пропадет.

Мстивой кланяется.

Горсер. С чем пришел-то, Мстиша?

Мстивой. Братья-князья Борис и Глеб жалуют сюда. Увидеть князя Святополка желают.

Святополк. А я не желаю. Ни видеть, ни слышать ублюдков греческих.

Горсер. Пошто, княже? Прими. Узнаем, чего хотят. Да и неподобно с ними так обращаться. Все же княжеской крови.

Святополк. Ладно. Зови их, Мстивой. Оно и верно, надо послушать, что говорить будут.

6

Мстивой вводит Бориса и Глеба.

Глеб. Здравствуй, брат Святополк.

Борис. Мы пришли поздравить тебя с тем, что немилость отцовская отошла от тебя.

Святополк. И я рад, что вы рады. Мне ведь тебя, Борис, тоже поздравить надлежит. Что ж, поздравляю.

Борис. Но то не моя воля и не мое желание было – наследником становиться, а его, князя Владимира. Как могу я пойти против отцовской воли?

Святополк. Ну, это понятно. Против такой-то воли кто пойдет? Никто не откажется.

Борис. Не веришь мне? А я правду говорю. Власть великая – это заботы великие и грозные. А мне они не по сердцу. Мне больше другое любо.

Святополк. Чего же тебе любо вместо дел господарских?

Борис. Вот... Как рассказать-то? Не сразу и придумаешь... Вот ты, Святополк, пахать хорошо умеешь?

Святополк. Чего?

Борис. Ну, сошник из борозды на повороте не вырывает у тебя?

Святополк. Да я как-то не пробовал. Ни пахать, ни сеять. А ты чего, Борис, пашешь там у себя в Ростове, что ли?

Горсер и Мстивой тихо смеются.

Борис. Я князь народа-землепашца. Как я могу управлять, не зная и не понимая того, чем занят народ мой? Вот ныне, как новые деревни на мордовских землях ставил, я сам не единожды за плуг брался. Чтоб первую борозду для селян провести. Мужикам в честь это. Тогда уж они стараться будут. Богатеть. И Русь вместе с ними. Вот что мне любо, Святополк. Землю расстраивать и заселять.

Святополк. Княжье дело испокон веков суд и война. Суд и война, Борис.

Борис. Не только.

Святополк. Только, Борис, только. Вспомни пращуров наших. Пахал ли Святослав? Строил ли деревни Вещий Хельгу?

Борис. Они были конунгами варяжскими, потому и сами воинами только и были. Ныне не так. Ныне князь – это глава всего народа, а не только предводитель викингов.

Святополк. Чего ж поменялось-то со времен Святославовых?

Борис. Вера. Теперь она одна у нас. Оттого и народ один. Теперь русский – это не только князь да его дружинник, но и каждый на Руси живущий. И купец, и мастеровой, и пахарь. Все они теперь тоже русские.

Святополк. Это что ж, по-твоему, выходит, что смерд тоже русич, как и я или вон Горсер?

Борис. Не по-моему, а по-христиански. Перед Христом все мы равны.

Горсер (*чуть кланяясь*). Ну, ты тогда уж и лапти плести научись, князь русский.

Борис. Ты... Как смеешь в беседу княжью вмешиваться? Как смеешь такое князю говорить, холоп?!

Горсер (*выпрямляясь и кладя руку на рукоять меча*). Я тебе не холоп, Борис.

Глеб. Что вы? Что вы? Борис, пошто обидел честного мужа? А ты не бери к сердцу, боярин. Не подумав это Борис сказал. Сгоряча. (*Мстивою.*) А ты чего так смотришь на меня, парень?

Мстивой. Да так. Вблизи посмотреть захотелось. (*Отходит в сторону.*)

Борис. Правильно ты, Глеб, говоришь. Погорячился я. Прости меня, боярин. Как христианин христианина.

Горсер. Как христианин? Прощаю.

Борис. Вот и ладно. Прости и ты, Святополк, коли чем не по сердцу речи мои пришлись. И пора мне. Войско в степь уволю. Дел много.

Глеб (*Мстивою*). Проводи-ка нас, парень.
 Горсер. Ступай, Мстиша, ступай.
 Борис, Глеб и Мстивой уходят.

7

Горсер. Слышал, княже?! Этот сучонок еще и великим князем не стал, а уже холопов своих в боярах русских видит!

Святополк. Слышал, Горсер, слышал. Лучше б мне оглохнуть, чем слышать, чего он тут говорил. Погубят Русь князья такие.

Горсер. Верно, княже. Корень русский такие вот погубят. Из воинов сделают русичей смердами да холопами. Это он, думаешь, откуда взял про то, что князь первую борозду пашет?

Святополк. От ветра головы своей он это взял.

Горсер. Нет, княже. Он это взял оттуда, откуда и веру свою. Из Греции. Это там, чёл я, базилевсы издревле сами первую борозду проводили.

Святополк. Ну, понятно. Мать научила.

Горсер. Так что ж, Русь таким вот отдавать? Веру пращуров своих отдали, так теперь и власть им отдай. А потом чего? И сами в холопы им отдайся?! Так-то вот обычаи чужие к себе пускать. Они полегоньку-помаленьку, под себя да под себя. Курочка – она по зернышку клюет. А потомхватишься, ан тебе-то на своей же земле, на отчине и зернышка уже не осталось. Так-то вот, княже. А ты говоришь: на плаху. Умереть не страшно – страшно жить так, как сейчас живем. С чужой верой, с чужой властью.

Входит Мстивой. В руках у него дорогая чаша.

Горсер. Чего это ты припер, Мстиша? Кого ограбил-то?

Мстивой. Князья Борис и Глеб дарят тебя, Горсер, за обиду вот этой золотой чашей, полной драгих камней. (*С поклоном ставит чашу на стол.*)

Святополк (*перебирая камни*). Щедрый дар. Это по-княжески. Как Владимир говорит: с золотом не добуду себе дружину, а с дружиной всегда добуду золото.

Горсер. Да. Так он сказал. Это когда мы один раз на пиру в шутку говорим: чего это, князь Владимир, ты нас из деревянных ложек кормишь? Дружине твоей неподобно с дерева есть! Мы-то шуткой, по пьяному делу. А он на следующий же день всем нам ложки золотые дал. И вот эти слова сказал.

Святополк. Думаешь, прав он?

Горсер. И прав и не прав.

Святополк. В чем же не прав?

Горсер. А в том, что богатством своим и щедростью похвастался. Ведь это не только люди

видели, но и боги. А боги завистливы. Ох, как завистливы.

Мстивой. Почему? Не пойму я тебя, боярин. Чему богам у людей завидовать?

Горсер. А вот такая уж, Мстиша, у них, у богов, натура. Завистливы, ревнивы, мстительны. Потому с ними очень осторожно надо. Очень. Но и не бояться. Увидят, что боишься, – съедят. Потому чтить их чти. Они всё ж родичи наши старшие. Но и свою честь не забывай. Блуди. Не унижайся. Не ползай на коленях перед ними, как грек какой-нибудь. Иначе боги уважать тебя не станут.

Святополк. Все-то ты знаешь, Горсер.

Горсер. А как же! Я свободный человек, а знание вещей – привилегия свободных. Вот взгляни на камни эти. В них тоже многое знание скрыто. Как нарождалась земля, боги камням часть своей силы отдали. Вот это, глянть, смарагд, еще иначе кличут его изумрудом. Это камень бога Фрера. Хорошо лечит раны, помогает земле родить добрый урожай. И людям тоже помогает потомством обзавестись. А вот бирюза – камень воинов, камень бога Тора. Дает силу рукам и крепость духу. А это аметист – камень бога Одина. Ему Один передал мудрость свою. Потому аметист мозги прочищает, делает ум острее.

Святополк (*насмешливо*). Ну а вот это чей камень?

72

Горсер. Это... (*Мстивою.*) Мстиша, ну-ка положи аметист на место. Ты и без него умный. (*Святополку.*) Это, княже, рубин. Камень бога Локи. Богавесельчака, бога-шутника, бога-игруна. Только игры его для нас, людей, порой опасны, а шутки иные злы. Потому Локи – самый опасный бог.

Святополк. Эх, Горсер. Давай-ка теперь я расскажу тебе о силе камней. (*Берет горсть.*) Вот столько стоит один воин в доспехах и на коне. А вот это (*берет в руки чашу*) – целый полк бронной конницы. Вот в чем сила камней драгоценных. Единственная. Но другой и не надо.

Горсер. Так думаешь? Ну что ж. (*Протягивает чашу Святополку.*) Возьми, князь. И превращай их в конницу.

Святополк. Одного полка мало. У Бориса их пять.

Горсер. То-то, княже. Не камни драгоценные и не злато дают воинов да власть. А власть дает злато да воинов. Вот что понимает князь Владимир, ох как хорошо понимает. И ты пойми это.

Святополк. Власть у Бориса.

Горсер. Нет. У него не власть, а пять полков воинов. А семьи этих воинов, родня-порода их здесь, в Киеве, у нас. Поэтому у кого в Киеве власть, у того и над войском власть.

Святополк. А в Киеве власть у Владимира.

Горсер. Который болен и с постели не встает.

Святополк. Но может встать. Он еще крепок.

Горсер. А может и не встать. Тогда в Киеве останешься ты... и моя дружина. И власть. Которая тогда на земле валяться будет. Руку протяни – и возьмешь. Но это только если наследник Борис и войско киевское в тот час подале от Киева будут. Вот как сейчас. В степи. Так что, князь, встанет от болезни своей Владимир или не встанет?

Святополк (*ошарашенно*). Даже такое ты задумал?

Горсер. Не спрашивай, а говори: хочешь ли, чтоб выздоровел убийца отца твоего, насильник матери твоей?

Святополк. Нет. (*Подходит к иконе, молится.*) Не мой это грех, Господи. Не мой, а Владимира. Он сам меня вынуждает. А может, такова воля Твоя? Может, суждено мне мечом Твоим карающим стать и наказать убийцу и насильника Владимира? Может, так, Господи? Твоя это воля? Ведь без нее ничего не творится в мире. Значит (*Горсеру*), твоя. Не выживет Владимир, если на то Божья воля. И не спрашивай меня больше об этом. Не спрашивай!

Уходит.

8

Горсер. Да. Воля богов. Что она без людских дел? Ничто. (*Берет в руки рубин.*) Ах, Локи, Локи. Вот какие у тебя шутки. (*Мстивою.*) Знаешь, Мстиша, годов так двадцать назад, до христианства еще до этого, пошли мы походом на болгар. А молодые все еще были, и я, и Владимир, и прочие, шли дуром, засады не ждали, не береглись, кольчуги в тороках у седел. Сейчас бы я так не сунулся, а тогда... Ну, коли засады не ждали, она и случилась. В лесу. Навалились со всех сторон. А болгарин один копье в спину Владимиру метнул. Саженой с трех. Не жить бы князю. Я Владимира тогда собой закрыл. Левый бок насквозь мне копье пробило. Вот здесь вот. И по сей час шрам.

Мстивой. К чему ты это, боярин? Не пойму я чего-то.

Горсер. Не понимаешь? А и ладно. Вот что, Мстиша. Ты зараз возьми сотню... ту самую. И смени ею стражу в тереме князя Владимира.

Мстивой. Понимаю.

Горсер. Тебя старшим над ними ставлю, Мстиша.

Мстивой. Понимаю.

Горсер. Честь тебе великая выпала. Князя всея Руси... охранять.

Мстивой (*падает на колени*). Благодарю, боярин. За это... по гроб жизни тебе... И мечтать о таком не мог.

Горсер. Встань, Мстиша, встань. Негоже русичу на коленях стоять. Ни перед кем.

Мстивой встает.

Горсер. И запомни: как с Владимиром что случится, я об этом должен узнать даже раньше, чем сами боги. Понял меня?!

Мстивой. Узнаешь, боярин.

Горсер. Ступай. Исполняй службу.

Мстивой убегает.

Горсер (*снова глядя на рубин*). Ох, Локи. Шутник Локи. Игрун Локи.

Появляется Анастас. Он чем-то очень расстроен, даже ошарашен. В руках держит грамоту.

Горсер. Что это с тобой, поп Анастас? Не приболел?

Анастас хочет что-то сказать. Но у него не получается.

Горсер. Да что стряслось-то у ты? Ты смотри не помри мне тут. Раньше Владимира. Ну-ка, садись. Садись к столу. Давай-ка подмогну. Зараз я вина тебе, друже Анастас. Вот... Пей, пей, пей. На еще. Не хочешь боле? А, хочешь! Молодец. На. Вот так. Пей, пей, пей. Ай, хорошо. Ну, пришел в себя? Продышалси? Тогда сказывай: чем это тебя так ушибло?

Анастас (*поднимает руку с грамотой*). Вот этим.

Горсер. Чего в ней?

Анастас. Только что гонец принес. Из Болгарии. Вот. Писано тут, что базилевс Василий вторгся в Болгарию. Разбил болгарское войско и взял без малого пятнадцать тысяч пленных.

Горсер. Ну и?

Анастас. И всех пленных ослепил. Выдрал глаза болгарам крючьями раскаленными. Лишь в каждой сотне одному человеку велел один глаз оставить. Чтоб отвели эту толпу слепцов по домам.

Горсер. Ну?

Анастас. Не веришь коль, чти сам. (*Дает Горсеру грамоту.*)

Горсер (*читая грамоту*). Мать твою... Вот чего христиане над своими творят. Вот те и базилевс. Вот те и божественный.

Анастас. Сатана он! Зверь древний, а не базилевс!

Горсер. Ну, ты, друже Анастас, тоже... тово... говори, да знай меру. Это все же родня нашему князю Владимиру. Шурин как-никак. Если у Владимира шурином Сатана, то кто же тогда Владимир?

Анастас. Владимир и в язычестве такого не творил.

Горсер. Ну, это я получше тебя знаю, чего он там творил, чего нет.

Анастас. Нет, Горсер. Не должно быть такого на Руси. Мы тут иначе все устроим.

Горсер. Ничего ты здесь больше не устроишь, Анастас. А я ведь не спуста тебе прошлый раз баял, что цена голове твоей в Константинополе давно назначена. Мне о том доподлинно известно. На расправу грекам тебя теперь, конечно, не выдадут, однако и во главе церкви русской тебе не устоять. Пришлют из Греции нового. Который базилевсу по душе больше придется. Нахлебаемся тогда.

Анастас. Нет! Не бывать тому! Не отдам я церковь русскую, мною созданную, выпестованную, слугам Сатаны-базилевса! Потому и шел к тебе, чтоб сказать...

Горсер. Ну-ка, ну-ка.

Анастас. Напишу я князю Борису, как ты меня даве просил. Уговорю уступить престол Святополку.

Горсер. Умней речи я давно ни от кого не слышал, Анастас.

Вбегает запыхавшийся Мстивой.

Горсер. Мстиша?! Ну?! Чего?!

Мстивой. Князь Владимир... только что... *(Машет рукой.)* Того... К предкам ушел...

Анастас. О Господи! *(Встает, подходит к иконе и начинает креститься, шепча молитву.)*

Горсер *(тихо)*. Мстиша. *(Подходит к Мстивою.)* Не брешешь, Мстиша? *(Хватает его за грудки.)* Не брешь, а?!

Мстивой. Нет, боярин. Я сам. Самолично. Глаза закрывал. *(Косится на молящегося Анастаса и тоже пробует креститься.)*

Горсер *(перехватывает его руку)*. А не надо, Мстиша. Теперь уже не надо. Поигрались с этим. И будя.

Занавес

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

На сцене Святополк и Горсер.

Святополк. А ведь и впрямь получилось все, как ты задумал, Горсер. И Борис по письму Анастаса отрекся от прав своих на престол, отпустил войско назад в Киев. И народ киевский принял меня как князя своего.

Горсер. Ну еще бы, такой пир им закатали.

Святополк. Не жалко. Зато теперь я великий князь Руси.

Горсер. Ой ли?

Святополк. А что? Что смущает тебя, Горсер?

Горсер. Князь Борис.

Святополк. Не пойму. Что не так с Борисом? Анастас все миром между нами уладил. За то, что Борис отрекся, я ему дарю еще два города к его Ростову. Вот и грамота об этом уже составлена и мною подписана. *(Кладет на стол свиток.)* Кстати, потому и звал тебя я, чтоб ты ему грамоту эту отвез. Он ждет тебя на реке Альте.

Горсер снимает с пояса меч и бросает его на стол рядом с грамотой.

Горсер. Вот какую грамоту ему надобно отвезти, княже. Коли уж он так глуп, что войско отпустил и один в стане остался.

Святополк. Ты что? Ты что, Горсер? Почему?

Горсер. Потому что ничего не кончилось еще. Начинается только. Слишком просто хочешь высшую власть получить, княже. Слишком просто. А так не бывает.

Святополк. А как бывает?

Горсер. А вот так. Вернется сейчас Борис к себе в Ростов. А там его бояре, которые уже нацелились великокняжескими боярами стать. А там его княгиня, ей думаешь великой княгиней стать да в Киеве жить не хочется? И начнут они Борису на душу капать. Говорят, ночная кукушка дневную перекукует. А здесь ночная кукушка в один лад с дневными куковать в уши Борису будет. Не дадут они ему покоя ни днем ни ночью.

Святополк. Так что же, чтоб мне княжить, Борису умереть надо?

Горсер. Не только. И Глебу.

Святополк. Его-то за что? Глеб – овца. Никогда он ничего не затеет.

Горсер. Глеб – овца, а бояре у него волки матерые. Князя у них отнять надо. А есть еще самый страшный для тебя враг – князь Ярослав в Новгороде. И его придется к прашурам отправлять.

Святополк. Так что, всех, что ли? *(Проводит рукой по горлу.)*

Горсер. Всех. Единственным Рюриковичем на Руси должен ты остаться, Святополк. Только тогда княжить спокойно сможешь. Владимир так князем и стал. Всех перерезал. И отца твоего тоже.

Святополк. Не знаю, как решиться на такое. Страшно же это, Горсер. Страшно.

Горсер. А как ты хотел, княже? Такая она, высшая власть. Такая у нее цена.

Святополк. Так, может, ну ее, цену такую... Самому отречься и...

Горсер. И тогда убьют тебя! С дороги к власти, князь, на полпути не сворачивают. Тут уж до конца пройти придется. Или на престол, или в могилу. *(Пауза.)* Так что, княже, какое послание мне Борису отвезти? *(Показывает на грамоту, потом на меч.)* Это или это?

Святополк подает Горсеру меч.

Горсер. Правильно, княже. И я послание это Борису отвезти не замедлю.

2

На сцене Б о р и с. Он молится перед иконой. Входит Я н.

Б о р и с (*удивленно*). Ян? Почему вернулся, боярин?

Я н. В Киев не пойду. Чую, пакость там какая-то затевается.

Б о р и с (*поднимаясь*). О чем ты, Ян? Какая может быть против тебя пакость? Брат твой, Горсер, в чести у князя Святополка.

Я н. Вот это-то меня и тревожит. Да и не против меня затевается, князь, а против тебя.

Б о р и с. Против меня? Но почему? Я же отказался от престола великокняжеского, уступил дорогу старшему брату своему. Чем я ему мешаю?

Я н. Тем, что ты есть. Тем, что по земле ходишь. Тем, что дышишь. Тем, что живешь. Тем, что люди помнят про завещание Владимира. И ты сам про него никогда не забудешь!

Б о р и с. Прекрати, Ян! Вот. (*Достает свиток*.) Вот грамотка от князя Святополка. Чти. Там он сам пишет, что благодарен мне и в знак любви братской дает княжеству моему еще несколько городов. На! Чти!

Я н (*отбрасывая грамоту*). Сие им писано, когда у тебя под рукой войско было. А зараз, как ты один остался, Святополк и на эту грамотку, и на любовь братскую хрен положит!

Б о р и с (*садится и говорит устало*). Эх, Ян, будет в Киеве сидеть князь Святополк или князь Борис, какая Руси разница?

Я н. Вокруг Святополка язычников полным-полно – вот такая разница.

Б о р и с. А брат твой?

Я н. Горсер-то? Первейший!

Б о р и с. Давно знаешь про это?

Я н. Всегда знал.

Б о р и с. И молчал?

Я н. Да... брат же он мне. Старший. В отца место.

Б о р и с. А Святополк мне брат. И тоже в отца место.

Я н (*вздыхая*). Да так-то оно вроде и так, только... Горсер-то меня убивать покуда не затеял.

Б о р и с. Ну, что ты хочешь от меня, Ян? Я же христианин, я простить брата своего должен.

Я н (*оживленно*). И простишь! Только опосля. А сначала вот что. В Новгород пойдем. Прямо сейчас, ни мал час не медля. К князю Ярославу. Там войско у него. Вот как эти полки у тебя под рукой будут, тогда и прощай брата своего. Сколь влезет прощай!

Прощение от сильного принимают! Прощение слабого кому нужно?

Б о р и с. Эх, Ян. Хороший ты человек, и умный, и преданный князю своему. А не понимаешь ты кой-чего. То, что мне ясно, не понимаешь. Главного. И как тебе объяснить-то это, не ведаю.

Я н. И чего же такого главного я не понимаю?

Б о р и с (*показывая на лавку*). Сядь рядом со мной, Ян.

Ян садится.

Вот ты говоришь: пойдем в Новгород. (*Вздыхает*.) Это ж война, Ян. Война! Понимаешь ты это или нет?

Я н. Ну, знамо дело, война.

Б о р и с. А значит, и деревни разоренные! И города сожженные! И убитыми все завалено! И гарь от пожаров! И мертвечиной воняет! И воронье над трупами!

Я н. Ну, так война другой и не бывает, князь! Она испокон веку так выглядит!

Б о р и с. Знаю! Я сам воин и на ратях бывал! Но не на своей же земле такое творить!

Я н (*подскакивая с места*). Так не ты же первый начал! А Святополк!

Б о р и с (*спокойно*). Ян, а вот тому смерду, у которого ратники запасы пограбят, коней сведут, женку и дочь понасилят да хату спалят, – ему не все ли равно, кто там из князей первым начал? И простит ли он меня тогда? А ведь он, смерд, хоть и слабей меня стократ, а прощение его мне нужно будет. Ох, как нужно.

Я н (*удивленно*). Вона как рассуждаешь!

Б о р и с. А как иначе, Ян? Как иначе? Если мы, князья русские, будем не беречь свою землю, народ свой, а, наоборот, зорить его, то на кой черт мы, такие князья, нужны?

Я н. И значит?..

Б о р и с. Значит, не будет войны, Ян. И хватит об этом. Я уже все решил.

Я н. Понятно. (*Вздыхает*.) Ну, тогда прощай, князь Борис. (*Кланяется в пояс*.) Отъезжаю я с твоей службы на службу к князю Ярославу. И не держи сердца на меня, коли что не так было. Вишь, смерду-то оно, может, и все равно, а мне вот нет. Мне совсем не все равно, я убивать буду или меня.

Б о р и с (*вставая*). Прощай, боярин Ян. Недолгая твоя служба мне была, но честная. Помогай тебе бог.

Обнимаются. Ян уходит.

3

Б о р и с. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек, по правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня.

Будь мне каменной твердыней, домом прибежища, чтобы спасти меня.

Появляется Горсер с двумя дружинниками.

Горсер делает знак дружинникам остановиться, а сам проходит за спину к Борису.

Борис. В Твою руку предаю дух мой, Ты избавлял меня, Господи, Боже истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю.

Горсер. Хватит, князь. Поднимись. Русские на коленях не молятся.

Борис (*поднимаясь*). Это ты? Привез послание от брата моего Святополка?

Горсер. Привез.

Борис (*протягивает руку*). Давай.

Горсер. Оно не на пергаменте, князь.

Борис. На словах?

Горсер отрицательно качает головой.

Борис. Тогда что за послание? Немедля дай мне его!

Горсер обнажает меч.

Борис. Вот как. Такое послание мне от брата?

Горсер. Да, Борис.

Борис. А ты, стало быть, палач? Эх, Горсер, Горсер, а еще обиделся на меня давеча, что холопом в сердцах назвал тебя. Холоп ты и есть! Какой воин палачом стать согласится?

Горсер. Ошибаешься, Борис. Я не палач. (*Берет меч Бориса и протягивает его рукоятью вперед*.) Возьми меч, князь. Умри как подобает.

Борис. Нет, Горсер, не возьму. Да если бы я захотел, то не один, а десять тысяч мечей поднял бы на Святополка, но я не хочу. И не подниму меч на брата своего.

Горсер. Я-то не брат тебе. На меня меч подними. Не хочу безоружным убивать тебя.

Борис. Ты посол брата, а значит, все равно что он сам. Я не возьму меч. А ты делай то, зачем приехал.

Горсер. Бери меч, Борис! Умрешь безоружным – судьба тебя ждет страшная, жуткая. В Хельхейм попадешь. Тенью бесплотной вечно будешь бродить там по царству старухи Хель. Без памяти, без мысли, даже без цвета. И это навеки! Хоть и не люб ты мне, Борис, а не желаю я тебе участи такой.

Борис. Изыди, Сатана. Лжешь ты, и вера твоя – ложь, и боги твои – ложь тоже.

Горсер (*в гневе*). Возьми меч! Не сумел по-мужски жить, умри хоть по-мужски! Умри как князь!

Борис (*протягивает руку к мечу и тут же отдергивает*). Нет!

Горсер. Ну что ж. (*Отбрасывает меч Бориса*.) Тогда умри как раб!

Рубит Бориса своим мечом.

Горсер (*показывая на тело Бориса дружинникам*). Возьмите его. Отвезем подарок великому князю Киевскому. (*Подходит к иконе и с усмешкой грозит ей пальцем*.) Плохой Бог. Почему не спас? Почему не защитил? Мало он молился тебе, что ли? Мало даров принес? Мало церковью тебе построил? А ты не выручил. Плохой ты Бог. Слабый Бог.

Дружинники. Э, да он жив! Горсер, он шевельнулся.

Горсер. Чего городите? Мерещится вам, что ли?

Борис со стоном шевелится.

Горсер. О боги! Это еще что?

Борис пытается встать.

Горсер. Добейте его! Чего встали?! Режьте!

Дружинники наносят Борису удары мечами. Тот падает.

Горсер. Ну?

Дружинник. Все, Горсер. Больше не шелохнется.

Горсер медленно подходит к телу и внимательно вглядывается в него.

Дружинник (*с усмешкой*). Постарел ты, видать, Горсер. Такого щенка – и с одного удара не убить.

Горсер. Замолчь. (*После паузы*.) Чего встали? Уберите его.

Дружинники уносят тело князя.

Горсер. Как там у Мстивоя? Хоть бы ладно все прошло.

Уходит.

4

Появляется Мстивой. С ним несколько дружинников. Волокут связанного князя Глеба. Дружинники бросают князя и отходят, отставляя Мстивоя с Глебом наедине.

Глеб. Что ж вы творите? Креста на вас нет.

Мстивой. Почему нет? Вот он. (*Вытаскивает из-за ворота нательный крестик*.) А чего? Мне умные люди объяснили, что он не тяжелый. Я попробовал – и впрямь не тяжелый.

Глеб. Тогда как же не боишься ты Бога? Святополк Каином новым стать хочет. А ты что ж, слуга Каинов? И не страшно?

Мстивой (*пряча крестик*). Не-а, не страшно. В детстве страшно было, когда вот таким вот крестом, только размером поболее, деду зубы вышибали. Целовать заставляли. Тогда страшно было. А зараз – нет.

Глеб. Да то ж разве истинные христиане делали над твоим дедом? То такие ж дураки, как и ты.

Мстивой. Э-э-э. Дураки, да не такие. Другие. Я никого в свою веру насильно не забиваю. И не говорю же тебе, сними, дескать, крест, и я тебе жизнь оставляю. Так что я, может, и дурак, да человек-то лучше, чем вы.

Глеб. А я бы и не снял. Никогда не отрекись от Христа. Я раб ему верный.

Мстивой. Раб верный? Эх, ты! Князь, а дурень. Рабов верных не бывает. Только свободный может быть верным. А рабов верных не бывает. И я тебе это сейчас докажу. *(В сторону.)* Эй, парни! Волоките сюда этого... раба княжьего, как там его... Торчин, что ли? Давай его сюда! *(Глебу.)* Сейчас посмотришь, князь, какие у тебя рабы были верные.

Дружинники выводят Т о р ч и н а. Мстивой подходит к нему и некоторое время пристально смотрит в глаза.

Мстивой. Ты жить хочешь?

Торчин. М-м-м... Дак... Это...

Мстивой. Чего ты тут «му-у», «му-у»? Я спрашиваю: жить хочешь?!

Торчин. Знамо, хочу.

Мстивой. Хорошо. Вижу, умный. А свободу хочешь?

Торчин. Хочу.

Мстивой. Тоже хорошо. Ну, а коли так... *(Достает кинжал.)* Вот тебе цена свободы твоей. *(Кивает головой в сторону Глеба.)* Понял, какая цена? Коли понял, бери нож.

Торчин мнется.

Мстивой. Ты чего, а? Этот нож сейчас или в тебя, или в господина твоего. Выбирай. Тебе решать.

Торчин берет нож, делает несколько шагов к Глебу, останавливается, хочет вернуться.

Мстивой *(хватает Торчина за шиворот)*. Куды, паскуда?! А ты как думал?! Думал, у свободы цена дешевле?! Нет! Вот она какая! *(Толкает его к Глебу.)* Режь, стерво, или я тебя прирежу!

Торчин в отчаянье начинает резать Глеба кинжалом. Через несколько ударов один из дружинников хватается за руку.

Дружинник. Хватит, хватит. Ишь, разошелся. Пряма берсерк какой-то! Понравилось, что ли, людей резать?

Торчин, пошатываясь, подходит к Мстивую и протягивает ему кинжал.

Мстивой. Себе заberi. Награда. Заслужил.

Торчин. Я... это...

Мстивой *(не глядя на него)*. Пошел вон. *(Пауза.)* Чего стоишь тут? Оглох, что ли? Вон пошел, говорю. Ты свободный теперь. Вали куда хошь, только подале отсель.

Торчин уходит.

Дружинник *(Мстивую)*. А к нам в ватагу его? Князя своего зарезал, дак не сблодит.

Мстивой. Чтоб он при случае и нас вот так же прирезал? Нет уж. Кто раз предал, теперь всегда предавать будет. И раб он. По нутру своему раб. Думаешь, он куда сейчас пойдет? Он, холопыя душонка, господина себе нового искать сейчас

начнет. Есть такие, есть, не могут свободными быть. Не умеют. Боятся. На брюхе им перед кем-то всегда ползать надо. Тьфу. Такие для меня и не люди вовсе.

Дружинник. А чего отпустил тогда?

Мстивой. Обещал, дак и тово.

Дружинник. И что такому слово держать? Сам же баешь – холоп.

Мстивой *(глядя дружиннику в глаза)*. Его обману – ты мне потом как поверишь?

Дружинник *(усмехается)*. Ишь ты. Ну, можа, и верно. Только вот расскажет еще кому-нибудь.

Мстивой. Ага. А заодно расскажет, как князя своими руками прирезал, да? Молчать он, сука, будет. Всю жизнь молчать.

Дружинник. И то верно.

Мстивой. Ладно. За разговорами и дотемна не управимся. Берите князя и везите к боярину Горсеру. Пусть порадуется. Да смотрите коней там не запалите. *(Усмехается.)* За лошадок Горсер строго спросит.

Все смеются. Дружинники уносят тело Глеба.

Мстивой уходит следом.

5

Появляется Г о р с е р. Видно, что он в подпитии. В руках кувшин с вином и чаша. Оборачиваясь, кричит кому-то, продолжая разговор: «Как орда Инанчи-бека подойдет, сразу же поднимай остальных печенегов и, не стряпая, вслед Святополку идите. Я нагоню». Садится за стол.

Наливает. Пьет.

Горсер. И кто бы подумать мог, что Ярослав Хромоножка все-таки сговорит с новгородцами да на нас выступит? А нам тут теперь возись с этими харями печенежскими, нанимай их, принимай, угощай.

Появляются Анастас и Илларион. Не глядя на Горсера, идут мимо.

Горсер *(радостно)*. О, Анастас! Боги-боги, какие гости-то в терему князем. Куда собрались-то, рабы Божьи? Меня прощать не хотите, можно вам туда аль нет? Анастас, а кто это с тобой? Пошто я его не видал в Киеве досель?

Илларион *(останавливаясь)*. Звать меня Илларион. Я монах из...

Анастас *(дергая Иллариона за рукав)*. Не о чем с ним разговаривать.

Горсер. Это еще что? А ну, стой. Погоди, поп. А чего это ты со мной поговорить не хочешь? *(Встает и преграждает священникам дорогу.)* Чем это я тебе плох? И чего вы тут пришли в княжий терем? На ночь глядя. Ходите. Бродите. Чего ходите? Зачем бродите? Поучаете? Наставляете? Почему меня не

поучаете? Почему меня не наставляете? Я что, не такой, как все?

Анастас. Мы ко князю Святополку. Пусты, боярин.

Горсер. Князь Святополк еще намерен вечером с дружиной и ратью киевской вышел встречать братца своего Ярослава. От так. Так что, попы, спешить вам некуда. И идти не к кому, кроме меня. Посему садитесь. Выпьем со мной. Поговорим-покалякаем. Ежели желаете, даже о Христе поговорить можем. Ради гостей дорогих послушаю.

Анастас. Выходит, князь на битву пошел, а ты, воевода сраный, в Киеве остался. Отсидеться решил?

Горсер. А знаешь, я тебя прощаю. И речи твои нелепые к сердцу не беру. Потому не ведаешь ты, чего городишь. Я тут не отсиживаюсь, а печенегов встречаю. Понял? Как все соберутся, следом за Святополком выступлю. Уж не умедлю. Очень мне хочется Ярославу хромоногую и вторую ногу свернуть. А то прыток больно.

Анастас. И пьянствуешь!

Горсер. И чего? К утру опять трезвым стану.

Анастас. А нехристи эти что творят вокруг, тебе ведомо? Монастырь теребовлицкий сожгли и пограбили.

Горсер. Это какие именно нехристи?

Анастас. Печенеги.

Горсер. А-а, эти. Ну, эти – да... Не могут они иначе. И воспретить нельзя – уйдут. Заскучают и уйдут. Да ты не печалься, Анастас, я их уведу скоро. Садись поговори со мной. Садись. Ты должен со мной говорить. Я ведь по вашей вере кто? Я овечка заблудшая. Так ведь? Со мной говорить надо.

Анастас. Волк ты кровожадный, а не овечка.

Горсер. А вот тут ты дурак получаешься, а не поп. Я не волк, я волкодав. Понял разницу? Волк стадо режет, я охраняю.

Анастас. И сам его жрешь!

Горсер. Ну а как ты хочешь? Уж так устроено. Вот смотри: охраняет овчарка стадо. А хозяин ее за это мясом кормит. Так он, по-твоему, это мясо где берет-то? Неужто на стороне покупает, а?

Анастас. И в чем разница, коли так?

Горсер. А разница в том, что волк убивает своевольно, а овчарка – только того, на кого хозяин покажет. Потому: волку – смерть, волкодаву – хозяйская ласка.

Илларион. А любовь?

Горсер. И любовь. Хорошего хозяина почему не любить?

Илларион. Да я не о том. К стаду любовь как же? Стадо-то ты любишь, овчарка?

Горсер. А на кой ему моя любовь? Оно от моей любви не отучнеет. Стаду от меня нужно, чтоб порядок был. Чтоб все своим чередом шло. По-старому, по-обычному, как от дедов-прадедов повелось. Это называется – закон.

Илларион. Закон? (*Задумчиво.*) Нет. Не так. Что-то не так тут говоришь ты. И закон, конечно, нужен, но...

Анастас (*прерывая*). Да о чем ты с ним толкуешь, отце Илларион? Что объяснить хочешь? Это же монстр! Вампир кровожадный!

Горсер. Слушай, Анастас, хочешь меня ругать – давай ругай по-русски. Бо я не понимаю, чем это таким ты меня облял.

Анастас. Упырь! Так понятно?

Горсер. Вот. Совсем другое дело. Упырь – понятней и красивше даже как-то. Только непонятно, чего это я упырь?

Анастас. Потому что ты из тех овчарок, что и хозяев режут.

Горсер. Эва как! Это ты мне что, этих ублюдков греческих, Бориса с Глебом все вспоминаешь? А себе чего не вспоминаешь? Кто грамоты писал, уговаривал Бориса уступить престол брату старшему, Святополку? Я, что ли? Ты, поп.

Анастас. Я же не знал, что их убивать задумали!

78

Горсер. Что ты мне прикидываешься тут?! Не знал он! В Константинополе возрос и не ведал, как за власть борются, да?! Все ты понимал и все ты знал! А зараз строишь тут из себя...

Анастас. Лжешь! Не понимал я тогда. Я ж думал, здесь, на Руси, все по-иному должно быть. Не как в Константинополе! Там уж давно все в пороке погрязло. А здесь я хотел, чтоб все по-иному. По-христиански чтоб! Без крови!

Горсер. По-христиански? Без крови? Ах ты, сирота-сиротинушка. А когда ты вместе с Добрыней Новгород огнем и мечом крестил, когда вы там жгли да резали, ты тогда ишшо Христу не веровал?! А на Ростов, вспомни-ка, три раза походом ходили. Три раза вокруг города все выжгли. Неужто без крови обошлось?! И еще он мне тут будет говорить, что я упырь! С меня спрос за кровь невелик. А вот ты-то пошто такой кровожадный? Тебе вроде не положено.

Анастас (*в ужасе*). Кто говорит со мной устами этими?

Горсер (*удивленно*). Во как. Анастас, кто из нас пьяный: я аль ты?

Илларион (*Горсеру*). Судись ты вкривь и вкось. Не кровью вера христианская на Руси поднялась.

Горсер. Верно. Иным хватало просто в морду дать.

Илларион. А ты и впрямь овца заблудшая.

Горсер. Ну! А я чего вам с самого начала твержу? (Анастасу.) Анастас, а этот поп умней тебя. (Иллариону.) Вот и садись рядом, выпей со мной, потолкуй.

Илларион. Вот воззри окрест, боярин. Монастырь печенегии пожгли. А он уже опять строится. И никого силой туда гнать не пришлось, люди сами подтянулись. И церквей в одном Киеве сочти сколько. Никого силой строить не нудили.

Горсер. И что сие значит?

Илларион. А значит сие, что, когда кир Анастас и князь Владимир зерна веры Христовой на Руси сеяли, земля уж вспахана была. Задолго до них. Иначе не принялись бы ростки. Ни за что не принялись бы, сколь их кровью ни поливай. А так возросла вера и плоды истины дала. Сладкие. Ты б отведал, а, боярин?

Горсер. А пошто поливали тогда? Яблоню-то свою. Кровью. Коль все само бы и так взошло.

Анастас. Плевела выкашивали!

Горсер (поднимаясь). Плевела? Ах ты, ж... Вера предков наших, обычаи наши для тебя плевела, грек! Ты вота чего, Анастас, хоша мы с тобой и знакомцы старые, а ты не замай. И еще. В одном ты прав: враг у ворот, а я тут с вами пьянствую. То-то что воевода сраный. (Иллариону.) А тебе на прощанье так скажу. Коли бы князь Владимир яблочко то не надкусил, никто бы его и жрать не стал. Так бы и сгнило на ветке. Тут так заведено, понял? А не понял, так поймешь. Вот подожди, Ярослава Хромого разобьем, вернемся, тогда увидишь, как у нас на Руси заведено с этим делом.

Уходит.

6

Анастас. Как понять этих людей? Вот боярин сей и умен, и родом славен, в чести у князя Владимира и у Святополка нынешнего. Да и ни один князь такого человека местом бы высоким не обнес. А он пошел на гиблое дело. Ведь гиблое же! Ведь не повернуть ничего вспять! Не может быть, чтоб старое вернулось, когда новое укоренилось уже. А он идет. На гибель идет и сам небось знает про это.

Илларион. Все просто, кир Анастас. Он русский.

Анастас. Однако родной брат его, боярин Ян, к вере истинной сразу и всей душой примкнул.

Илларион. Ну конечно. Он же тоже русский.

Анастас. В твоих словах я не вижу логики, брат Илларион.

Илларион. Ну так ведь и я русский.

Анастас (после паузы). Я думал над этим. Третий десяток лет тут живу и постоянно об этом думаю.

Илларион. О чем, кир Анастас?

Анастас. О том, что для того, чтобы понять народ сей, надо среди него родиться и вырасти. Потому и предстоятель местной церкви из местных же быть должен. И я тебя на место сие прочу. Мне вослед.

Илларион. Может быть, ты и прав. Но Константинополь никогда не поставит русского митрополитом Руси. Ты же сам это знаешь.

Анастас. А еще я знаю канцелярию патриаршью. И знаю, как дела там делаются. Ныне Константинополь уже не тот, что при Юстиниане Великом. Ныне там за золото-серебро и эфиопа митрополитом русским сделают.

Илларион. Симония.

Анастас. Да. Симония. Взятки. И это еще самое невинное из того, что там в наше время творится. Потому вот на что благословляю тебя, брат Илларион. Ныне же езжай ко князю Ярославу. Он победит в этой войне, я вижу это. Святополк слаб перед ним. Так что быть Ярославу великим князем Руси. А князь он новгородский. Возрос там. В Новгороде же нас, греков, всегда не любили. Смекай. Стало быть, и Ярослав не любит. Значит, и митрополитом он тоже русича захочет видеть. Постарайся полюбовиться ему, брат Илларион. Вижу я, можешь ты ему по сердцу прийтись. Скажи князю, чтоб пенязей для Константинополя не жалел. И быть тебе тогда митрополитом Руси.

Илларион. По-твоему, выходит, для того чтобы церковь русскую возглавить, надо милости сильных мира сего доискиваться да взятки раздавать? А ежели я не желаю так?

Анастас. Не вижу в словах твоих ни ума, ни смысла. Неважно, как придешь ты к власти, важно, как пользоваться ею будешь. Русскую церковь крепить надо. Для этого ей и предстоятель русский нужен. Не вижу никого из русских, кроме тебя, могущего сей крест на плечи свои принять. А потому, брат Илларион, не ради себя, не ради гордыни и славы мирской, а ради церкви христианской, ради того, чтоб светоч веры на Руси не угас, дашь ты взятку патриарху. И сам брать деньги за поставления в священники будешь. И от князя и бояр деньги и земли брать. Без этого церковь слаба. А без церкви не быть вере христианской на Руси.

Илларион. Какая же это будет вера, коли через грехи и пороки ее взращивать надо?!

Анастас. Плоды сладкие из навоза растут. Из сахара ничего еще не выросло. Если для того, чтобы целый народ спасен был, нам с тобой душу свою

погубить надо, значит, так тому и быть. Моя душа уже погибла. Я ведь много страшного творил, брат Илларион. И еще натворю. Испугал меня сегодня боярин Горсер, когда начал про дела мои кровавые рассказывать. Показалось мне: сам Господь говорил устами его. А может, так оно и было. Ведаю, что место для меня в аду уже давно приготовлено. Пусть так. Зерно умереть должно, чтобы хлеба взошли. Так и моя душа умерла, но через то Русь крещена оказалась.

Илларион. Крещена ли? И досель христиане только в городах. А вокруг море темное, языческое. Без конца и края. Требы языческие под самим Киевом справляют. А если уж дальше отойти... *(Огорченно машет рукой.)*

Анастас. Лучше тебя ведаю про это. Потому и говорю: крепи церковь. Душу губи свою, не жалея, а церковь крепи. А Русь крещена. Не сомневайся в том. И доказательство тому мы своими очами узреть удостоились по милости Господа. Святые воссияли в земле Русской! Это ли не доказательство?

Илларион. Святые?

Анастас. Да, брат Илларион. Князя Борис и Глеб. Не подняли меча на брата своего. Смерть телесную предпочли смерти духовной. Они святые, без сомнения. Вот какие плоды из смрада дел моих выросли. И это утешать меня в аду будет.

Илларион. Оставь, кир Анастас. Грешно при жизни в ад собираться. Где тебе быть, никто не ведает, кроме Господа.

Анастас. Я про себя ведаю. Однажды ночью на молитве открыл Господь мне кару мою. Будет она мне и в той, и в этой жизни. В той – костры адские, в этой – забвение людское. Забудут русские про меня. Забудут про первого главу церкви своей. Забудут про того, кто крестил Русь, и славу эту другому припишут. Князю Владимиру. А князь здесь сбоку. Русь я крестил! Церковь Русь крестила, а никакой не князь. Владимир только тем и помог, что сам крестился.

Илларион. Этого немало.

Анастас. Да. Пожалуй, немало. Ну, и храмы он строил, и церковь мне крепить помогал. И сам же всю жизнь насмешки строил – и надо мной, и над верою. Помню, крестил я его в Херсонесе. Ну, он из купели выбрался. Мокрый, отфыркивается и эдак с издевкой говорит: «Ну, теперь познал я Бога истинного». И заржал во весь голос, а за ним и дружина засмеялась. Много в нем язычника еще оставалось. Но все равно его возвеличить и восславить аки святого должно. И это твоя будет забота, брат Илларион. Может быть, главная. Ибо нужны русской церкви не только русские митрополиты, но и русские святые. Потрудиться тут тебе придется. Не любили и не любят Владимира в Константинополе. Но ты ста-

райся. Не у тебя, так у потомков получится. Пусть так. Церкви спешить некуда. Теперь она на Руси навечно. Ради этого я и старался. Ради этого и на костры адовы, и на забвение людское с радостью соглашаюсь.

Илларион. Страшно тебе, кир Анастас?

Анастас. Нет, не страшно. Тяжко. Очень тяжело. В затвор уйти хочу. Подальше от мира. В леса или пещеры. Но нельзя. Очень много еще не сделано. То, что налито, должно быть выпито. Мне вот такая чаша суждена, и я не откажусь от нее. Не смогу отказать. И ты не откажешься. Вижу я это, брат Илларион. Встать тебе во главе церкви русской. Принять из рук моих чашу с сим горьким питьем.

7

Появляются Горсер и Ян. Оба одеты в доспехи.

Горсер. Пришел, не забоялся. Молодец, Ян. Хвалю за храбрость, младшой.

Ян. А чего тебя бояться? Не чудище чай лесное. Брат все же.

Горсер. Брат. То-то же, что брат. Вот и позвал я тебя на толковище это... Что ж ты против брата старшего меч-то поднял?

Ян. Я? То не я, то князь твой, окаянный Святополк, на братьев меч поднял.

Горсер. Не подними он, подняли бы на него. А коли так, лучше уж первому начинать.

Ян. Мне-то можешь и не врать, Горсер. Не Святополк начал, а ты. У князя твоего сроду духу бы не хватило затеять такое. Тот раз поляки его подзудили против князя Владимира выступить, в этот раз ты – против всей Руси. Тот раз он в остроге закончил, где этот раз закончит, не знаю.

Горсер. Говорю ж тебе, выбора не было. Ну кто бы ему княжить дал? Он же Владимиру не родной, приемыш. Чужак в роду. Твой же Ярослав первым бы в покое его не оставил. Если уж князь твой на отца родного рать готовил, то приемного брата ему прирезать – раз плюнуть.

Ян. Князь Борис, однако же, отступился. За что ж их с Глебом-то?

Горсер. Что вы все за ними печалуете? Тоже мне потеря – два грека.

Ян. По отцу-то наши. Русичи.

Горсер. А по вере? По вере считать надо, не по отцу. Так по вере они греки.

Ян *(удивленно)*. О, до чего договорился! По твоему судить, дак выходит, и я грек.

Горсер. Ты не грек, ты просто дурак. Уж не знаю, каким медом и како место они тебе намазали, что так стоишь за них.

Ян. Ты меня за этим, что ли, звал? Чтоб облаять? Ну вот облаял, ублажил душеньку. Дале чего?

Горсер. Не за этим, конечно.

Ян. Так говори дело. У меня времени нет с тобой рассиживать. Того и гляди хватятся, куда воевода пропал.

Горсер. Ну так слушай дело, брат. Не сегодня, так завтра бой. Посмотри: вся Южная Русь против всей Северной собралась. Мы так друг друга еще не резали. Кому радость от этого, окромя соседей?

Ян. Так-то оно так. Да что ж теперь сделаешь?

Горсер. А замиришься. Пусть Ярослав в Новгороде сидит, а Святополк в Киеве.

Ян. Русь надвое разорвать? А от этого кому радость будет? Не тем же соседям?

Горсер. Хрен с ними, с соседями, пусть радуются. Пока. Зато у нас все живы останутся. Главное, чтоб дружины уцелели. А то ведь завтра, как рубиться начнем, столько мяса понаделаем. Сами себя победим, тогда бери Русь кто хошь голыми руками.

Ян (*после паузы*). Раньше об этом думать надо было. А сейчас... И хорошо бы замиришься, да неможно. Никак неможно.

Горсер. Почему? Воевать можно, а мириться – нет? Так, что ли?

Ян. Ну, посуди сам. У нас три тысячи викингов. Наемников. Нам, ежели вас теперь не разбить и добычу не взять, как с ними рассчитаться?

Горсер (*горько усмехаясь*). А у нас печенеги. И тоже наемники.

Ян. Вот. И вам, стало быть, замиришься – значит без добычи остаться. А с печенегами тогда как же?

Горсер (*вздыхает*). Ох... Вот замутили так замутили.

Ян. Вот оно как получается, братко. Начать-то войну легко, а закончить... Сам же все видишь. И надо бы замиришься, а никак.

Горсер (*задумчиво*). Может, перерезать их?

Ян. Кого?

Горсер. Ну, наемников этих. Мы – своих, вы – своих. Окружим и... (*Проводит ребром ладони у горла*.) Мол, неча по Руси шастать.

Ян. Сами ж звали.

Горсер. Сами и зарежем.

Ян. Бесчестное ты дело предлагаешь, Горсер. Какая слава после этого о Руси пойдет, ты подумал? (*Подумав*.) Да и не верное это дело. Неизвестно, кто кого еще вырежет. Мы их, аль они нас.

Возникают и начинают помаленьку усиливаться звуки битвы. Весь дальнейший диалог проходит на фоне этих звуков.

Горсер. Так что ж, Ян? Стало быть, не договорились мы с тобой?

Ян. Стало быть, так.

Горсер. Ну, тогда прощай. (*Поднимается, отходит, потом оборачивается*.) И вот что... Коли уж враг ты теперь мне, так я терем твой в Киеве сожгу. Воевать так воевать.

Ян. Ну что ж. Воля там, в Киеве, покуда твоя. Только, Горсер, как жечь будешь, допреж сходи на могилки к батюшке с матушкой. Покажись им, какой ты теперь стал!

Горсер (*хватаясь за меч*). Замолчь! Замолчь мне тут про родителей! Они свою жизнь честно прожили! И ни веры, ни земли своей грекам не продавали, как ты, выродок!

Ян. Ну, Горсер. Ну, братец родненький. За слова такие... Как бой начнется, держись от меня подале. А то так хлопыстну – башка на пять саженей отскочит.

Горсер. И ты под руку не попадайся! До мудей разрублю, дальше сам развалишься!

8

Появляются Горсер и Святополк. Оба ранены, в повязках. Горсер поддерживает князя. Усаживает его к столу.

Горсер. Вот тут, княже, посиди. Охоломи чуток. От погони оторвались, кажись, да кони устали. Ты посиди тут, а я с хлопцами... Тут село должно быть невдалеке. Там коней свежих пошукаем. И дале поскачем. (*Хочет уйти*.)

Святополк. Куда?

Горсер. Да за конями, княже, за свежими. Баял же, ты меня не слышишь, что ли?

Святополк. Куда поскачем-то, спрашиваю. Где нас ждут? К печенегам опять?

Горсер. К печенегам не проедем. Погоня за спиной.

Святополк. Видишь, Горсер, нет мне места больше на земле этой. Сам же видишь. А говоришь: коней свежих... поскачем... А места, куда скакать, и нету.

Горсер. Есть такое место, князь. И встретят там тебя хорошо. По чести. И войско дадут.

Святополк. Что за место?

Горсер. Рим.

Святополк. Рим? Та-а-ак. Вон чего ты задумал-то...

Горсер. Плоха задумка, что ли?

Святополк. Мне, князю русскому, Папе туфлю целовать? Ты в уме ли, Горсер?

Горсер. Ну и поцелуй. Отец твой названный, Владимир, может, патриарху греческому тоже чего целовал. И Русь попам греческим отдал. Тем власть

свою укрепил. А ты Папе поклонись. И попов римских на Русь позови, заместо греческих. Невелика разница, а власть вернешь.

Святополк. Так как же это, Горсер? Народ-то, Киев-то примет ли?

Горсер. А пошто тебе смердов спрашивать? Владимир много их спрашивал? Загнал в Днепр да и крестил. А потом столы по всему Киеву им накрыл. Ну, они веру предков и пропили. Я это своими глазами видел. И ты им столы накроешь. Они и греков пропьют. Так что не бойсь, княже. Мы с тобой еще не одну чуду учудим.

Святополк. Учудили уж.

Горсер. Да ты что, княже? Мы еще и не начинали толком-то. Выше голову, князь, выше! В горе жить – непечальным быть. Печальному в горе погибнуть. Слышишь, что говорю тебе?

Святополк. Слышу.

Горсер. Вот и хорошо. Ну, пойду я. А ты отдыхай. Поспи. До Рима путь длинный.

Святополк. Да. Длинный. Что-то уж очень длинный.

Горсер. Чего?

Святополк. Ничего. Это я сам с собой. Ступай. Делай, что знаешь.

Горсер уходит. Святополк сидит какое-то время молча.

Потом встает, подходит к иконе и берет ее в руки.

Святополк. За что же Ты так взъелся-то на меня, Господи? За что гонишь и преследуешь с самого детства? Чем я Тебе не хорош?! Тем, что через кровь перешагнул, чтоб на престол великокняжеский сесть? Да за власть-то еще не так борются! Вон, в Польше али Чехии, там как один сядет на трон, так первым делом всех братьев своих либо убьет, либо оскопит да в темнице уморит. И ничего Ты им не делаешь. Правят и благоденствуют. А там ведь родные братья под нож идут. Не как у меня. А в Царьграде как? Там уж который век за власть дети – отцов, жены – мужей режут, давят, травят. А Ты молчишь! Церковь Твоя это благословляет. А Ты молчишь! Уже такого порока, уже мерзости такой на земле не осталось, которые бы в том святом городе не благоденствовали. А Ты молчишь! Тебе на это любо смотреть, что ли?! Я один поперек горла Тебе встал?!

Бросает икону на стол. Отходит. Потом возвращается.

А Владимир-князь, батюшка мой названный, не-прошенный. Он что вытворял, пес поганый! Отца моего убил, мать обесчестил, а потом прогнал! Ему можно, да? И ничего Ты ему за это не сделал! Он хороший для Тебя. Что бы ни натворил, сколько бы крови ни пролил, все одно – люб Тебе. Один я плохой, да?! Попы говорят: справедлив Ты. А я вот не пойму что-то: с чего они это взяли? Где

справедливость-то Твою они узрели, я вот ее не вижу чего-то! Почему не вижу? *(После паузы, ошарашенно.)* Понял. Я понял. Да ведь Тебя и вовсе нету. Ага. Вон оно что. Нету Бога. Никакого. Ни Тебя, ни Перуна, ни Одина. Никого из вас нету! От как оно выходит-то.

Вбегает Горсер.

Горсер. Княже, собирайся не стряпая. Нашли коней свежих. И не искали почти, так-то сказать. Сразу-от в соседнем селе. Везет нам сегодня. Боги помогают.

Святополк. Нет Бога.

Горсер. Чего?

Святополк. Нет, говорю, Бога.

Горсер. Это какого? *(Кивает на икону.)* Этого, что ли? Ай-яй-яй, горе-то какое, правда, княже?

Святополк. Никакого нету. Ни единого.

Горсер *(после паузы)*. Ты чего это, князь? Чего городишь-то?

Святополк. Сказки все это, Горсер. Про богов-от. Сказки для младней. А мы, дурни, до седых бород этим сказкам верим. Кланяемся им, то деревянным, то вона на досках намалеванным. А их и нет никакого вовсе. Вот смех-то, Горсер, правда?

Горсер *(садясь за стол)*. Та-а-ак. А кто ж тогда есть?

Святополк. Мы есть. Звери есть. Птицы есть.

Горсер. И все?

Святополк. Тебе мало? Ну, рыбы ишшо.

Горсер *(внимательно глядя на Святополка)*. Рыбы, стало быть. *(Трет лицо рукой.)* Ага. Так. И давно ты додумался до такого?

Святополк. Нет. Только что. Вот здесь, Горсер, и додумался. Покуда ты коней искал.

Горсер *(сокрушенно вздыхая)*. Ну надо же. И искал-то вроде недолго. *(Горько усмехается.)* Ну надо же.

Святополк. А тут долго думать и не надо. Все просто. Сам посуди, Горсер: если бы Бог был, разве жили бы мы так, как живем? Если бы хозяин у света этого был, разве позволил бы он такому твориться? Да самый худой смерд не попустит у себя на дворе такого, что на свете делается. Потому хоть плохой, а хозяин.

Горсер. Ну-ну. Дале чего?

Святополк. И понял я, Горсер, что ежели бы был Бог, то он меня, мразь, кровопийцу, братоубийцу океанного, прихлопнул бы тут же. И тебя рядом со мной пришиб бы Бог в те поры.

Горсер *(в сторону)*. Ну, я поживу ишшо, а тебя Он, я гляжу, уже пришиб. От так раз. Не вовремя князюшка спятил. И чего теперь делать-то?

Святополк. И понял я тогда, Горсер, что нету Бога. Если я есть, то Бога нет. *(Прислушивается.)* Горсер, слышишь? Слышишь?!

Горсер. Чего?

Святополк. Голоса! Шаги! Нагнали нас, Горсер! Убивать идут!

Горсер. Да это наши, князь. На дворе сожидают, когда ты выйди изволишь.

Появляются Борис и Глеб, одетые в белое.

Святополк. Горсер, кто это?

Горсер. Где?

Святополк. Вон же, вон там в углу. Двое.

Горсер. Тыфу ты! Да нет там никого. Угомонись ты, княже. Ну что ж ты будешь делать-то.

Святополк *(приближаясь к Борису и Глебу)*. Кто вы? Чего надо вам здесь? *(Узнает.)* Нет! Вы же мертвы. Вас же убили.

Борис. Да. Нас убили.

Глеб. По твоему приказу, брат.

Святополк. Убирайтесь! Сгиньте!

Появляется Мстивой. Подходит к Горсеру.

Мстивой. Чего у вас тут, боярин? Ехать же надо.

Горсер. Куда ехать, Мстиша? Погляди, что с князем-от деется.

Борис *(Святополку)*. Мы посланы к тебе, Святополк.

Глеб. Посланы, чтобы сказать...

Святополк. Молчите! Нет! Нету вас! Не возвращаются мертвые с погоста!

Мстивой *(Горсеру)*. Чего это с ним, а?

Горсер. Умом тронулся, не видишь, что ли?

Мстивой. Во как. И чего теперь?

Горсер. А теперь все, Мстиша. Теперь все. Мы и с князем-то этим не сильно кому нужны были, а уж без него и вовсе...

Борис. Мы пришли сказать тебе, брат, что сегодня предстоит тебе встать рядом с нами перед лицом Господа нашего.

Святополк. Ложь!

Глеб. И говорим тебе, что прощаем тебе, брат. Прощаем нашу смерть.

Борис. А простит ли тебя Господь, того не ведаем.

Святополк. Убирайтесь! Ни знать, ни видеть не желаю ни вас, ни Бога вашего! Ложь все это! Ложь!

Горсер *(Мстивою)*. Вот куда с ним таким ехать? Он и нам будет помехой, и себе мукой.

Мстивой. И как быть?

Святополк. И умирать я пока еще погожу. Уж не сегодня, это точно. Врете!

Борис. Нет, брат. Отмерены уже часы твои.

Горсер *(Мстивою, кивая на Святополка)*. Помоги ему. *(Обнажает кинжал, протягивает Мстивою.)* Легкой смертью от мук избавь.

Глеб *(Святополку)*. Отмерены и сочтены. До скорой встречи, брат. Мы будем молить Господа, чтоб простил тебя.

Борис и Глеб уходят, и одновременно Мстивой сзади бьет Святополка кинжалом.

Горсер. Ну вот и все. *(Подходит к Святополку и закрывает тому глаза.)* Запомни, Мстивой, не должен жить человек, когда он и себе, и другим в тягость. И если не видел ты от него зла, то подари ему легкую смерть. Своих, Мстиша, мучить не надо. Понял меня?

Мстивой. Понял. Так впредь и буду поступать.

Горсер. И молодец. *(Кричит.)* Эй, кто там есть, быстро сюда!

Появляются несколько дружинников.

Горсер. Вот что, молодцы. Князь Святополк покинул нас и ушел к пращурам в чертоги богов. Посему тело-от заберите. По дороге, как случай представится, схороним как положено.

Дружинники уносят тело Святополка.

Мстивой. Что с ним случилось-то, а, Горсер? Зачем боги разум у него забрали?

Горсер. Зачем? Так сразу и не скажешь. Я ведь тебе не скальд, не провидец, чтоб волю богов распознавать. Но думаю, затем, что слаб наш князь оказался. Духом слаб. А такие у власти не держатся. Таких она под копыта сбрасывает и топчет. Вот и его... Слаб был. А слабому духом разум зачем? Он ему только докука лишняя. Вот и отняли у него разум боги. Коль не нужен – отдай.

Мстивой. Горсер, а почему он духом ослаб?

Горсер. Совести в нем много было, Мстиша. Разве ж можно с совестью – да на княжий престол? Она ж тебя убьет за это, совесть-то. Вот и Святополка нашего... Вишь, он все не мог простить себе, что братьев убил. Все мучился. Переступить через кровь духу еще хватило, а жить с этим – нет. Какой же это князь? Вот Владимир – тот князь настоящий был. Тот за-ради власти на все пошел. И братьев, и друзей убивал. Над предками надругался, веру их растоптал. Вот как за власть-то держаться надо! Он и сына родного, Ярослава Хромоножку, убил бы. Уже и рать на него готовил. Умер вовремя, а то и Хромоножке бы не жить.

Мстивой. Мудрому.

Горсер. Чего?

Мстивой. Ярослав Мудрый теперь его величают.

Горсер. Ишь ты. Ну-ну. Тожеть умеет власть держать. Против отца родного восстал. Мудрый. Гля-ко. А ведь точно, что Мудрый. Я тебе, Мстиша,

скажу сейчас, что никому допреж не говорил. Он ить знал, что мы с тобой Бориса с Глебом убивать поехали. Знал, Мстиша. Упредили его. Так вот, посуди теперь: знал, а не помешал. Почему? А потому, они ему тоже поперек дороги стояли. Теперь не стоят. Теперь никто между ним и киевским престолом не стоит. Теперь он Мудрый, а наш – Окаянный. А Окаянный он только потому, что у власти не удержался. Только в этом его вина. Удержался бы – тоже Мудрым бы прозвали. Запомни, Мстивой: тому, кто власть взял, тому всё прощают. Того и восхваляют, того и любят, будь он хоть по глаза да по уши в крови. Святополк не понимал этого. Потому и проиграл.

Мстивой. А мы? Мы тоже проиграли, Горсер?

Горсер. Я проиграл. Ты, Мстиша, куда нет.

Мстивой. Почему? Ведь всё сделали, чего хотели. Кто тебя победил? Ихний Бог?

Горсер (*усмехаясь*). Не. Куды Ему. Это слабый Бог. Судьба нас победила. Далеко-далеко, в такой дали, что не доскачешь, не доплывешь, у ручья Урды сидят три волшебницы норны. И плетут судьбы. А они, Мстиша, хоть и волшебницы, а бабы. Болтают да отвлекаются на все подряд не по делу. Потому порой и выходит пряжа их вкривь да вкось. А исправить ее даже боги не в силах. Уж как сплели, так и сплели. Вот и мою судьбу они, видать, неказовито выткали. Но твою-то, может, и получше соткали.

Мстивой. И что теперь?

Горсер. Что теперь? Я тебе скажу, что теперь. Теперь, Мстиша, бери людей и уезжай. По дороге князя захорони где-нито...

Мстивой (*перебивает*). А ты?

Горсер. А я тут останусь. Братца родного подожду. Перемолвлю с ним напослед. Да и погону надо задержать хоть маленько, чтоб вы подале утечь смогли.

Мстивой. Ты чего придумал-то? Да чтоб я тебя бросил? Не будет этого!

Горсер. Цыть! Я велю! Не обо мне думай, о деле нашем. Оно погибнуть не должно. Вот теперь твоя, Мстивой, забота!

Мстивой. Убьют же тебя, боярин. Хоча и брат, а убьет.

Горсер. А это, Мстиша, уж мне решать. Не Ярославу и не богам, а только мне. Я свободный русич, а решать, где, когда и как умирать, – это право свободных людей.

Мстивой. Да как же я без тебя, Горсер? Я ж не знаю, что мне делать. Я ж не умею ничего. Не возмоя.

Горсер. Сможешь. Для начала вот чего делай. Пробирайся на север. Там в лесах волхвов, ведунгов много еще осталось. Поживи у них. Поучись. Они

много чего знают. Глянешься им – тебя такому научат, что и мне неведомо. Потом за море иди. В варяжские земли. Там скальдов найди. Они ведь, Мстиша, не просто певцы какие. В их песнях сила древних богов, великая сила. Не каждому скальды открываются, а ты постарайся, чтоб и им глянуться. Ради знаний на все иди, Мстиша, на все. Помни: знать – право свободных людей, верить – обязанность рабов. Ну, а как обучишься всему, возвращайся на Русь. Найди князя посильней духом, чем Святополк был. Ну да к тому времени ты уж лучше меня будешь знать, как и чего тебе делать. А теперь ступай. Медлить больше нельзя, и так задержались тут паче всякой меры.

Мстивой. Прощай, Горсер.

Горсер. Пошто «прощай»-то? До встречи, Мстиша. До встречи в Валгалле. Ты уж постарайся умереть так, чтобы тебя туда пустили.

Мстивой уходит.

Горсер. И я постараюсь. Недолго уж ждать осталось.

9

Появляется Ян вместе с несколькими дружинниками. Увидев Горсера, застывает на месте.

Какое-то время все молчат.

Горсер. Хвалю за быстроту, Ян. Здравствуй на тысячу лет, брат.

Ян. Где Святополк?

Горсер. Ишь как... А я думал, ты по мне соскучал, пото и гонишься. А тебе ко князю, вишь.

Ян. Где князь твой, спрашиваю?

Горсер (*вздыхая и разводя руками*). Умер князь Святополк.

Все, за исключением Горсера, обнажают головы и крестятся.

Ян. Ну а живорезы твои где?

Горсер. Пошто срамишь-то? Не живорезы, Ян, а дружина. Такая же, как и у тебя.

Ян. Мои церковны обозы не разбивают и монастыри не грабят.

Горсер. Ну, это они у тебя молодые ишшо. Глупые. Ты уж не сердись на них за это, Янушко.

Ян. Полно зубы скалить. Где твои тати? Утекли?

Горсер. Ага. Ты, Ян, не гонись за ними. Они, вишь, через Рыже болото пойдут. А там, коли тропу не знаешь, потонешь вместе с конем. Ты как раз и не знаешь.

Ян. Ну а ты чего?

Горсер. А я тебя решил дожидаться. Соскучал, вишь, по брату родному. Садись, Ян. (*Хлопает по лавке рядом с собой*.) Чего стоишь величаешься? Передо мной-то уж не надо.

Ян снимает шлем и садится рядом с Горсером.

Некоторое время они молча смотрят друг на друга.

Горсер. Это сколь же мы не виделись, а?

Ян. Дак... С той самой битвы на Стугне. Где мне тебя еще повидать-то было?

Горсер. И правда. Ай, время-то как летит.

Ян. Летит. Да. *(После паузы.)* Ты пошто терем мой в Киеве сжег, а?

Горсер *(разводит руками)*. Ну а ты как хотел, брат? Война. Родство в счет не идет.

Ян. Ну и до чего ты довоелся? Чего достиг? Землю только всю разорил и боле ничего. И печенегов, и ляхов наводил сюда со Святополком своим. На кой эта погань чужеземная на Руси нужна была?

Горсер. А вы с Ярославом викингов-норманнов привели. Они на кой нужны были?

Ян. Они тут не жгли и не грабили стойно печенегам твоим.

Горсер. Правильно. А чего им самим-то стараться, ежели для них вы всех ограбили. С норманнами князю твоему расплатиться-то надоть было? Вот и содрали со смердов четыре шкуры. Ты и драл, Ян. *(Насмешливо.)* Аль не так? Ну, нет – скажи «нет», я прощения попрошу, что наговорил на тебя.

Ян зло сплевывает и тихо бормочет что-то.

Видно, что ругается.

Горсер. Вот. То-то, Ян, то-то. Выходит, вместеж мы с тобой землю-то и грабили. Вот только я это делал за веру предков наших, за свободу свою. А ты за что, Ян? Чтоб рабом Божьим быть?

Ян *(в гневе)*. А я за Русь! Тот раз еще баял тебе про это. А ты, гляжу, ни тогда, ни сейчас ни беса лысого не понял!

Горсер *(зло смеется)*. Ловко. Я говорю, ловко приклеил волос к бороде. За Русь он Русь ограбил. Хитер бобер, и в ступе не утолчешь.

Ян. И хватит! Досыти уж баяли с тобой про это. *(Надевает шлем, поднимается.)* Вставай, Горсер. По повелению великого князя Киевского Ярослава пойман ты мною. Давай мне свой меч.

Горсер. Пойман? А я ить не заяц, Ян, чтоб так вот взять и поймать меня.

Ян. Не дури, Горсер. Со мной сотня дружинных. Не отобьешься.

Горсер *(как будто не слыша Яна)*. Стало быть, на плаху. Свяжут руки за спиной и казнят. Прилюдно, позорно. Как раба. *(Смотрит на Яна.)* Понимаешь, о чем я? Не в бою погибну, а на плахе. Без меча в руке. Врата Валгаллы тогда не распахнутся передо мной. Такой судьбы мне желаешь, брат?

Ян. Ты вот что, Горсер... Я, можа, еще уговорю, упрошу князя-то, чтоб не рубили тебе башку твою дурную. Можа, помилует ишшо.

Горсер. А тогда что? Коли помилует? В острог? Ишшо не лучше. Всю жизнь в темноте и мерзости гнить. Ну уж нет. *(Поднимается со скамьи, взмахивает, разминаясь, мечом.)* Обнажай меч, Ян.

Ян. Не могу. Брат ты мне все же.

Горсер *(направляет лезвие в сторону Яна)*. Обнажай клинок, Ян. Убью ведь тебя, дурака, безоружным.

Ян нехотя обнажает меч.

Горсер *(довольно)*. Вот так. *(Разводит руки в стороны.)* А теперь рази! От твоей руки хочу в Валгаллу взойти. То за честь мне будет. Погоржусь там, какой великий воин меня убил!

Ян *(поднимает меч, потом опускает его)*. Не буду. *(Крутит сокрушенно головой.)* Не могу руку поднять на брата своего старшего. Не могу, Горсер!

Горсер. Где-то я это уже слышал. А-а, ну конечно. То же самое мне этот щенок греческий, князь Борис, говорил. Ну, тебя-то, братко, я сейчас вылечу от этой глупости.

Горсер атакует Яна и трижды бьет мечом, вскрикивая:

«Бейся! Бейся! Бейся!» Ян только отражает удары. На четвертый раз Горсер легко ранит Яна в бок. Схватка останавливается. Ян прижимает ладонь к ране.

Горсер *(в отчаянии)*. Ну, бейся же, Ян, бейся! Не хочу я тебя убивать!

Ян *(смотрит на свою окровавленную ладонь, потом поднимает взгляд на Горсера)*. И я не хочу.

Горсер *(в ярости бьет мечом стол)*. Да твою ж мать!

Ян *(спокойно)*. Ты вот что, брат. Уходи.

Горсер *(недоуменно)*. Чего?

Ян. Уходи, говорю. А князю я скажу, что, мол, не догнал никого.

Горсер *(задумчиво смотрит на свой меч)*. Некуда мне идти.

Ян *(оживляясь)*. В Царьград уходи. Базилевс варягов ох как охотно на службу берет.

Горсер *(усмехаясь)*. Базилевс. Опять христианин. Снова рабу Божьему служить. *(В гневе.)* А я свободный русич! Мне рабу не токмо служить, мне рядом с ним встать зазорно!

Ян. Так служил же!

Горсер. А теперь обрыдло! Не могу больше! Видеть все это больше не могу! Ни попов ваших не могу видеть! Ни церкви ваши! Ни как на коленях вы там ползаете! Не могу больше на это смотреть! Хватит с меня!

Ян *(после паузы)*. Ну, и как же тогда?

Горсер *(спокойно)*. А вот как. Коль отпускаешь меня, я и вправду уйду сейчас.

Ян. Куда?

Горсер (*молча смотрит на Яна, потом переводит взгляд на меч*). В Валгаллу. (*С размаха всаживает себе меч в живот, проворачивает там и падает мертвым.*)

Ян (*снимает шлем и крестится*). Прости его, Господи. (*Опускается перед телом Горсера на колени и прикрывает ему глаза.*) Прощай, брат. Я сам погребу тебя. (*Вздыхает.*) Не бойся, попов не допущу. Все сделаю, как у предков заведено было. По старым обычаям. Тебе понравится.

Дружинники Яна медленно подходят к нему.

Дружинник. Попы-то учат, что самоубийцы в ад попадают. Это что ж, боярин, брат-то твой в аду теперь, что ли?

Ян (*поднимаясь на ноги*). Знаешь, а я другое слышал. Говорят, после смерти каждому будет по вере его. И я с этим согласен.

Дружинник. И что тогда выходит?

Ян. Выходит, что брат мой, Горсер, пойдет в Валгаллу. По вере своей.

Дружинник. А мы? Мы куда после смерти?

Ян. А мы – по своей вере. В ад.

Дружинник. За что ж нас в ад-то, Ян? Вроде не за что.

Ян. Не за что? (*Кладет руку дружиннику на плечо.*) Ну, это пока не за что. А жизнь-то ишшо длинная. Успеем наработать.

Занавес



«ПРОСТОЮ ЗАДУШЕВНОЮ СТРОКОЮ»

К 100-летию Михаила Небогатова

Под таким названием прошел в Кемеровской области литературный конкурс, посвященный 100-летию старейшего кузбасского поэта Михаила Небогатова. Инициаторами и главными организаторами конкурса стали члены литературной студии «Родники Сибири» (руководитель Наталья Гордок), Государственная научная библиотека Кузбасса им. В. Д. Федорова и Союз писателей Кузбасса. Среди конкурсантов были те, кто в юные годы отправлял Михаилу Небогатову свои первые поэтические опыты. Им слово.

УРОКИ МИХАИЛА НЕБОГАТОВА

Урок отзывчивости

В десятом классе мы готовились к последнему звонку и выпускному вечеру, придумывали и сочиняли посвящения школе, педагогам, одноклассникам. Девочки, заметив мое умение рифмовать, предложили «куда-нибудь» отправить стихи. Я считала все написанное слабым и неумелым. Тогда они поступили по-своему: попросили почитать тетрадку со стихами и отправили в газету «Кузбасс». Неизвестно, как долго там пролежало письмо, но, вероятно, его переправили в газету «Комсомолец Кузбасса». Оно не было адресовано ни Михаилу Небогатову, ни даже «Факультету молодого литератора» (просто «на деревню дедушке»), но Михаил Александрович не обошел его вниманием. В мартовской статье «Талант – это труд» (1972) он отметил, что «стихи слабоваты по форме», но нашел и положительные моменты и дал советы. С тех пор я стала больше внимания обращать на техническую сторону стихосложения, кропотливее работать над словом, а главное, усвоила на всю жизнь, что обязательно надо читать и откликаться на все, что к тебе тем или иным путем попадет в руки. Никогда не говорила ученикам и студентам: «Мне некогда читать твою графоманию», читала все предложенное и была рада, если попадалось хотя бы одно интересное высказывание или стихотворная строка.

Урок ответственности

После упоминания о моем творчестве в статье известного поэта мне захотелось уже самой написать Михаилу Александровичу (ведь я даже не знала, какие именно стихи отправили мои одноклассницы),

послать на его литературный суд новые свои стихотворения. Я уже была студенткой первого курса, и в том же 1972 году им была опубликована статья «О чем-то шепчет о своем трава...». Газету эту я бережно храню уже почти полвека. Надо ли говорить, с каким чувством я читала эту статью, названную строчкой из моего стихотворения, опубликованного целиком?! Благодарность Михаилу Александровичу за теплые слова, за поддержку я пронесла через всю жизнь. А высказанная им уверенность, что от меня можно «ожидать творческих удач», накладывала ответственность на все написанное впоследствии. Я просто не имела права подвести человека, поверившего в мои литературные силы, тогда еще столь некрепкие. Так ко всему (и не только в поэзии) я стала относиться с большей степенью ответственности и скупуплезности.

Урок самокритичности

Меня просто поразило, как человек, который мог и похвалить, и тактично сделать замечание, был так безжалостен к себе самому. В статье «О сонетах, и не только о них» (5 мая 1988 года) он не боится показаться неавторитетным – «бросается на амбразуру» ради того, чтобы авторы присланных сонетов почувствовали специфику жанра. В качестве примера приводит свою переписку с А. Т. Твардовским 1958 года, в которой мэтр советской поэзии, отмечая «безупречность словесной и ритмической структуры стихов», считает, что «объем содержания этих стихов очень уж скромнен», что «выходить с ними на трибуну большого всесоюзного журнала не стоит, – для такого выхода надо уж собрать запас повесомей». Согласитесь, не каждый бы отважился публично в статье, где анализируются недоработки начинающих авторов, опубликовать такой отзыв даже самого Твардовского. А Небогатов не щадит себя и не боится признать, что и в его стихах есть что-то, не устраивающее столичных редакторов. Редкие качества – самокритичность и умение так просто сказать об этом в интересах большого профессионального дела!

Урок щедрости

Когда только Михаил Небогатов успевал читать все письма, отвечать на них, вести рубрику «Факультет молодого литератора», заниматься издательской и редакторской деятельностью?! А ведь еще нужно было находиться в соответствующем вдохновенном состоянии, чтобы писать свои произведения! Он проявлял необыкновенную щедрость по отношению к знакомым и незнакомым людям. Он дарил людям свое время, свой опыт, свой талант, свое терпение, свои добрые и разумные советы, дарил похвалы и надежды!

Ирина ФРОЛОВА,
г. Кемерово

БЕЛЫЕ КОНВЕРТЫ

Это произошло осенью пятьдесят восемь лет назад. Тогда выпал снег – первый, пушистый! Он лежал на каждой веточке, на домах и крышах. А за домом, где стояли старые яблони, припорошенные снегом, появились красногрудые снегири – целая стая. Плодов на деревьях не было, но что-то заставило их прилететь – или полакомиться ягодами, или порадовать меня.

Понятно, из чего состоят стихи: из окружающего света, воздуха, весенних ручейков, осенних листьев, ночных звезд и пламени костра. От всего увиденного хотелось петь, писать и восхищаться миром. Вот так и появилось мое стихотворение «Снегири». Подумав, почитав рубрику в газете «Комсомолец Кузбасса» в разделе «Для молодых литераторов», я решила отправить туда первую робкую подборку своих творений.

Прежде я никогда не встречалась с Михаилом Александровичем, только читала его стихи и публикации в газете, сопровождаемые фотографией человека с пронзительными глазами, излучающими добро. Особое тепло шло от него: хотелось ему доверять и верить. Только он сможет понять тебя правильно и подсказать. Я аккуратно переписала свои стихи, положила в конверт и отправила с надеждой. Прошла осень, наступила зима, а ответ все не приходил. Да кто я такая? Деревенская девочка! В свои пятнадцать лет вообразила себя поэтом! А сколько еще таких, как я, даже лучше, талантливее! Но надежды я не теряла. Несмотря на длившееся молчание, я понимала, что жизнь – это самое прекрасное и самое радостное, что дано человеку. Нет ответа, а любить мир и природу я все равно буду – как умею, как вижу только я!

И другие это смогут увидеть. А уж Михаил Александрович Небогатов наверняка разглядит. Ведь недаром поэт, публицист, литературный критик и наставник, член Союза писателей СССР возглавлял долгие годы клуб молодых литераторов Кузбасса. Многие поэты были его учениками. Он считал так: «Поэзия не призвание. Каждый человек рождается с присущими ему одним способностями, талантом, только не каждый следует зову природы».

Прошедший войну, он не очерствел, не огрубел, нашел в себе силы жить и творить, видеть в окружающем мире свет, добро и радовать людей.

*Поэты не рождаются случайно.
Они летят на землю с высоты.
Их жизнь окружена глубокой тайной,
Хотя они открыты и просты.*

И вот теперь представьте мое состояние, когда я получила большой белый конверт с почтовыми марками и штемпелем. Я испытывала и восторг, и трево-

гу! Что там внутри? На свернутом пополам листке мелким разборчивым почерком было написано: «Прочитав Ваши стихи, отмечаю, что они еще несовершенны. Но не следует останавливаться, нужно учиться идти дальше, видеть мир, видеть окружающее. Поэт должен видеть, принимать и чувствовать то, что не видит читатель. Этим и отличается поэт от читателя!»

А дальше мой листок со стихами, и мои красные «снегири» словно перелетали с одной ветки на другую, то вообще исчезали за горизонтом, то взлетали наверх. И мое одно из лучших стихотворений поменяло цвет. Я сделала вывод: ребенок не все понимает, не хватает у него способности увидеть, оценить окружающее, что красота не в лице, красота – это свет в сердце. Нет, никакой обиды не было. Михаил Александрович написал: «Верьте в себя, вы храбрее, чем вы думаете, более талантливы, чем вы знаете, и способны на большее, чем себе представляете». И еще более крупным почерком: «К такому олицетворению природы, как видите Вы, нужно стремиться. Стихи Ваши о природе светлые, живые, радужно-прозрачные, на душе от них становится светло, тепло и спокойно».

Очень жаль, что я не сохранила эти конверты надежды и мечты, но содержимое их до сих пор в моей душе. Пусть я не стала поэтом, но любовь к поэзии осталась во мне непроходящим щемящим чувством. Когда больно, трудно и грустно, берешь стихи Михаила Александровича:

*Не удивлять, а удивляться
Я в этот светлый мир пришел.*

Эти белые конверты неслучайно прилетели от Михаила Александровича Небогатова к деревенской девочке, они прилетели к ней с небесной высоты, сохраняя в ее сердце любовь к поэзии и всему живому на земле. Ведь поэзия заставляет видеть и любить мир по-иному – открыто!

Лидия ЕМЕЛЬЯНЕНКО,
пгт Ижморский

ПУТЬ В ЛИТЕРАТУРУ ИЗ ШКОЛЫ И «ФАКУЛЬТЕТА»

В шестом классе наш учитель литературы Анатолий Петрович Обоимов как-то на занятиях разъяснил классу основы стихосложения, познакомил с рифмами, со стихотворными размерами. Нарисовал на доске вот такую схему: Ваня – хорей, Иван – ямб, Ванечка – дактиль, Ванюша – амфибрахий, Иванов – анапест. И дал нам домашнее задание: попробовать написать небольшое стихотворение. Я, как прилежная ученица, выполнила задание на «5»:

*Тихо-тихо снег кружится,
Словно пух летит с небес.
На поля легко ложится
И на зимний спящий лес...*

Потом были стихи о любви, о счастье, о смысле жизни, о страданиях неразделенной любви, в общем, всякая юношеская чепуха. После школы я поступила в химтехникум города Анжеро-Судженска. Студенческая жизнь принесла другие интересы: песни у костра, стихи для агиток, поздравления в стихах. В общем, тоже чепуха. Мало что сохранилось. На втором курсе выскочила замуж, стала Сомовой. Семейная жизнь стала приучать к порядку. Однажды разобрала свой литературный багаж и нашла несколько более-менее достойных стихов. Тогда же и увидела в газете «Комсомолец Кузбасса» рубрику «Факультет молодого литератора». Прочитала, очень понравилось. Подумала, что это именно то, что мне нужно.

Обратила внимание, что рубрику ведет поэт Михаил Небогатов. Его стихи я несколько раз встречала ранее в газетах. Сбегала в библиотеку, там нашлась только одна его книга – «Моим землякам». Большое впечатление на меня произвели стихи о войне. Так мог написать только человек, сам испытавший все фронтовые ужасы и тяготы. Его стихи как-то по-особенному душу выворачивают, волнуют, заставляя задуматься.

С нетерпением стала ждать следующих номеров «Комсомольца» с «Факультетом». Каждый выпуск прочитывала с большим интересом. А однажды набралась смелости и отправила в газету подборку своих стихов. Потом с волнением ждала отклика. Один номер – тишина, нет обо мне ни слова. Второй – махом прочитала и разочарованно вздохнула. И вот, наконец, мои стихи. Начала читать с замиранием сердца. Что же он – признанный мастер – скажет о моих виршах? Сказал он вот что: «Людмила Сомова порадовала нас способностью находить свои слова и образы...»

Известный поэт Небогатов уделил мне внимание и даже в некотором смысле похвалил! Счастью не было предела. Я, конечно, и раньше посылала стихи в нашу местную газету «Борьба за уголь», и их даже печатали. Но как-то серьезно я к этому не относилась. А здесь – областное издание, и сам Небогатов – член Союза писателей СССР – как будто лично беседует со мной, дает свои наставления.

Все статьи «Факультета» я вырезала и храню до сих пор. А Небогатову считаю своим вторым учителем. Анатолий Петрович привил мне любовь к стихам, познакомил с основами стихосложения. А Михаил Александрович, можно сказать, наставил на путь истинный – научил, как нужно писать стихи.

Кемеровчанин Олег Потин в 1984 году прислал Михаилу Небогатову такое четверостишие:

*Я не раздариваю лесть,
Не засылаю к старшим сватов,
Но знаю: в Кемерове есть
Отец поэтов – Небогатов.*

Людмила СЕДЕЛЬЦЕВА,
г. Анжеро-Судженск

НЕБОГАТОВ

*Давно на берегу Бачата,
Босой, по утренней заре
Мальчишкой Миша Небогатов
Ловил ельцов и пескарей.
С годами, мудрость набирая,
Оценивая слов размах,
Он красоту родного края
Изобразил в своих стихах.
А жизнь нелегкая была,
Дарила радость, чаще вредность.
И я свой маленький талант
Втоптал бездумно в повседневность.
Но как-то раз случилось так –
Назначено, видать, судьбою –
Приехал в Гурьевск мой земляк,
Привез Баянова с собою.
Они в гостиничной тиши
Свои преподнесли уроки:
– Вернись в поэзию. Пиши!
Найди потерянные строки.
И потянулся я к перу,
Вернув забытое когда-то.
Запели рифмы на ветру,
Заговорили перекаты.
Я ваши книги достаю,
Стихи знакомые читаю,
Тот день далекий вспоминаю
И снова с вами говорю.
И вновь поет Бачат-река,
Струей прозрачною играя,
Стихи поэта-земляка
О красоте родного края.*

Борис КУЗНЕЦОВ,
г. Гурьевск

**Анатолий
ДОНОВ**

ЗАБЫТАЯ СЕМЬЯ ДОСТОЕВСКОГО



Автор этой статьи Анатолий Алексеевич Донов – праправнук первой жены Федора Михайловича Достоевского Марии Дмитриевны Достоевской (урожденной Констант). Родился 16 декабря 1945 года в семье военного ученого-авиатора в городе Щёлково Московской области.

После школы и службы в армии окончил Ленинградский гидрометеорологический институт. Работал на Кольском полуострове начальником гидрометеорологической станции. В 1981 году окончил аспирантуру при институте гидротехники им. Б. Е. Веденеева в Ленинграде. В последние годы работал генеральным директором строительно-реставрационной фирмы в Санкт-Петербурге.

Автор книг «Мария Констант, жена Достоевского», «Летные дела русского интеллигента», «Предчувствие Достоевского».

История непростых отношений Ф. М. Достоевского со своей первой женой Марией Дмитриевной весьма скупо освещалась в публикациях, посвященных жизни и творчеству великого русского писателя. К сожалению, чаще всего в них просматривается давно сложившаяся традиция, отражающая пристрастия второй жены Достоевского Анны Григорьевны, негативно настроенной к первому браку писателя.

В 2004 году автором этого текста была опубликована книга «Мария Констант, жена Достоевского», в которой была сделана попытка объективно осветить жизненный путь Марии Дмитриевны Достоевской, ее роль в развитии творческой индивидуальности писателя.

На книгу пришли как благожелательные, так и критические отзывы. Так, профессор Бристольского университета в Англии, вице-президент Международного сообщества Достоевского Ричард Пис (к глубокому сожалению, ушедший из жизни в 2013 году) написал

автору издания: «Я читаю Вашу книгу с большим интересом и очень рад, что Вы сумели поправить многое в биографии Федора Михайловича, что до сих пор было представлено с одной стороны...» А критика его в основном была направлена на обвинительный тон книги в отношении Анны Григорьевны Достоевской – второй жены писателя.

При этом нельзя забывать, что даже сам факт женитьбы Достоевского и последующей совместной жизни его с Марией Дмитриевной трактовался А.Г. Достоевской лишь как эпизод. А весьма сомнительные антропологические изыскания дочери писателя Любови Федоровны о происхождении Марии Дмитриевны от мамелюков и вовсе вызывают недоумение. Кто же такая была М. Д. Достоевская, урожденная Констант?

Согласно данным известного исследователя творчества Достоевского Л. П. Гроссмана, Мария Дмитриевна происходила из семьи потомка французских эмигрантов. Ее дед Франсуа-Жером-Амадей де Констант был капитаном королевской гвардии при дворе Людовика XVI в Париже. На сайте «France noble family Constant» содержится информация о том, что Констант – протестантская семья из Артуа (регион на северо-востоке Франции). Некоторые представители этого рода во время религиозных войн переселились в Швейцарию, другие – в Голландию, где стали подданными Вильгельма Оранского, впоследствии короля Англии Вильгельма III.

Сэмуэль Констант, известный как барон де Констант, в 1704 году служил генерал-адъютантом у лорда Албемала и потом сражался под началом герцога Мальборо во всех его крупных битвах.

Сын Сэмуэля Дэвид, тоже офицер, был ранен при Фонтенуа – в сражении между французскими войсками и союзными силами англичан, голландцев и ганно-

верцев 11 мая 1745 года во время войны за австрийское наследство.

Его внучатый племянник Франсуа-Жером-Амадей служил уже во французской королевской гвардии при дворе Людовика XVI. Но 21 января 1793 года король Франции был казнен. Франсуа де Констант в силу своих роялистских убеждений остался не у дел и эмигрировал за границу. После годичных мытарств по Европе brave капитан предстал перед тронном российской императрицы. Екатерина II, с сочувствием относившаяся к дворянской эмиграции из Франции, решает его судьбу. Франсуа принял российское гражданство, православную веру, а вместе с ней новое русское имя – Степан.

Не останавливаясь здесь подробно на его родственных связях во Франции, стоит назвать хотя бы несколько известных имен из этой фамилии. Так, троюродный брат Франсуа Анри-Бенжамен Констант стал гражданским мужем писательницы Жермены де Сталь. После Термидора они вместе вернулись из Швейцарии в Париж, где Констант с 1796 года активно поддерживал Директорию, стал членом Законодательного трибунала. В ходе «Ста дней» разрабатывал дополнения к Конституции Наполеона I.

Кроме того, у Наполеона служил камердинером Вери-Луи Констант, родом из Фландрии, и его хорошим знакомым был Франсуа-Антуан Карман – командир эскадрона мамелюков. (Вот откуда, вероятно, и произрастали слухи, озвученные в мемуарах дочерью Ф. М. Достоевского, о будто бы африканских корнях первой жены писателя. – *Прим. ред.*)

* * *

Но вернемся к Степану Константу. В то время Россия осваивала вновь приобретенные после победоносной войны с Турцией земли – Новороссию. В 1765 году была образована Новороссийская губерния. Ее новым центром стал Екатеринослав. По поручению Екатерины II герцог Арман Эммануэль де Плеси Ришелье, эмигрировавший в Россию в 1790-м, составил проект создания в Южной России новых поселений с участием французских эмигрантов. Степана Константа послали в Екатеринослав для организации строительства оборонных сооружений и городских зданий.

В 1799 году у него там родился сын Дмитрий.

В 1819-м Дмитрий Степанович Констант окончил с отличием Екатеринославскую гимназию и поступил на службу в Дворянское собрание, а в 1820 году его определили переводчиком французского языка в штаб генерала И. Н. Инзова. В 1821-м Константа направляют на службу в Таганрог в Строительный комитет. В том же году он женится. Его жена была из дворянской семьи, звали ее Софья Александровна.

Всего в семье Констант родилось семь детей: три сына и четыре дочери. Первым в 1823 году появился

на свет сын Степан, а через полтора года, 11 сентября 1824 года, – дочь Мария.

С 1832 года и до конца жизни служба Д. С. Константа была связана с таможнями. Формулярные списки характеризуют его как человека честного и исполнительного. Его карьера успешно продвигалась, он награждался орденами, а в 1863 году вышел в отставку в чине действительного статского советника.

Дмитрий Степанович был не только исправным чиновником, но и заботливым, любящим отцом. Его старший сын Степан учился в Петербурге в пансионе при Институте путей сообщений. Старшая дочь Мария воспитывалась в Таганрогском пансионе благородных девиц, который окончила с похвальным листом. Ее и вторую дочь Варвару Констант хотел поместить в институт благородных девиц в Петербурге, но в 1837 году умирает его жена. Семья уезжает в Астрахань, где Дмитрий Степанович получает должность капитана Астраханского карантинного порта, а на следующий год – директора Астраханского карантинного.

Александр Дюма, автор «Трех мушкетеров», в 1859 году во время своей поездки по России посетил в Астрахани дом Д. С. Константа. Позже писатель поделился своими впечатлениями: «Он не только симпровизировал для нас превосходный обед, но еще сумел собрать дюжину гостей, которые не смогли бы позволить себе предположить, если разом закрыть все двери, что находишься в тысяче лье от Франции. Трудно представить себе, какое моральное влияние оказывает на остальной мир наша цивилизация, наша литература, наше искусство, наши моды. В отношении нарядов, романов, театра и музыки едва ли больше чем на шесть недель женщины отставали от Франции. Говорили о поэзии, романах и опере, о Мейберге, Гюго, Бальзаке и Альфреде де Мюссе... Подумать только, что при этом, открыв форточку и протянув руку, коснешься Каспийского моря...»

В 1846 году Мария Дмитриевна выходит замуж за чиновника особых поручений начальника Астраханского таможенного округа – коллежского секретаря Александра Ивановича Исаева. Он родился в 1822 году в городе Петрозаводске Олонецкой губернии в семье дворянина. В 1830-х годах жил в Астрахани, а в 1838-м окончил неполный курс астраханской гимназии. Затем Исаев поступает на военную службу вольноопределяющимся и отправляется на Кавказ воевать с горцами. К этому времени относится его знакомство с капитаном артиллерии И. В. Ждан-Пушкиным. В боевых действиях Александр Иванович проявил себя храбрым солдатом и получил офицерское звание.

Позднее, в 1840-х годах, Ждан-Пушкин будет служить в должности инспектора Омского кадетского корпуса и встретится с Ф. М. Достоевским.

После службы на Кавказе Исаева переводят в Симбирск, а затем снова в Астрахань, на должность адъютанта отдельной роты Астраханского карантинного. С это-

го момента его служба связана с таможенными учреждениями.

Первые годы службы Исаева в Астрахани проходили под началом директора Карантинного дома Д. С. Константа. У чиновников этого ведомства был свой узкий круг, и так получилось, что А. И. Исаев женился на старшей дочери Константа Марии Дмитриевне.

10 ноября 1847 года в семье Исаевых родился сын Павел.

В первые годы замужества Марии Дмитриевны Александр Иванович преуспевал на службе. Но в феврале 1851 года его направляют чиновником особых поручений при начальнике Сибирского таможенного округа. Сначала Исаевы живут в Петропавловске, а затем переезжают в Семипалатинск, где разместились квартира начальника округа.

Весной 1854 года в Семипалатинске, где по окончании четырехлетних каторжных работ в Омском остроге Достоевский служил солдатом в 7-м Сибирском линейном батальоне, состоялось его знакомство с А. И. Исаевым. Произошло это на квартире батальонного командира Белихова. Затем Федор Михайлович знакомится и с Марией Дмитриевной.

Вот как описывает эту встречу Достоевский в письме к своему старшему брату Михаилу Михайловичу от 13 января 1856 года: «Но не он привлекал меня к себе, а жена его Мария Дмитриевна. Это дама, еще молодая, 28 лет (на самом деле она была старше. – *Прим. авт.*), хорошенькая, очень образованная, очень умная, добра, мила, грациозна, с превосходным великодушным сердцем... <...> с ними почти все раззнакомились, частично через мужа. Да они и не могли поддерживать знакомств. Наконец ему вышло место, в Кузнецке, Томской губернии, заседателем, а прежде он был чиновником особых поручений, при таможе; переход от богатой и видной должности к заседательству был очень унижен. <...> Слава богу, теперь ей помогают родные, с которыми она была несколько в ссоре, через мужа. Родные ее в Астрахани...»

Мария Дмитриевна по своему образованию и умственному развитию стояла значительно выше прочих городских дам, с большинством из которых у нее было мало общего. Семипалатинск того времени был захолустьем, однако имя Достоевского как талантливого писателя было знакомо представителям городской интеллигенции. И все же многие из них не понимали, для чего нужно было Исаевой общаться со ссыльным солдатом...

Глубокая любовь, которую Федор Михайлович почувствовал к Исаевой, не могла не отразиться и на Марии Дмитриевне; ее дружба с Достоевским постепенно переходила в сердечную привязанность. Однако в мае 1855 года Исаевы уехали на место новой службы

Александра Ивановича – в Кузнецк, в 700 верстах от Семипалатинска. А в августе того же года Достоевский получил известие о его смерти.

Мария Дмитриевна осталась одна с маленьким сыном на руках, без достаточных средств к существованию, в далеком малознакомом сибирском городке.

Федор Михайлович начинает предпринимать решительные меры. Во-первых, он посылает письмо герою Крымской войны, известному военному инженеру Э. И. Тотлебену (брату своего однокашника по Инженерному училищу Адольфа Тотлебена, с которым они были близко знакомы по Петербургу) с просьбой хлопотать о возвращении ему офицерского чина. Во-вторых, он осуществляет достаточно авантюрную поездку из Семипалатинска в Кузнецк.

Между тем письмо Достоевского Э. И. Тотлебену было передано в штаб генерал-инспектора по инженерной части, великого князя Николая Николаевича. В архивах штаба сохранилось дело «О производстве в прапорщики унтер-офицера (из политических преступников) Сибирского линейного батальона Федора Достоевского». Ему также позволялось заниматься литературной деятельностью с правом печатанья на законных основаниях.

В ноябре 1856 года состоялось производство Достоевского в прапорщики (соответствующий Приказ Его Императорского Величества Александра II датирован 1 октября), и Федор Михайлович снова выезжает в Кузнецк – с целью сделать Марии Дмитриевне предложение. Получив в ответ решительное «да», счастливый Достоевский вернулся в Семипалатинск и стал готовиться к свадьбе.

Венчание состоялось в Кузнецке в Одигитриевской церкви Божьей Матери 6 февраля 1857 года. В середине того же месяца Достоевские покинули Кузнецк и направились сначала в Барнаул, где у Федора Михайловича было много знакомых. Они остановились у Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского, тоже бывшего однокашника писателя по Инженерному училищу, будущего крупного ученого-географа, вице-председателя Русского географического общества. Впоследствии Семенов-Тян-Шанский вспоминал: «Оживленный надеждой на лучшее будущее, Достоевский поехал в Кузнецк и через неделю возвратился ко мне с женой и пасынком в самом лучшем настроении и, погостив у меня еще две недели, уехал в Семипалатинск... Она (М. Д. Достоевская. – *Прим. авт.*) оказалась самой образованной и интеллигентной из дам семипалатинского общества... и была она «хороший человек» в самом высоком значении этого слова».

В конце февраля 1857 года Достоевские вернулись в Семипалатинск и стали обустривать свою жизнь. Сняли квартиру в доме почтагона, меблировали комнаты. Федор Михайлович, несмотря на то что жил очень скромно, часто нуждался в деньгах. Оно и по-

нятно: жалование было незначительное, а литературным трудом Достоевский стал зарабатывать гораздо позднее.

Мария Дмитриевна в полной мере понимала значение литературной деятельности мужа и сумела устроить в семье уют. Обстановка была скромная, но вполне располагающая к работе, и Достоевский в это время много писал. Военная служба тяготила писателя – он думал об отставке, надеясь целиком сосредоточиться на творчестве.

Есть основания говорить о том, что родственники Достоевского первоначально восприняли Марию Дмитриевну холодно. А вот у самого Федора Михайловича сложились добрые отношения с тестем Дмитрием Степановичем и сестрой жены Варварой Констант. Между ними началась переписка. Вот несколько фрагментов из нее.

20.04.1857 г., Семипалатинск:

«<...> Не знаю, в состоянии ли я буду исполнить то, что положил в моем сердце, но заверяю Вас, что во мне твердое непоколебимое желание составить счастье жены моей и устроить судьбу бедного Паши. Я люблю его как родного: я так любил его отца, что не могу не быть другом и сыну. <...>»

31.08.1857 г., Семипалатинск:

«<...> Вы мне написали столько лестных слов, благороднейший и многоуважаемый Дмитрий Степанович, что я, право, не знаю, чем заслужил их, клянусь Вам, что постараюсь заслужить Вашу доверенность ко мне... Позвольте мне именоваться Вашим почтительнейшим родственником и примите уверение в том глубочайшем уважении, с которым я имею честь пребывать, милостивый государь, Вашим покорнейшим и всегдашним слугою...»

15.03.1858 г., Семипалатинск:

«<...> Уверю Вас, многоуважаемый Дмитрий Степанович, что я подал в отставку по расстроенному здоровью и надеюсь, что мне разрешат жить в Москве. Делаю я это, во-первых, потому, что действительно болен; во-вторых, что здешняя служебная карьера не представляет мне никакой выгоды, а в-третьих, средства к содержанию увеличатся вдвое с переездом в Москву. Мы думаем с Машей, если посчастливится перебраться в Москву, взять с собой Пашечку. Да и будущность незавидная выйти в офицеры Сибирского корпуса (в это время Паша Исаев был определен Достоевским в Сибирский кадетский корпус в Омск. – *Прим. авт.*). Но когда мы уедем, оставлять его грешно, тем более что в России, я уверен, будет случай дать ему воспитание в лучшем заведении...

Как бы я желал, вместе с Машей, увидеть Вас и познакомиться с Вами лично. Может быть, Бог и исполнит наше желание скоро.

С чувством глубокого уважения и преданности, позвольте мне пребыть, милостивый государь, Вашим почтительнейшим родственником.

Федор Достоевский».

Бог не дал. Они никогда не встретятся.

Достоевские вели жизнь скромную, но не скучную, часто бывали у своих друзей и хороших знакомых, в частности у Артемия Ивановича Гейбовича, который состоял ротным командиром Федора Михайловича.

Семипалатинский друг Ф. М. Достоевского А. Е. Врангель, барон, стряпчий казенных и уголовных дел, до своего отъезда в Петербург весной 1857 года тоже встречался с новобрачными и оставил свои впечатления о Марии Дмитриевне: «Она была начитанна, довольно образованна, любознательна, добра и необыкновенно жива и впечатлительна» (это цитата из «Воспоминаний о Достоевском в Сибири», которые были написаны Александром Егоровичем после смерти писателя и изданы в 1912 году).

К концу 1857 года наладились наконец отношения Марии Дмитриевны с родней мужа. Свидетельством тому строки из записки М. Д. Достоевской сестре В. Д. Констант от 20 апреля 1857 года:

«<...> Чтоб не потерять случай, а тем более что мы так давно не писали одна другой, я принялась нацарапать тебе Варя, несколько строк. Я думаю, вы уже давали мне несколько эпитетов за мое молчание, но, право, и мне пришлось ожидать от вас весточки немало число недель. Муж мой посылает вам поклон и просит полюбить его так же братски, как когда-то любила ты искренне Александра Ивановича. Хотелось бы многое написать и так о чем поболтать, да подходит время отправки писем. Скажу тебе, Варя, откровенно – если бы я не была так счастлива и за себя, и за судьбу Паши, то, право, нужно было поссориться с тобой, как с недоброю сестрой, но в счастье мы всё прощаем. Я не только любима и балуема своим умным, добрым, влюбленным в меня мужем, – даже уважаема и его родными. Письма их так милы, приветливы, что, право, остальное стало для меня трин-травой. Столько я получила подарков, и все один другого лучше, что теперь будь покойна, придется мало тебя беспокоить своими поручениями.

Поцелуй за меня Соню, Лиду и поклонись всем, кто захочет меня вспомнить. Если ты не поленишься и будешь писать мне, то я всегда с удовольствием буду отвечать тебе. Паша кланяется тебе и Лиде, он очень любим и умно балуем Федором Михайловичем <...>»

Это единственный дошедший до нас автограф Марии Дмитриевны Достоевской. Можно только предполагать, как сложились бы семейные отношения с Федором Михайловичем, если бы не болезнь Марии

Дмитриевны, не позволившая им иметь детей и унесшая ее через семь лет в могилу.

В начале января 1858 года Федор Михайлович направил прошение на имя командира Сибирского корпуса Г. Х. Гасфорта об отставке по болезни. Гасфорт пошел навстречу и в марте 1858 года отправил рапорт об увольнении Достоевского Александру II. Тем временем в журнал «Русское слово» писатель отправляет свою новую повесть «Дядюшкин сон». Мария Дмитриевна в эти дни всецело поддерживает мужа. «Жена кланяется. Она меня ободряет», – отмечает Федор Михайлович в одном из писем.

В декабре 1858 года Достоевскому объявили о запрещении ему въезда в Санкт-Петербургскую и Московскую губернии; в качестве места жительства он выбрал Тверь. 18 марта 1859 года благодаря ходатайству генерал-адъютанта Эдуарда Ивановича Тотлебе-на вышел высочайший приказ об увольнении в отставку по болезни прапорщика Достоевского с награждением следующим чином. Супруги стали собираться в дорогу.

2 июля 1859 года Достоевские навсегда покинули Семипалатинск и на специально приобретенном для этого переезда тарантасе отправились в трудный 4000-верстный путь в Россию. Заехав на четыре дня в Омск, чтобы забрать из кадетского корпуса Пашу Исаева, они через Казань добрались до Твери 19 августа.

Здесь Достоевские остановились сначала в гостинице, затем сняли квартиру из трех небольших комнат. Федор Михайлович начинает хлопотать о разрешении жить в Петербурге. Наконец 25 ноября он получил официальное разрешение на постоянное жительство в Северной столице. Переезд в Петербург состоялся в 20-х числах декабря 1859 года.

Брат Михаил нанял им там квартиру с мебелью и обстановкой, а в марте 1860 года семья переехала в двухэтажный каменный дом купца Палибина в третьей роте Измайловского полка (ныне 3-я Красноармейская улица, д. 5), где и прожила до сентября 1861 года.

В литературной среде возвращение Достоевского из ссылки прошло достаточно заметно. Уже в 1860 году в Москве было издано первое собрание сочинений писателя в двух томах. «Бедные люди», «Двойник», «Маленький герой» перечитывались с успехом. «Село Степанчиково» и «Дядюшкин сон» были встречены читателями и критиками более прохладно.

Переехав в Петербург, Мария Дмитриевна сразу окунулась в круг литературной элиты, наиболее передовых людей своего времени. Знакомство с Тургеневым, Некрасовым, Писемским, Григоровичем, Страховым произвело на нее большое впечатление. Но болезнь, принявшая уже хроническую форму, делала свое дело.

Из воспоминаний литературного критика, публициста и друга Ф. М. Достоевского Н. Н. Страхова: «Помню также, как я первый раз увидел, почти мельком, его первую жену, Марию Дмитриевну, она произвела на меня очень приятное впечатление бледностью и нежными чертами своего лица, хотя эти черты были неправильны и мелки, видно было и расположение к болезни, которая свела ее в могилу».

Иван Сергеевич Тургенев сохранял добрые отношения с Марией Дмитриевной до самой ее кончины и неизменно передавал ей приветы в письмах к Федору Михайловичу.

Осенью 1860 года в доме Достоевских гостил старый знакомый Достоевского по Омску и Семипалатинску, казахский ученый, этнограф, офицер Генерального штаба Российской империи, чингизид, внук последнего хана Средней Орды Чокан Валиханов. Мария Дмитриевна вообще с особой теплотой принимала гостей из Сибири. А Валиханов впоследствии отметил в своих заметках: «Мария Дмитриевна – сама любезность, простота и обаяние. Она умна, а главное, добрый человек».

Именно Валиханов подарил Достоевским большой палисандровый ящик, в котором Федор Михайлович потом хранил рукописи, письма и вещи, связанные с дорогими ему воспоминаниями.

97

Пасынок Федора Михайловича Паша Исаев проживал с матерью и отчимом. Вращался в кругу знакомых и родственников Достоевского. Особенно сблизился с семьей старшего брата писателя Михаила Михайловича, где была молодежь – племянники Федора Михайловича Михаил и Федор.

После исключения из гимназии «за детскую шалость» в конце 1861 года Исаев пытался восстановиться, но безуспешно, несмотря на усилия нанимаемых отчимом репетиторов. Этим он приносил дополнительное беспокойство и огорчение и без того больной матери.

В семейных отношениях Достоевских назревал кризис. У Марии Дмитриевны обострилась болезнь, состояние ухудшилось, она стала весьма раздражительна. В Петербурге с его влажным климатом оставаться было нельзя. В конце мая 1863 года они выехали на лето во Владимир к состоятельной тетке Марии Дмитриевны по матери. Сам Федор Михайлович собрался за границу, по возможности на короткий срок, «единственно для того, чтобы посоветоваться с докторами – специалистами по падучей болезни (Труссо в Париже и Рамберг в Берлине)».

Здесь Федор Михайлович слукавил. Была еще одна причина его поездки за границу, и причина эта имела имя: Аполлинария Прокофьевна Суслова, девица 24 лет от роду.

В октябре 1861 года в журнале «Время», принадлежавшем братьям Достоевским, появилось произведение А. П. Сусловой – повесть «Покуда» (к слову, как отмечали литературные критики, весьма слабая в художественном отношении). Видимо, в то время и состоялось знакомство Федора Михайловича с Аполлинарией Прокофьевной, которая произвела на него неизгладимое впечатление: «Стройная девушка с большими серо-голубыми глазами, с красивыми чертами умного, волевого лица, с гордо вскинутой головой, обрамленной прекрасными рыжеватыми волосами».

Суслова относилась к новому поколению русской молодежи, которое выросло во второй половине 1850-х годов. В III Отделении Аполлинария числилась среди девиц, известных под именем «стриженных» и относящихся к категории нигилистов. Эмансипация женщин, нередко понимаемая в духе времени как полная раскрепощенность, свобода от семейных, моральных, общественных да и вообще любых уз, отвечала натуре Сусловой.

Безусловно, Аполлинария Суслова была предметом сильной страсти Достоевского. И можно в чем-то понять еще не старого мужчину, отягощенного семейными заботами рядом со смертельно больной женой, встретившего неординарную, молодую, красивую девушку, явно стремившуюся сблизиться с ним. В ней писатель увидел нечто от амазонки. Это была иная порода, для него непривычная, тот новый тип своенравной властительницы, с каким ему еще не приходилось встречаться. Она постоянно искала свободы, но понимала ее по-своему – отказываясь от обязанностей по отношению к окружающим и считая, что она ни с кем не связана. К сожалению, эта «свобода нравов» доходила у Аполлинарии до цинизма и распущенности.

Особенно поражает ее отношение к Марии Дмитриевне. Отлично осведомленная о смертельной болезни жены Достоевского (и ждать-то оставалось всего ничего!), Аполлинария Прокофьевна потребовала от Федора Михайловича развода с умирающей женщиной.

В этот момент Достоевский предстал перед грозным судьей – перед своей совестью. Его решения самые твердые, клятвы самые пылкие, выводы самые непреложные – все это вдруг заколебалось в глубине его души. И чем больше он размышлял обо всем этом, тем сильнее становилось его смятение.

А Мария Дмитриевна в это время медленно угасала во Владимире. В конце августа 1863 года в Астрахани умер ее отец – последняя жизненная опора. К тому же она знала и чувствовала неладное в отношениях с мужем, потому и отвечала молчанием на его письма из-за границы. И здесь неожиданно проявила себя сила слабого. Выбор был сделан. Федор Михайлович

оставляет Суслову и в октябре 1863 года возвращается к больной жене в Россию.

Они срочно переезжают из Владимира в Москву – в связи с разделом наследства по завещанию Александра Алексеевича Куманина, богатого московского купца первой гильдии, мужа тетки Ф. М. Достоевского. К этому еще добавились заботы о возобновлении нового журнала вместо запрещенного «Времени» и беспокойство за Пашу Исаева.

После наступления нового, 1864 года состояние Марии Дмитриевны опять ухудшилось, и Достоевские остались в Москве, где климат для ее здоровья был более щадящим. Поездка в Петербург по литературным и издательским делам все откладывалась и откладывалась.

И вот 15 апреля 1864 года Федор Михайлович пишет из Москвы своему брату Михаилу:

«Вчера с Марьей Дмитриевной сделался решительный припадок: хлынула горлом кровь и начала заливать грудь и душить... Она со всеми простилась, со всеми примирилась, всем распорядилась.

Передаст всему твоему семейству поклон с желанием долго жить. <...>

Марья Дмитриевна умирает тихо, в полной памяти. Пашу благословила заочно. <...>

Сейчас, в 7 часов вечера, скончалась Марья Дмитриевна и всем нам приказала долго жить (ее слова). Помяните ее добрым словом. Она столько выстрадала теперь, что и не знаю, кто бы мог не примириться с ней...»

В связи с тем, что Мария Дмитриевна находилась сначала во Владимире, а затем в Москве, ее сын Павел Исаев был предоставлен сам себе, оставался без должного присмотра. На новый, 1864 год он приехал из Петербурга в Москву, чтобы навестить больную мать, но ничего, кроме расстройства, своим поведением Марии Дмитриевне не доставил.

Паша не присутствовал при кончине матери, но на похороны приехать успел.

Возвратившись затем из Москвы в Петербург, Достоевский с пасынком поселились там на Малой Мещанской улице (ныне Казначейная улица, д. 9) в доме Евреинова.

10 июля 1864 года неожиданно скончался брат Федора Михайловича Михаил Михайлович Достоевский. К тому времени в семье осталось всего триста рублей, на которые его и похоронили. Между тем за покойным числилось до двадцати пяти тысяч рублей долгов; семейство его, состоявшее из жены и четырех детей, осталось почти без средств. Достоевский взял на себя уплату долгов брата, содержание его семьи и воспитание пасынка. При этом у него участились припадки эпилепсии. Паша Исаев научился ухаживать за прием-

ным отцом во время припадков и в меру своих возможностей помогал ему в быту. Из письма Ф. М. Достоевского А. Е. Врангелю от 14 апреля 1865 года: «Я живу один, при мне Паша – мой пасынок. Ему уже семнадцатый год, учится. Вас очень помнит и Вам кланяется».

Лето 1866 года Достоевский провел в Люблино под Москвой, где нанял отдельную дачу рядом с дачей своей сестры Веры Михайловны Достоевской (с января 1846 года та была замужем за А. П. Ивановым). Он усиленно работал над романом «Преступление и наказание», намереваясь закончить его к концу года. Однако жить одному в отдельном доме было скучно и неудобно. Федор Михайлович опасался внезапных приступов падучей. Паша Исаев некоторое время оставался в Петербурге, но Достоевский, боясь также за жизнь пасынка (в то лето в Северной столице свирепствовала холера), потребовал его к себе. Павел послушался, приехал в Москву, а затем в Люблино, где прожил до августа 1866 года, оказывая отчиму посильную помощь.

Впереди, в самом недалеком будущем, писателя ожидала новая жизнь. Наступили знаменитые ныне «26 дней».

* * *

Напомним суть и последовательность тех событий.

Несмотря на гонорар, полученный за «Преступление и наказание», Достоевский оказался без достаточных средств. Целые тысячи пошли на уплату старых долгов, Федор Михайлович попал в кабалу к издателю Ф. С. Стелловскому, который купил право издания его сочинений за 3000 рублей и потребовал от писателя нового романа («Игрок»). Пришлось нанять стенографистку, которой оказалась Анна Григорьевна Сниткина, девушка двадцати лет.

Совместная работа продолжалась 26 дней, роман удалось закончить в срок. За эти дни писатель и стенографистка успели сблизиться, полюбить друг друга, и 15 февраля 1867 года Достоевский повел Анну Григорьевну под венец. Но это сюжет уже для другого повествования.

Теперь несколько слов о судьбе Павла Исаева и его потомков.

Образ Павла Александровича Исаева неожиданно возник из небытия уже в наше время. Лауреат Нобелевской премии по литературе за 2003 год южноафриканский писатель Джон Максвелл Кутзее в своем произведении «Осень в Петербурге» вывел одним из главных героев пасынка Ф. М. Достоевского, якобы члена тайной группы во главе с известным революционером Сергеем Геннадьевичем Нечаевым. И будто бы Павел погибает от руки убийцы – участника революционного кружка. Однако этот сюжет не соответствует истине.

Ф. М. Достоевский после женитьбы продолжал поддерживать Павла Исаева в течение всей своей жизни, несмотря на размолвки с ним из-за несложившихся отношений между пасынком и второй женой писателя Анной Григорьевной Достоевской. Федор Михайлович неоднократно устраивал Павла на различные места по службе, помогал материально его семье (в апреле 1871 года Исаев женился на Надежде Михайловне Устиновой, из семьи военных моряков). У них родилось шестеро детей: четыре дочери и двое сыновей, младший из которых – Алексей – умер в детстве.

Старшая дочь Павла Исаева – Вера, о которой Федор Михайлович не раз упоминал в письмах к родственникам, вышла впоследствии замуж за Евдокима Витальевича Донова, типографского служащего. У них было четверо детей, все сыновья.

Павел Александрович Исаев после смерти Достоевского продолжал служить в банке. Умер он в 1900 году в Петербурге от туберкулеза.

Вера Павловна Донова погибла вместе с мужем во время блокады Ленинграда в городе Пушкине от прямого попадания в их дом немецкого снаряда в сентябре 1941 года.

Их третий сын Алексей Евдокимович Донов – мой отец – после окончания Ленинградского государственного университета в 1932 году и аспирантуры в 1935-м стал кандидатом физико-математических наук и доцентом Ленинградского института точной механики и оптики. В феврале 1940 года он был призван в Красную армию рядовым на финскую войну. В сентябре 1940-го, как специалист по аэродинамике летательных аппаратов, был переведен в Научно-испытательный институт ВВС под Москву, работал с А. Н. Туполевым, С. А. Лавочкиным. В 1949 году защитил докторскую диссертацию, участвовал в испытаниях первых реактивных самолетов. В июне 1954 года в звании полковника был переведен в Ленинград на должность начальника кафедры динамики полета летательных аппаратов в академию ВВС им. А. Ф. Можайского. Получил там звание профессора, а в 1962 году ему было присвоено воинское звание генерал-майора. Участвовал в запусках космических аппаратов на Луну и Венеру. Умер 16 апреля 1977 года.

Другие потомки М. Д. Достоевской работали в тылу, гибли на фронтах Великой Отечественной войны и умирали от голода в блокадном Ленинграде.

* * *

Образ Марии Дмитриевны Достоевской растворился в литературных персонажах писателя Достоевского. Красота, впечатлительность и порывистость Настасьи Филипповны в «Идиоте»; отчаяние, жертвенность и безумная истеричность Екатерины Ивановны Мармеладовой в «Преступлении и наказании»; ум, доброта и наивность Катерины Ивановны в «Братьях Ка-

К 300-летию Кузбасса
Работы учащихся Центральной детской школы искусств
г. Кемерово



Алыхова Анжелина. 14 лет. Митинг по случаю преобразования села Щеглово



Шульгина Мария. 13 лет. Святая Варвара – покровительница шахтеров



Самаркина Валерия. 8 лет. Возле школы



Шкапар Анастасия. 12 лет. Первые жители Мариинска и памятник Марии Александровне



Вяслева Арина. 14 лет. Шорские сказания. Лесные духи



Самсонова Мария. 13 лет. Частный сектор



Тумат Туяна. 11 лет. Вечерний город



Козлова Вероника. 16 лет. Утро в родном городе

рамазовых»... Многое из этого писатель черпал от Марии Дмитриевны.

Напомним, что Мария Дмитриевна была наполовину французенкой, волею судьбы заброшенной в далекие сибирские земли, так не похожие на живописные ландшафты милой ей Франции, в которой она так никогда и не побывала.

Достоевский любил свою первую жену, достойную доброй памяти за одно только это светлое чувство.

г. Санкт-Петербург

Елена ТРУХАН ДОСТОЕВСКИЙ – ИМЯ ОБЖИГАЮЩЕЕ

(к 200-летию Ф. М. Достоевского
и 70-летию Л. А. Никоновой)

Кузнецкой земле повезло необычайно: в середине XIX века на нее ступил «вчерашний каторжник» и «гений завтрашних времен» Федор Михайлович Достоевский. С тех пор растет число попавших под влияние писательского дара, ощутивших глубокое духовное очищение и преображение от его книг. Владимир Мазаев и Николай Якушин, Николай Николаевский и Любовь Никонова, Мэри Кушникова и Вячеслав Тогулев, Александр Савченко и Альбина Шадрина, Леонид Сербин и Валентин Павлов... Список тех, кого не просто коснулись, а прямо-таки обожгли биографические страницы Достоевского, кто оказался вовлечен в бесконечно меняющийся круговорот жизни его литературных героев, смущен и обескуражен внезапно открывшейся «всей подноготной» отдельного человека и человечества, ширится год от года.

«Обжигающее имя – Достоевский!» – метафорически обозначил собственную художническую встречу с ним новокузнецкий поэт, прозаик и педагог Любовь Алексеевна Никонова. Ей, чаще других региональных авторов припоминавшей классика в своем творчестве, суждено было пройти с его именем от подросткового возраста до конца жизни...

Первое прикосновение к художественному миру Ф. М. Достоевского произошло у Никоновой в 15–16 лет. «В подростковом возрасте открыла для себя Блока и Достоевского, – писала она в очерке «Сокровенное свечение». – Это мои самые большие литературные привязанности». В тот период Любовь Алексеевна уже переехала из родного села Владимировка Хворостянского района Самарской области в суровый индустриальный Новокузнецк, жила в семье сестры Валентины Алексеевны Смотрителевой, училась в старших классах и продолжала писать стихи. В ее творческую жизнь вошел сначала Достоевский, рекомендо-

ванный к изучению общеобразовательной программой. Но ненасытная жажда чтения, неистребимое любопытство и любознательность Никоновой значительно расширили рамки школьного списка литературы.

Автор «Бедных людей» и «Униженных и оскорбленных» с первого знакомства был воспринят Л. А. Никоновой как близкий по духу, родной. Все несчастное, бедное, хворое и обиженное судьбой находило у нее, как и у любимого писателя Достоевского, сострадание и участие, обращало на себя пристальное внимание, вызывало симпатию. В этом смысле знаменательны строчки из письма Любви Алексеевны, адресованные 27 ноября 1982 года подруге Валентине Андреевне Куртовой¹:

«Были от тебя перед праздниками 2 письма. Мне особенно понравилось второе, где в числе прочего говорилось о «хроменьких и забытых». Не вижу неврастении в том, что ты любишь хроменьких. <...> Я всегда жалела и жалею всех тихих, робких и слабых. И чем больше становится «рвачей и выжиг», тем заметнее на этом беззащитном фоне безответные и забытые существа...»

Со временем в мире Никоновой Достоевский сильно преобразился: стал для нее одним из культурных символов Новокузнецка и всей Кузнецкой земли, их «священным камнем» – огненно-горячим, как металлургическая и угольная отрасли, и горячим, как слеза шахтерских вдов, собирающейся бедноты с городских окраин или самой сибирской природы, подминаемой стремительными темпами индустриальных лязгающихстроек. «В Новокузнецке, городе металлургов, много огня. Наверное, это не просто физическое пламя, но огонь веры, надежды и любви», – размышляла она в эссе «Лик города» (1998), причисляя к общему высокому горению и заветное «обжигающее имя». Достоевский прочно закалился в этом огне, переплавив телесное в духовное, бытовое и текущее – в вечное. Он стал неотъемлемой частью художественного мира Любови Никоновой. На нем, словно на чудодейственном бел-горюч камне Алатыре, вся ее писательская вселенная и держится. Удивительно, но куда бы мы ни отравились вместе с лирической героиней – обязательно придем к краеугольному камню русской литературы: кажется, все извилистые тропки и широкие дороги Никоновой начинаются и завершаются Достоевским.

В попытках постичь «сокровенные смыслы» Слова, понять себя и определить источники вдохновения Любовь Никонова пылливо вглядывалась в рисунки, «черновики, наброски, заметки других авторов». Она видела, как в них беззащитно обнажается писательское «творческое естество», правдивое и искреннее, кото-

¹ В статье использованы экспонаты из личного архива Л. А. Никоновой, хранящиеся в Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского (г. Новокузнецк).

рое невозможно подделать. Не стал исключением и Достоевский с его каллиграфическими упражнениями и графическими рисунками на полях рукописей. «В юности, чтобы исследовать это «естество» опытным путем, я переписывала от руки фрагменты произведений Гоголя, Чехова, Бунина. Отдельные тетради были заведены для Достоевского и Блока», – продолжала раскрывать свои писательские секреты Любовь Никонova.

И тут вспоминается один из разговоров с бывшим библиотекарем Кузбасской православной духовной семинарии Ольгой Никифоровной Голиковой, активно общавшейся с Любовью Никоновой в последние годы ее жизни... Оказывается, во время своего обучения в пединституте она писала дипломную работу, посвященную жизни и творчеству Достоевского! Можно ли назвать такое случайностью, совпадением? Пожалуй, нет. Скорее, первыми подступами к серьезным авторским высказываниям о Федоре Михайловиче в стихах и прозе.

Но по-настоящему прорваться сквозь компилятивные ученические тексты, ворох цитат и скромные заметки о книгах Достоевского Любови Никоновой удалось только в 1980-х. Несмотря на то что классик прочно вошел в круг ее писательских и читательских интересов, процесс этот не был легким да гладким. Напротив, вызывал внутренние споры, притяжения и отталкивания, вовлекал в клубок отчаянных противоречий и нескончаемых размышлений над «вечными вопросами». Как ни странно, но особенно остро это стало ощущаться в период ее работы (1982–1987) научным сотрудником в новокузнецком музее писателя, в то время – филиале городского краеведческого музея. 16 октября 1982 года она откровенно признавалась в этом своей подруге-однокурснице Валентине Куртовой:

«Валя, ты просишь написать все, что я знаю об Исаевой и Достоевском. Знаю я мало. Но о Федоре Михайловиче у меня складывается мнение очень противоречивое. Мне кажется, что Н. Страхов в своем «клеветническом» письме к Толстому писал о Достоевском истину. А вообще, Валя, все приходит с опозданием. Когда-то я ничего лучше и выше Достоевского в литературе не видела. Вот тогда бы и надо было мне водвориться в этот музейчик (но тогда музея не существовало). А сейчас я далека от мира Достоевского. Далека.

Помнишь, в «Братьях Карамазовых» он говорит о людях, для которых важнее всего не деньги, не положение, а важно «вопрос разрешить». У меня тоже есть «вопрос», очень, кстати, близкий к вопросу, которым задавался Иван Карамазов. Но каждый разрешает свои вопросы по-своему. Пути Достоевского мне не нравятся».

Тем не менее работа в музее как новый этап погружения в жизнь и творчество Ф. М. Достоевского заставили Никонову вновь откорректировать собственную позицию, обнаружить новые грани личности гения, масштабности его влияния. Понятие о нем значительно расширилось, в том числе за счет изучения достопримечательных кузнецких объектов и мест, где он, мучимый «грозным чувством», оказался. Никонova смотрит на них особенно – через призму романов Достоевского, в контексте их тягостной и душевной атмосферы:

«Дому 150 лет, если не больше (ул. Достоевского, 40, мемориальный дом писателя в Новокузнецке. – Е. Т.). В нем темно, сыро, холодно. Находится он недалеко от тюрьмы (Достоевский и темные страдания всегда совпадают)...»

В 2009 году, отвечая на вопросы анкеты почетных читателей Центральной городской библиотеки им. Н. В. Гоголя, Любовь Алексеевна создала «Драгоценный список любимых литературных произведений». Под номером один в нем назвала имя Достоевского и его главные творения, без которых не мыслила себя как читателя: «Преступление и наказание», «Идиот», «Кроткая», «Братья Карамазовы». Этот перечень располагался сразу после «Нового Завета Господа нашего Иисуса Христа», никак не пронумерованного. Иными словами, Евангелие стояло у нее выше всех, словно возносилось на престоле в золотом окладе, было Книгой Книг, как и полагается у православного христианина. А Федор Михайлович со своим творчеством следовал сразу за ним, располагался «у подножья» Священного Писания. В зрелости он стал для Никоновой истинным духовным маяком, освещающим крестный писательский и личностный путь, указующим верное направление: «...Далее мои литературные интересы двигались в русле христианства. Без знакомства с книгами Достоевского это было бы невозможно...»

«Обжигающее имя»... Никонova понимала, что «огненная» природа творческого дара писателя распространяется и на восприятие его произведений. Тексты Достоевского нельзя проглотить залпом «без вреда для здоровья». Его следует «вкушать» постепенно, «маленькими глотками», ведь для аудитории неподготовленной такое касание может стать испепеляющим, обугливающим, припекающим, раскаленным... Следы от подобного чтения навсегда остаются и в памяти, и в сердце. Человеку равнодушному, точнее, «нервнодушному к отечественной культуре», как определяет Никонova почитателей Достоевского, они не дают покоя, не могут позволить жить по-старому, оставаться глухим к «интонациям» русского духа, растворенного в бескрайнем пространстве Родины:

«...У Достоевского нашла что-то бесконечно близкое, интонации о. Василия. А когда в 1968 году посмотрела уже в Новокузнецке фильм Ивана Пырьева «Бра-

тя Карамазовы», была потрясена неимоверно: старец Зосима, изображенный там, будто явился из Владимирки – так сильно напоминал он нашего доброго батюшку о. Василия...»

В сознании Никоновой организуются сложные неочевидные связи: между литературным миром Достоевского и миром реальным – селом в Среднем Поволжье, где она появилась на свет и выросла; между знакомым ей с детства человеком – отцом Василием – и Достоевским как автором-рассказчиком (или его персонажем). Православная христианская линия литературного текста Достоевского через десятилетия прокладывает путь в настоящее, внезапно обнаруживается у знакомого ей лично деревенского священника. Такой подход к пониманию Слова как категории вечности, как метафоры непрекращающейся жизни исключительно важен, ведь Любовь Алексеевна считала именно Достоевского своим проводником в постижении духовных основ православия, их непреходящей ценности, а его произведения путеводными, преисполненными пророческой силы.

Заметим, что слово Достоевского, услышанное Никоновой во второй половине XX века в сельской церквушке, произносится с особой интонацией, лучится необыкновенной музыкальностью. Музыка всегда закрепляла интуитивные прозрения и догадки поэтессы, помогала ей почувствовать суть вещей и явлений.

И не только ей. Кажется, в современном мире это коснулось восприятия слова Достоевского в целом. Все чаще произведения русского классика сокращают свой путь к читателю через «оживление» посредством аудиозаписи. Значительную роль в озвучивании играет мелодика речи, громкость, темп, тон, ритмика, особенности фонации произношения. Такая форма подачи текста Достоевского стала важным условием его узнавания и понимания. Еще раз убедилась в том, увлекшись аудиокнигами, погружением в аудиоспектакли. Краем глаза заглянула в отзывы: многие отмечали, что только благодаря выразительному чтению актеров, таких как Юрий Заборовский («Братья Карамазовы» и «Бесы»), Валерий Гаркалин («Сон смешного человека»), Александр Москалин («Идиот»), Всеволод Кузнецов («Преступление и наказание») и др., наконец-то открыли для себя Достоевского, смогли понять смыслы, которые стремился донести автор. Тут же некоторые категорично заявляли: женские голоса совсем не подходят полифоничному и напряженному романному миру писателя! Словом, актерское умение делать «правильные паузы», «мастерски расставлять акценты», «передавать эмоции героев» способствовало приходу Достоевского в жизнь новой, ранее не желавшей к нему обращаться аудитории...

Умение слышать музыку слова Достоевского или других шедевров мировой литературы, искать вдохновение в кино, живописи, театре, архитектуре, танце – все это было свойственно Любви Никоновой. Свежие и запоминающиеся образы других искусств сильно воздействовали на ее внутренний мир, помогали лучше осознать и интерпретировать наследие Достоевского. В этом смысле показательным творческим сотрудничеством поэтессы с художниками Альбертиной Федоровной Фомченко (1939–2010) и Германом Порфирьевичем Захаровым (1933–1992) – авторами произведений, посвященных кузнецким дням Достоевского. С последним Любовью Алексеевну часто беседовала, посещала его мастерскую, интересовалась творческими планами, присутствовала на открытии персональных выставок, иногда пересекалась в доме их общего друга – поэта Игоря Киселева, автора предисловия к ее первому поэтическому сборнику «Скрипичный ключ» (1974). Картину «Кузнецкий венец» среди других «достоевских» работ, написанных им в 1980-х годах, таких как «Бессмертие», «Вечный вопрос», графический цикл о М. Д. Исаевой и др., вообще считала вершиной творчества Г. П. Захарова. О ее доставке в музей Достоевского неоднократно рассказывала и писала. В статье «Духовной жаждою томим» обращала внимание на то, как искусно и верно художник передал на полотне эмоциональное состояние писателя и его супруги:

29

«Наиболее известна картина «Двойной портрет Достоевского и Исаевой, или Кузнецкий венец» (оргалит, масло). Если даже не знать сюжета кузнецкой драмы Достоевского, все равно по картине можно догадаться, что изображенные Захаровым люди – мужчина и женщина – связаны отношениями напряженными, болезненными, о чем говорит узел переплетенных рук...»

Любви Никоновой посчастливилось весело сказать о Достоевском в прозе, поэзии и публицистике. Наиболее глубоко ее мысли и чувства воплотились в очерке «Кузнецкий венец» (1986), стихотворении «Достоевский и Исаева в Кузнецке. 1857 год» (1987), трактате «Достоевский и Исаева: венчание в Кузнецке. Исследование с точки зрения православного таинства брака» (1991) и поэтическом цикле «Волна блаженства и волна страдания» (1987–2001).

Самым известным из всех никоновских творений о Достоевском является, пожалуй, стихотворение о кузнецком венчании, написанное в 1987 году. Возможно, росту его популярности способствовало частое исполнение Любовью Алексеевной этого произведения на многочисленных творческих вечерах.

Немногим известно, но «Достоевский и Исаева в Кузнецке. 1857 год» отчасти создавалось как соперничество (или полемика) с известным стихотворением

«Жена Достоевского» московского поэта Владимира Николаевича Корнилова (1928–2002). Младший современник и друг А. А. Ахматовой, Б. А. Слуцкого и Л. К. Чуковской, острый публицист, исключенный из Союза писателей за правозащитную деятельность, Корнилов написал эти стихи в 1965 году и посвятил их второй супруге Достоевского – Анне Григорьевне Сниткиной. Произведение высоко оценила литературная общественность того времени, оно приобрело широкую известность. Обратила на него пристальное внимание и Любовь Никонова. Подтверждением тому стал обнаруженный в писательском архиве текст корниловского стихотворения, переписанный ее рукой. Знакомство с позицией другого автора, скорее всего, натолкнуло Никонову на мысль о создании собственного «легендарного» произведения о Ф. М. Достоевском. В его основе должен был оказаться региональный материал – венчание будущего великого романиста с вдовой М. Д. Исаевой в Кузнецке.

Вообще, судьба Исаевой и все, что касалось памяти о ней, глубоко волновали поэтессу. Об этом она говорила даже в личной переписке, предлагая разные версии причин стирания из биографии писателя следов его первой любви. Своей подруге Валентине Куртовой 10 сентября 1982 года Любовь Никонова пишет:

«...письма М. Д. Исаевой к Достоевскому уничтожила вторая жена писателя – А. Г. Сниткина. Зачем ей понадобилось так расправляться с Исаевой? Что это: недоброжелательность к сопернице (пусть мертвой), или ревность, или попытка вычеркнуть из жизни Достоевского что-либо неблагоприятное, компрометирующее?»

Ей-богу, меня почему-то потрясла судьба писем Исаевой.

Вообще, что такое письма?..»

Никонова была категорически не согласна с Корниловым в том, что Мария Дмитриевна принадлежала к «испокон нравным, вздорным, притким воронам», как образно охарактеризовал московский автор всех возлюбленных Достоевского вплоть до его второго брака. Вероятно, и А. Г. Сниткину она не воспринимала столь однозначно, ангельски иконописно, как он: «горлица среди ворон», «кротость – взамен своенравия, ангел – никак не жена», «смирная в славе и в горести», «как при иконе – свеча», «отвага и верность», «больше российской словесности так никогда не везло»...

Никонова создала другой образ Исаевой – страдающий, переходный, пограничный между реальностью и литературой. Образ личности сильной, одновременно понимающей и принимающей свою высокую миссию музы писателя:

*...Тесна одежда подвенечная.
И губы сохнут, как полынь...*

*Невыносимо быть предтечею
Его тревожных героинь!*

*Они его волнуют, мучают
И жертвы требуют большой...
Сопротивлялась странной участи
Она неслабою душой.*

*И все ж ни волей, ни сознанием
Не защитилась.
Не спаслась.
Венца кузнечного сиянием
Необратимо облеклась.*

Легко обнаружить, что главными мотивами никоновского стихотворения стали именно ключевые «достоевские» мотивы: возможности собственного выбора, жертвы и глобальной личностной метаморфозы, литературного гения и жизненных обстоятельств. Отличное знание биографии и литературного творчества знаменитого прозаика позволило автору стихотворения показать тонкий мучительный переход реальности в литературу.

Позднее стихотворение «Достоевский и Исаева в Кузнецке» прозвучало финальным аккордом авторского поэтического цикла «Волна блаженства и волна страдания». Он оформился к 2002–2003 годам, был опубликован сначала в литературно-краеведческом альманахе «Кузнецкая крепость», а затем – в итоговом сборнике «Знакомый мир неузнаваемый» (2011). Задает драматический тон этой тематической подборке эпиграф – слова Дмитрия из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (глава «Исповедь горячего сердца. В стихах»):

«...Бог создал одни загадки. Тут берега сходятся, тут противоречия вместе живут... Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей».

Загадка жизни, тайны человеческого сердца (внутреннего подполья каждого), вечная борьба светлого и темного начал в человеке, греховность души, необоримость жизненных противоречий, нарушение норм нравственности и морали, законов любви, переменчивость человеческих эмоций и чувств всегда волновали Любовь Никонову, как и ее гениального литературного предшественника. Об этом она говорит на страницах поэтического цикла «Волна блаженства и волна страдания». Поэтесса представляет прозрения души на «пределе своих сверхжеланий», в грозных переливах мирской и божественной любви (прямые ассоциации с «грозным чувством» Достоевского) и приходит к выводу, что, несмотря ни на что, душа, веками мятущаяся в страстях, остается неблагодарной по отношению к великодушному Богу. Размышляя над различными темами жизни земной и небесной, Никонова не расставалась с книгами Ф. М. Достоевского. «Жизнь есть рай,

ключи у нас», – подчас повторяла Любовь Алексеевна слова старца Зосимы, оставшиеся в черновиках к «Братьям Карамазовым». И это неслучайно: все поэтическое и прозаическое творчество Л. А. Никоновой было устремлением к раю, в преддверии которого стоял он – Федор Михайлович.

Нередко в рабочих записных тетрадях, конспектах уроков и публичных выступлениях, разработках занятий по тематическим программам, публицистических размышлениях и личных письмах Любви Никоновой можно наткнуться на крылатые выражения Достоевского и цитаты из его великих романов. Они были необходимы для подтверждения собственных мыслей, служили импульсами к творчеству, звучали иллюстративными примерами на занятиях со школьниками. Достоевский через столетие помогал Никоновой вести нелегкий разговор о состоянии духовности в современном русском обществе, об извечном противостоянии Христа и «смога», «сажи», «непроницаемого зла, перед которым умрет от страха совесть, смолкнут Достоевские и распишется в бессилии христианство». «Обжигающее» слово русского классика позволило ей указать на главную, самую болезненную сегодняшнюю проблему – тотальную зависть, «духовную смердяковщину», проникшую во все сферы быта и бытия в XXI веке:

«Из адских заклепов выходят жесточайшие существа, обваренные, как кипятком, смертельной завистью. Это зависть к Богу, к Слову, к Логосу. Все, что стоит высоко над их смрадными безднами (храм, высокая душа, Евангелие, подвиг, крест, талант, любовь), должно быть утоплено в зловонных котлах духовной смердяковщины. <...> «Любого гения мы загноим в младенчестве», – обещали они еще в «Бесах». Против Слова восстает неимоверный антипод, цель которого – вызвать распад Христа...»

К 190-летию Достоевского Любовь Никонова планировала написать большую публицистическую статью под названием «Поручаю себя Вашей доброй памяти. Год Достоевского в России». Об этом свидетельствует обнаруженный среди черновых записей титульный лист. В ней хотела отразить собственную позицию по поводу многочисленных современных публикаций, книжных и кинематографических новинок о Достоевском. Один из разделов статьи должен был представить свежую книгу Л. И. Сараскиной «Достоевский» (2011) из серии «Жизнь замечательных людей». Другой – вышедший на телеэкраны сериал «Достоевский», который с интересом смотрела, о котором с ручкой в руках читала в «Литературной газете». К сожалению, этому замыслу, как и просветительскому лекционному курсу с элементами видеопоза «Произведения Ф. М. Достоевского в кино», не суждено было воплотиться. Тем не менее остались теплые воспоминания воспитанников Кузбасской православной духовной семинарии о первой и одновременно последней лекции

никоновского видеокурса о романе «Идиот». Она сопровождалась просмотром видеокассеты из личной коллекции писательницы – экранизации одноименного произведения, осуществленной Иваном Пырьевым в 1958 году. К слову, после смерти Любви Алексеевны ее родная сестра передала в музей Достоевского часть видеокассет из этого собрания: «Братья Карамазовы» (1968), «Чужая жена и муж под кроватью» (1984), «Идиот» (2002), «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского» (1980)... Они, вместе с другими «обоженными» общением с Достоевским предметами писательского фонда, наверняка расскажут гораздо больше, чем это видится сейчас.

г. Новокузнецк

Александр ШУНКОВ

ДОСТОЕВСКИЙ И КЕМЕРОВО

В 2021 году по случаю 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского проводится серия юбилейных конференций. Одна из них прошла 21 июня в Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва, организованная Министерством культуры РФ, Российским фондом культуры, Государственным литературным музеем, Правительством Кузбасса. Среди участников – известные специалисты в изучении наследия Ф. М. Достоевского (А. Г. Гачева, П. Е. Фокин, В. Н. Захаров и другие). Много вопросов, связанных с поэтикой писателя, биографическим контекстом его судьбы, было поднято в выступлениях докладчиков и слушателей конференции.

При этом важно ответить и на вопрос, задававший-ся гостями: как связаны между собой Достоевский и Кемерово? Да, писатель никогда не был в Щегловске (Кемерово) даже проездом. Двадцать два дня его жизни связаны с Кузнецком, где в итоге и состоялось венчание с М. Д. Исаевой. Однако в истории культуры именно нынешней столицы Кузбасса есть несколько знаковых событий, в которых представлено осмысление наследия Достоевского. Назову только некоторые за последнее десятилетие, свидетелем или участником которых мне лично довелось быть.

В сентябре 2011 года (отмечалось 190 лет со дня рождения Достоевского) в Кемерово прибыл театр католической школы Ла Трача (провинция Бергамо, Италия), который на сцене областного театра драмы им. Луначарского трижды показал свой спектакль по мотивам романа «Преступление и наказание». Режиссером инсценировки на итальянском языке выступил Роберто Росси.

6 и 7 ноября 2013 года в рамках сотрудничества нашего театра с театром White and Black (город Иматра, Финляндия) на кемеровской сцене состоялась премьера спектакля «Записки из Мертвого дома». В постановке режиссера Камрана Шахмардана оказалась задействована вся труппа театра (37 человек) и группа студентов. На тот момент это был самый «многолюдный» спектакль за всю историю театра. Надо сказать, и действо получилось высокого уровня. Режиссеру удалось донести до зрителя полифонизм Достоевского как отличительную черту поэтики его произведений. Оформлять «Записки из Мертвого дома» в Кемерово приехал тогда из Санкт-Петербурга лауреат театральной премии «Золотая маска» Валерий Полуновский.

В январе 2017 года в Музее изобразительных искусств Кузбасса прошла выставка «Путешествие с Достоевским», посвященная 195-летию писателя. Помимо хозяев, свои экспонаты для нее предоставил Государственный литературный музей, Историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево», Новокузнецкий художественный музей. На выставке были представлены иллюстрации художников к романам Достоевского.

В 2014 и 2017 годах цикл лекций о творчестве Достоевского, его романе «Идиот» был прочитан в Кемеровском государственном институте культуры профессором русской литературы Кембриджа И. А. Кирилловой. Пожалуй, в академическом пространстве Кузбасса это уникальный случай. Крупнейший специалист в области изучения романного пятикнижия Достоевского с огромным воодушевлением рассказывал студентам о своем понимании мира русского гения. В архиве вуза сохранились видеозаписи тех лекций, которые со временем приобретают не только научную, но и историческую, культурную ценность.

Есть еще один момент. В 2014 году жителем Прокопьевска Эдуардом Вистерманом была высказана идея увековечить путь Достоевского от Семипалатинска до Новокузнецка памятными верстовыми стелами. Проект должен был стать народным, объединив регионы, через которые проезжал Федор Михайлович. Сама идея, конечно, привлекательная. Но для ее реализации необходимо привлечь архивные фонды с подтверждающими документами – действительно ли Достоевский следовал этим маршрутом. Иначе фальсификации не избежать. Хотя две стелы уже были поставлены: в 2012 году в поселке Калачево Прокопьевского района и в 2014-м в городе Заринске (Алтайский край). По «народному проекту» в Кемерове, как столице региона, предлагалось поставить и памятник Достоевскому. Камень в основание будущего монумента заложили в 2015 году, а вот саму фигуру писателя так и не установили, хотя два кемеровских скульптора – Е. М. Тищенко и В. В. Треска – предложили и

объемные эскизы будущего памятника. Но не сложилось...

Немалую роль в популяризации темы «Достоевский и Кузнецк» сыграл кемеровский краевед Мэри Моисеевна Кушникова, написавшая ряд книг и статей о 22 «кузнецких» днях из жизни Достоевского. Одна из последних ее работ, выполненная совместно с другим краеведом, Вячеславом Тогулевым, – это издание в 2007 году сочинений польского каторжанина Шимона Токаржевского под общим названием «Сибирское лихолетье». В книге содержатся мемуары Токаржевского «Семь лет каторги», написанные им после возвращения из Сибири и тематически связанные с «Записками из Мертвого дома» Достоевского.

Несколько лет назад мне пришлось (вместе с моей коллегой, работавшей тогда в КемГУ, Ириной Алексеевной Юртаевой) опровергнуть обвинения Достоевского в плагиате ряда критиков. Да-да, было такое. В середине 2000-х некоторые «специалисты» уличили классика в том, что свои «Записки из Мертвого дома» он создал на основе мемуаров Токаржевского. Вместе с Достоевским в 1850–1854 годах Шимон отбывал наказание в Омском остроге, об этом и написал в своих мемуарах, которые отдельные «хейтеры» вдруг решили объявить исходным текстом для романа Достоевского. Этому и был посвящен мой доклад на конференции.

102

В мировой литературе существует не один десяток произведений, сюжеты которых близки. В основе и мемуаров Токаржевского, и «Записок...» Достоевского один и тот же сюжет, сформированный внетекстовой реальностью: оба пострадали за свои убеждения, оба были сосланы в Сибирь. Токаржевский – за то, что разделял идеи национального возрождения и самоопределения Польши. Достоевский – за участие в деятельности кружка Петрашевского.

Имя польского писателя Шимона Токаржевского (1821–189(9)?), в Омском остроге находился с 31 декабря 1849 г.) известно только узкому кругу читателей – в связи с упоминанием его Ф. М. Достоевским в главах VII «Претензия» и VIII «Товарищи» второй части «Записок из Мертвого дома».

В сенях в кухне мне встретился Т-вский, из дворян, твердый и великодушный молодой человек, без большого образования. Его из всех других различали каторжные и даже отчасти любили. Он был храбр, мужествен и силен, и это как-то высказывалось в каждом жесте его. Т-ский был хоть и необразованный человек, но добрый, мужественный, славный молодой человек, одним словом.

Токаржевский и Достоевский были лично знакомы, прошли через тяжелые испытания, вынесли все тяготы сибирской каторги и после возвращения написали об этом воспоминания, в основу которых положены одни и те же события. Неудивительно, что в текстах можно

выявить немало совпадений, и в дальнейшем это вызвало крайне негативную реакцию польского писателя, а позднее и некоторых исследователей. Но при всем внешнем сходстве эти произведения восходят и принадлежат к принципиально различным типологическим моделям, что и выявляется на основе сопоставительного анализа сочинений двух авторов.

Необходимо добавить, что в Польше сочинения Токарежского были опубликованы в начале XX века – в 1907, 1912, 1918 годах. В России первое печатное издание вышло в 2007-м. Публикация восьми повестей, их перевод с польского и подготовка комментария к ним выполнены кемеровскими краеведами Мэри Кушниковой и Вячеславом Тогулевым. Вышедший том сочинений Шимона Токарежского не остался незамеченным российской и польской критикой, давшей положительную оценку проделанной работе.

Выход в свет произведений этого автора, несомненно, восполнил пробел, существовавший в истории литературы. Позволил исключить умалчивание о творческом наследии Токарежского, оценить масштаб его писательского дарования и определить место в литературном процессе.

Однако отдельные заявления польских исследователей, приведенные в предисловии к изданию сочинений Токарежского 2007 года, не могут не поразить своей «сенсационностью». Так, в них высказывается мнение о вторичности «Записок из Мертвого дома» по отношению к воспоминаниям «Семь лет каторги». Утверждается, что Достоевский попросту заимствовал материал Токарежского и на его основе создал свой роман.

Объяснения поступка, якобы совершенного Достоевским, приводятся следующие: в силу того что Токарежский был дважды осужден на каторгу, его авторскими правами вполне можно было пренебречь; власть не стала бы вмешиваться в это дело еще и по причине своего особого отношения к польскому вопросу. В итоге делается вывод, что Достоевский удачно сыграл на националистических настроениях в обществе 1850–1860-х годов и воспользовался этой ситуацией в своих личных целях.

Сразу отметим, что подобный подход абсурден. Вполне ясно, что перед нами два абсолютно разных текста, пускай даже они осмысливают и отображают одни события. Именно поэтому при сопоставлении сочинений Достоевского и Токарежского задача заключается в том, чтобы постараться увидеть разность взглядов авторов на один мир, разность художественных приемов при создании картины этого мира в своих произведениях.

В этом случае не совсем верным будет подход, который использовали российские издатели Ш. Токарежского (М. Кушников и В. Тогулев), проводя текстовые параллели и устанавливая кажущиеся факты похо-

жести текстов. В предисловии к «Сибирскому лихолетью» издатели приводят примеры содержательного совпадения текстов Достоевского и Токарежского, тем самым невольно поддерживая мнение о плагиате.

Здесь возникает резонный вопрос: а что мог видеть любой каторжанин кроме того, что его ежедневно окружало на протяжении всего срока отбывания наказания в остроге? В том, что и Достоевский, и Токарежский обращают свое внимание на одни и те же объекты, людей, события, нет ничего необычного. Иное дело, что каждый по-своему расставляет акценты на увиденном и пережитом, у каждого одни и те же события, герои этих событий размещены в разных художественных плоскостях.

Жанровое своеобразие «Записок...» Ф. М. Достоевского определяется сочетанием документа с художественным вымыслом, что позволило исследователям творчества писателя относить этот текст к жанру, соединяющему традиции художественного очерка и мемуаров. Как известно, Федор Михайлович искал новую форму для выражения своих взглядов. Поэтому в специальных работах отмечается проникновение романного начала в традиционную форму записок.

Динамика сюжета «Записок из Мертвого дома» определена процессом познания каторжного мира, шире – народного мира, самопознания и в целом поиска истины. Именно этот процесс свидетельствует о романизации «Записок...». Романом называл произведение Ф. М. Достоевского и Ю. М. Лотман.

Добавим еще одно суждение к высказанному выше: мемуары Токарежского можно отнести по типу к воспоминаниям тех, кто, побывав в Сибири на каторге, сумел выстоять и сохранить верность своим убеждениям. Поэтому логичным и понятным представляется тот факт, что ссыльный польский патриот не может и не хочет изменить свое отношение к каторге и каторжным, в которых он видит только отвратительную сторону. А вот Достоевский сожалел, что поляки видели в каторжниках только зверское начало. Для такого убежденного борца, каким был Токарежский, изменение отношения к ссылке могло означать только одно – отход или даже измена тому делу, которому он посвятил свою жизнь. Поэтому, несмотря на расширение пространственных горизонтов, круга жизненного опыта, позиция автора мемуаров остается неизменной, и сюжетный архетип воспоминаний Токарежского можно определить как «мученичество».

Далее отметим следующее: сколь яркими и красочными ни казались бы примеры, приведенные в предисловии к изданию 2007 года, мы не можем признать их фактами текстологического анализа двух произведений. Для исследователя, занимающегося изучением художественного текста, более важным и доказуемым фактом влияния одного текста на другой

являются примеры цитирования, реминисценций, аллюзий одного текста в другом. Таких случаев в «Записках...» Достоевского не возникает, и быть их не может по причине разности задач, поставленных авторами.

Поэтика «Записок из Мертвого дома» на сегодняшний день описана более чем обстоятельно и детально. Общим местом во всех наблюдениях являются выводы о том, что в основе мировоззрения писателя начиная уже с первого его романа «Бедные люди» (1848) лежит христианское миропонимание. Сибирская каторга укоренила в Достоевском идею о спасительном смысле христианства и о необходимости поиска духовного пути «воскрешения из мертвых» через прочтение и постижение Евангелия.

В «Записках...» Ф. М. Достоевского отражены впечатления от четырехлетнего каторжного периода жизни, когда наметились новые значимые тенденции в формировании мировоззрения писателя. Сам автор «Записок...» отмечал, что за годы каторги пересмотрел многие из своих прежних убеждений. В письме к брату от 22 февраля 1854 года Достоевский писал: «Вообще время для меня не потеряно. Если я не узнал Россию, то народ русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, не многие знают его». Поэтому «Записки из Мертвого дома» – это текст, в основу которого положена евангельская традиция (притчи о блудном сыне, о воскрешении Лазаря), и присутствия ее нельзя не заметить.

В то же время «Записки из Мертвого дома» органично включены в литературную традицию XIX века как продолжение осмысления темы народа, его роли в истории. В русской культуре каторга в Сибири всегда приобретала сакральное значение, предопределенное, во-первых, темой испытания (что есть и в мемуарах Токаревского), во-вторых, в связи с темой внутреннего перерождения – самопознания, обретения высшего знания – поиском истины и ее обретением. Кроме того, оба варианта связаны с темой смерти. Отсюда и обращение к Данте в обоих текстах. Поиск истины вызван попыткой осмысления автором своего нового положения. Процесс постепенного познания жизни каторги предопределяет и аналитическое развитие сюжета «Записок...». А его динамика завершается обретением нового высшего знания. Причем авторская установка на обретение этого знания реализуется через гносеологический аспект мифа – открытие истины через схождение в ад и возрождение через болезнь и смерть.

В свое время, рассматривая сюжеты ухода, связанные с Сибирью, Ю. М. Лотман отмечал, что «сюжетное звено: смерть – ад – воскресение в широком круге русских сюжетов подменяется другим: преступление (подлинное или мнимое) – ссылка в Сибирь – воскресение. При этом пребывание в Сибири оказывается симметрично отрицанию бегства – возвраще-

нию в Европу». Анализируя мифологическую модель произведений, связанных с темой сибирской каторги, Ю. М. Лотман пишет: «...именно эта схема будет многократно повторяться в сюжете русского романа XIX века. Раскольников, Митя Карамазов, Нехлюдов, герои «Фальшивого купона» будут совершать преступление или осознавать всю преступность «нормальной» жизни, которая будет осознаваться как смерть души. Затем будет следовать Сибирь (=смерть, ад) и последующее воскресение. Мифологический характер «сибирского эпизода» тем более очевиден, что в единственном романе, где каторга показана в реально-бытовом освещении, – в «Записках из Мертвого дома», хотя в самом заглавии Сибирь приравнена к смерти, сюжет воскресения отсутствует. Между тем романизация формы записок стала возможной именно в связи с актуализацией в тексте Достоевского мифологической модели, но эта модель – модель, предопределенная аналитическим развитием сюжета – поиск истины и ее обретение».

Эту же связь «Записок из Мертвого дома» с традицией русской литературы подробно проанализировал в начале 80-х годов XX века Илья Захарович Серман, констатируя, что «мертвый дом» все-таки заселен живыми людьми «с живыми душами и страстями» и рассказчик-мемуарист (Александр Петрович Горянчиков) стремится постичь этот характер.

«Везде есть люди дурные, а между дурными и хорошие, – спешил я подумать себе в утешение, – кто знает? Эти люди, может быть, вовсе не до такой степени хуже тех, остальных, которые остались там, за острогом». Я думал это и сам качал головою на свою мысль, а между тем – боже мой! – если б я только знал тогда, до какой степени и эта мысль была правдой!

Приведенный пример из размышлений героя «Записок...» созвучен с евангельским мировосприятием: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1, 5). Неоднократно отмечалось, что в дальнейшем Достоевский уже не стремился создавать столь широкую картину народной жизни, как в рассматриваемом произведении. За время нахождения в Сибири писатель пересмотрел и те идеи, которые обсуждались в кружке Петрашевского, за посещение которого он и был отправлен на каторгу. Теперь уже убеждения Достоевского проверяются народным миром, в результате чего писатель приходит к осознанию особого пути России и созданию теории почвенничества.

Мемуарист Токаревский такой цели для себя не ставит. Для героя «Семи лет каторги» мир, в котором он оказался волею судьбы, – это в первую очередь «адская обитель», заполненная разбойниками, ворами, злодеями, лишившимися своего человеческого облика. И это мировосприятие остается неизменным на протяжении всего повествования.

Ни один из тех 2555 дней, прожитых в омской геенне, нельзя было назвать «добрым днем»!

Можно сказать, что на протяжении всего пребывания героя на каторге между ним и остальным миром постоянно существует граница, которая не преодолевается, да и само желание преодоления этого барьера не возникает. Герой и окружающий его мир по отношению друг к другу всегда настроены враждебно. И стоит признать, что подобное отношение героя к миру объективно оправданно, поскольку перед нами герой, который стал жертвой, пострадавшей за свои убеждения. В ряде сюжетных эпизодов даже возникает ощущение некоей особой мессианской исключительности и романтической возвышенности героя.

Мы встали перед распятием.

– Поклянись, парень! – взволнованно сказал декан. – Поклянись, что пойдешь той же дорогой, как те каторжане, имена коих я огласил с амвона.

Я положил правую руку на ноги Христа и сказал:

– Ранами распятого Спасителя клянусь!

Итак, привели нас к вратам той адской обители, что поглотила семь лет моей жизни... Где мне пришлось переносить страдания сверх человеческих сил, так что вполне мог вскричать вслед за поэтом: «Как Данте, я прошел сквозь ад еще при жизни».

Единственное, что вызывает у героя повести Токаревского лирические переживания, – это сибирский пейзаж, рождающий у автора записок самые возмущенные эмоции.

Я видел часть наших Карпат, но такого грозно-прекрасного, такого величественного зрелища я не представлял и нигде не встречал. В этих горах есть нечто, что человека влечет и просто-таки привораживает.

Пейзажные зарисовки, пожалуй, то небольшое, что демонстрирует благорасположение мемуариста к окружающему его миру. Во всех остальных эпизодах обычаи, нравы, традиции сибиряков не вызывают каких-либо положительных эмоций; их и быть не могло в силу чуждости автору этого мира.

Позиция героя «Записок из Мертвого дома» иная.

Вообще это было время моего первого столкновения с народом. Я сам вдруг сделался таким же просто-народьем, таким же каторжным, как и они. Их привычки, понятия, мнения, обыкновения стали как будто тоже моими, по крайней мере по форме, по закону, хотя я и не разделял их в сущности.

Не понимает, а потому и не принимает Токаревский, например, и истинно русского обычая подаяния милостыни любому, кто терпит нужду и страдания. В главе «Болезнь» такой случай описан.

В российской глубинке и в Сибири к бездомным и каторжникам жители питают большое сочувствие и одаривают их, что те принимают охотно.

– Несчастный! – так российский люд зовет каторжан и, всунув им в руки пшеничную булку или копейку, а

то и полкопейки, говорит: – Примите мое подаяние и да хранит вас Христос, несчастные вы!

Мне такое напутствие показалось истинно православным...

Тем не менее, когда ко мне кто-то подошел с подаянием, я крикнул еще издали:

– Спасибо, никакой я не «несчастный», а политический преступник.

Я повторял это неоднократно все семь лет, и мне кажется, что в конце концов жители Омска научились различать бродяг и разбойников от арестантов совсем другого рода.

Эпизод с подаянием милостыни включен и в сюжет «Записок из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского.

«На, «несчастный», возьми Христа ради копеечку!» – кричала она, забегаая вперед меня и суя мне в руки монетку. Я взял ее копеечку, и девочка возвратилась к матери совершенно довольная. Эту копеечку я долог берег у себя.

Приведенные примеры реакции героев на обращенный в их сторону жест милосердия и сострадания простого человека позволяют увидеть как разную реакцию героев, находящихся в одной и той же ситуации, так и разное понимание своего места в этом мире. Токаревский принадлежит к другой парадигме духовных и культурных ценностей, поэтому и не может понять символического, а в какой-то степени даже сакрального значения обращенного к нему жеста, указующего путь спасения.

Для художественного мира Достоевского противопоставление героя миру невозможно представить. Герой «Записок из Мертвого дома» в первый месяц пребывания на каторге испытывает страх и ужас («покамест теперь кругом меня все было враждебно и – страшно»), но затем стремится найти в себе силы жить в этом мире («я сам желал уж поскорее работы, чтоб только поскорее узнать и изведать все мое бедствие разом, чтоб начать жить, как все они, чтоб войти со всеми поскорее в одну колею»).

Недаром же весь народ во всей России называет преступление несчастием, а преступников несчастными. Это глубоко знаменательное определение. Оно тем более важно, что сделано бессознательно, инстинктивно.

Осмысление совершения преступления как поступка, приводящего человека к отречению и отпадению от мира (как Божьего, так и людского), – тема, получившая свое развитие в последующем творчестве Достоевского. «Записки из Мертвого дома» позволяют увидеть ее начало. Автор последовательно на протяжении всего сюжета ведет своего героя по пути его духовного возрождения, начинающегося с таких незначительных на первый взгляд поступков, как радостное принятие милостыни.

Продолжая сравнивать два текста, нельзя не увидеть, насколько отличаются они друг от друга по способу организации повествования. На первый взгляд, оба произведения вписаны в традицию мемуаров, для которой свойственно ведение повествования от первого лица – непосредственного участника описываемых событий или их свидетеля. В этом смысле «Семь лет каторги» Ш. Токаржевского абсолютно соответствуют жанровым требованиям. Повествование строится просто, без каких-либо сложных приемов. Позиция рассказчика находится в центре всего повествования, его мнение и суждение по поводу изображаемых событий является главенствующим.

Совершенно иначе повествование строится у Достоевского. Оно намного сложнее, в основе его лежит диалогичность – особенность, свойственная в целом поэтике Достоевского. Поэтому все попытки вести сравнение текстов так, как это сделано в предисловии к «Сибирскому лихолетию», представляются необоснованными. Ведь в этом случае сравниваются формальные стороны сюжетных эпизодов. Внутренняя форма текста не рассматривается.

Разницу двух этих произведений нельзя не заметить и в их композиции. На первый взгляд, оба автора используют очерковый принцип построения текста. И композиция текста Токаржевского действительно проста, линейна. А вот «Записки из Мертвого дома» выстраиваются так, чтобы показать путь духовного преображения героя через искупление своей вины. Две части дают нам возможность в этом убедиться. Первая часть представляет «портретную галерею» каторжан. Кульминацией этой части, бесспорно, является глава X «Праздник Рождества Христова», уже по-иному представляющая образы каторжан, переживающих и ощущающих величие праздника. Интересным моментом здесь является и тот факт, что автор размещает X главу после описания бани каторжан, своеобразного символа ада, в котором оказывается герой-рассказчик.

Когда мы растворили дверь в самую баню, я думал, что мы вошли в ад... Это было пекло. Все орало и гоготало.

Сюжетный эпизод посещения бани, конечно, имеет символический характер, несет в себе идею очищения (пока только телесного), но он нужен как этап, подготавливающий очищение души героя. И болезнь героя-рассказчика, наступившая сразу же после праздника Рождества Христова, открывает новые перспективы в судьбе героя. Интересным здесь является композиционный прием; автором последовательно расположены три важных момента в сюжете: молитвенное воззвание каторжанина («Господи Иисусе Христе, помилуй нас!»), размышление героя в финале первой части («Не навсегда же я здесь, а только ведь на несколько лет!») и упоминание болезни героя

в начале второй части. Вторая часть посвящена философскому осмыслению темы наказания, подкрепляемому художественными эпизодами. Завершается же роман освобождением героя, в котором прочитывается символ полного его духовного возрождения, воскрешения и принятия им мира: «Да с богом! Свобода, новая жизнь, воскресенье из мертвых... Экая славная минута!»

Таким образом, композиция «Записок из Мертвого дома» не только кардинально отличается от строения текста «Семь лет каторги» Ш. Токаржевского, она еще является прообразом композиции последующего романа Ф. М. Достоевского – «Преступление и наказание».

г. Кемерово

Станислав ЛОМАКИН

МЫСЛИТЕЛЬ, ПРОРОК, ГЕНИЙ

Явление Федора Михайловича Достоевского (1821–1881) – событие мирового значения в истории литературы, философии, культуры в целом. Как мыслитель в центр своей картины мира он ставил человека. В своих произведениях писатель поднимал проблемы мировоззренческие, социально-политические, гуманистические, вопросы религии, истории, этики и эстетики.

Достоевский родился в Москве в семье врача. «Я происходил из семейства русского и благочестивого, – вспоминал он. – Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть ли не с первого года; мне было всего лишь десять лет, когда я знал почти все главные эпизоды русской истории».

После окончания Военно-инженерного училища в Петербурге Достоевский работал в инженерном ведомстве, но вскоре вышел в отставку, посвятив себя писательству, начав свой творческий путь в традициях гоголевской «натуральной школы».

Вернувшись из Сибири, где он отбывал наказание, как участник кружка М. В. Петрашевского, Достоевский в своих произведениях поднимает вопросы о свободе и материальном благоустройстве, противопоставляя их друг другу, подчеркивая, что свобода дороже всякого материального благополучия (видимо, сказался горький опыт 4-летней каторги и 6-летней службы в солдатах). Он отвергает культ материальных благ, к которому стремится «социалистический мура-

вейник», и пророчесствует, что будущее общество должно «сохранять нам самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность, духовность и нашу индивидуальность». При этом Достоевский как гениальный диалектик в романе «Преступление и наказание» разоблачает «соблазны свободы», подчеркивая, что беспредельная свобода приводит к богоборчеству. «Смирись, гордый человек», – взывал писатель в своей речи о Пушкине.

Эти идеи не потеряли своей актуальности и в наше время. Характеризуя Раскольникова, не имевшего твердой нравственной опоры в своей совести («совесть без Бога есть ужас»), Достоевский видит открывающиеся перед человечеством два возможных пути. Первый – это путь к Богу, к святости, ко всем людям, к миру. Второй – путь «гордого человека» к самообожествлению, к «праву на преступление» для людей, ставящих себя выше низких слоев социума.

Вопрос о существовании Бога мучил писателя-мыслителя всю жизнь, все его творчество пронизано религиозно-философскими исканиями, попыткой глубоко проникнуть в «тайны человека». Достоевского всегда занимали проблемы веры и неверия, добра и зла, смысла жизни, свободы и ответственности, страсти и долга, рассудка и морали. Эти вопросы особенно остро поставлены в «Дневнике писателя», «Братьях Карамазовых», «Идиоте», «Бесах», «Записках из подполья», в них философия Достоевского исполнена пророчеством духа, здоровой реакцией души на глубины и высоты, в которые проникал его гений.

В романе «Бесы» писатель предсказал этапы развития и потрясений России на целый век. «Я пытался изобразить те многообразные и многообразные мотивы, по которым даже чистейшие сердца способны к чудовищным злодействам, – объяснял Федор Михайлович. – Это не у нас одних, это на всем свете так, всегда с начала веков, во времена переходные, во время потрясений в жизни людей, сомнений и отрицаний, скептицизма и шаткости в основных нравственных понятиях». В «Бесах» автор обличает теоретика Шигалева и практика-организатора Верховенского с их утопической идеей, она представляется пророческому гению как реальная опасность, угрожающая человечеству. Писатель разгадал подлинный, сатанинский лик грядущей революции. Достоевский был противником всяких революционных преобразований, полагая, что нельзя искоренить зло, изначально заложенное в человеческой природе. Писатель отмечает помутнение сердца и духа человека в разных ситуациях, именно ему принадлежат слова о том, что «все за всех виноваты».

Достоевский скептически относился к революционным идеям, идущим с Запада, исчерпавшего, по его

мнению, ресурсы своего положительного влияния на русского человека. «Россия не в одной только Европе, но и в Азии; потому что русский не только европеец, но и азиат, – подчеркивал Федор Михайлович. – Надо прогнать лакейскую боязнь, что нас назовут в Европе азиатскими варварами». Писатель призывал общество обратить свои взоры на Восток (к слову, с подобными призывами обращались к мыслящим читателям и М. Лермонтов, и И. Ильин). Главными пороками западной цивилизации, ее культуры Достоевский считал отсутствие в ней «братского» начала, эгоизм, утилитаризм, индивидуализм. Писатель выдвинул христианскую идею соборности и братства – идею «всечеловечества».

Многие исследователи творчества Достоевского причисляют его к славянофилам второго поколения, получившего название почвенничества и представленного такими выдающимися писателями и учеными, как Н. Страхов, К. Леонтьев, Н. Данилевский, А. Григорьев, В. Розанов. Достоевский в своих творениях, не идеализируя русский народ, противопоставляет его другим нациям, особенно выделяя в соотечественниках отсутствие национального эгоизма, неудовлетворенность собой, страстное стремление найти истину. Эти характерные черты, по мнению мыслителя, формировались общинным ведением хозяйства. Община, соборность, коллективизм – основа существования русского человека, величайшая форма человеческого общежития. «На Руси, – писал Ф. Достоевский, – общинное начало существует уже как данное жизнью и ждет благоприятных условий к своему большому развитию. А главным образом тут должно обратить внимание на то, с каким упорством народ отстаивал целые века свое общественное устройство и все-таки отстоял...»

Русский человек, по мнению писателя-философа, существует и проявляет себя в православии. Великое множество людей исповедует христианство, но только один народ в мире есть «народ-богоносец» – это русский народ, который, как никто другой, верит во все догматы христианской церкви и ее предписания, исполняет их в обыденной жизни. «Русский народ весь в православии и идее его, более в нем ничего нет – да и не надо, потому что православие. Все... кто не понимает православие, тот никогда и ничего не поймет в народе. Мало того: тот не может и любить русского народа, а будет любить его лишь таким, каким бы желал его видеть».

При этом в своих произведениях Достоевский часто возвращался к мысли о том, почему русский человек, будучи всечеловечен и милосерден к любому представителю другой нации, не имеет чувства уважения к своей нации, Родине. (И, кстати, эту точку зрения писателя разделяли многие русские мыслители в раз-

личные периоды развития России, их замечание очень верно и для нашего времени.) Тут, конечно, сразу вспоминаются строки А. Пушкина, посвященные отдельным русским индивидам, которым чужда Россия, ее культура и все, что связано с ней:

*Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды чистый свет увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел...*

«Стать русским – значит перестать презирать народ свой. И как только европеец увидит, что мы начали уважать народ наш и национальность нашу, так тотчас начнет и нас самих уважать», – учит нас Достоевский.

Отголоски такого отношения к западной цивилизации, почвенничества мы обнаруживаем в произведениях выдающихся писателей второй половины двадцатого столетия и начала третьего тысячелетия: Ф. Абрамова, В. Распутина, В. Белова, Н. Рубцова, В. Шукшина, Вл. Солоухина, В. Личутина. Их, наверное, по праву можно причислить к славянофилам третьего поколения.

Об одном пророчестве Достоевского, которое еще не осуществилось, хочу сказать особо. Речь – о грозящем миру приходе Антихриста. Позднее с подобными идеями в своих философских трактатах выступали такие великие мыслители, как Вл. Соловьев («Повесть об Антихристе») и Ф. Ницше («Антихрист. Проклятие христианству»). Трагедия в том, что люди соблазнились материальным благополучием, и вследствие этого они ближе к Антихристу, нежели к Христу, они поклоняются не Богу, а дьяволу. Надо признать, подобное наблюдается сегодня и в России, где социальное расслоение представляет угрозу социуму. А Достоевский еще в конце XIX века критикует католичество, которое, по его мнению, уже не христианство и переходит в идолопоклонство, а протестантизм семимильными шагами переходит в атеизм – в зыбкое, текущее, изменчивое (а не вековечное) нравоучение. Западные стратеги с давних пор ставят целью разрушить русский духовный национальный менталитет. Об этом мечтал ярый русофоб, ныне покойный американский политолог З. Бжезинский, который считал, что православие мешает уничтожению России. Достоевский же был уверен: спасти мир от Антихриста может только православное государство Россия.

Удивительное явление в русской культуре – Федор Михайлович Достоевский! Чем больше читаешь его сочинения, тем больше находишь ответов на волнующие и сегодня вопросы. Это означает, что серьезное философское осмысление его творческого наследия еще впереди.

г. Тюмень

Виктор МОЛЧАНОВ

СИМВОЛ ВЕРЫ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Письма XIX столетия – уникальные исторические документы, олицетворяющие память прошлого, которое смотрело в будущее.

Россыпи драгоценных сокровищ эпистолярного наследия классиков отечественной и мировой литературы открывают перед нами глубинную сущность философии русской жизни, гениальную откровенность размышлений, чувств и переживаний, мир науки, жизни общества, культуры.

Творческое наследие Ф. М. Достоевского еще при жизни писателя привлекало и привлекает в третьем тысячелетии живое внимание критиков, читающей просвещенной аудитории, ученых как в России, так и за рубежом.

Неослабевающий интерес вызывают не только неопубликованные произведения, но и личный архив Ф. М. Достоевского, сохраняющий бесценный материал для новых открытий. История формирования архивного наследия Ф. М. Достоевского представляет собой многотрудный процесс, в котором принимали участие родственники, друзья, сподвижники гениального русского писателя, их преемники и последователи. На протяжении десятков лет в силу объективных и субъективных обстоятельств рукописи Ф. М. Достоевского неоднократно меняли места бытования и владельцев, перемещались по различным городам и учреждениям.

В настоящее время личный архив Ф. М. Достоевского находится главным образом в отделе рукописей Российской государственной библиотеки (фонд № 93), общий его объем составляет более двух тысяч единиц хранения. Всего же рукописные фонды ОР РГБ насчитывают свыше 700 тысяч единиц хранения VI–XXI веков.

Обладая столь обширным рукописным богатством, ОР РГБ в процессе экспертизы, научного описания документов, подготовки публикаций, аутентичного воспроизведения авторских текстов столкнулся с существенной проблемой. Авторские и цензурные зачеркивания, пометы, угасший текст, следы бытования, последующие подчистки, исправления не позволяли вводить в научный оборот в некоторых случаях до 15 % текста даже в академических изданиях. Решить столь важную и сложнейшую задачу позволяет факсимильное воспроизведение автографов с при-

ложением аутентичной транскрипции (сохраняя в печатном тексте старую орфографию).

Такое расположение текстов позволяет читателю не только удобно сопоставлять, сравнивать содержание строк, но и понимать авторский стиль, замысел, исключает привнесение вкусовых или иных корректив цензоров, составителей и т. д.

Разумеется, для решения столь актуальных и вместе с тем сложных проблем необходимо выявление, открытие ключевых и полноформатных архивных источников. «Быть верным духу и значит быть верным писателю, – подчеркивал, изучая наследие Ф. М. Достоевского, литературовед А. В. Михайлов, – потому что дух и буква, смысл и буква образуют в великом произведении неразрывный союз, и что отнято у одной, то отнято у другого, что отнято у одного, то отнято у другой».

Письма Ф. М. Достоевского в процессе расшифровки рукописи, подготовки к факсимильному изданию увлекают, как эпистолярный роман, написанный гением. Честный и душевно чистый сюжет, изложенный великолепным художником слова, вызывает сопереживание, погружает в особое духовно-интеллектуальное пространство миропонимания классика русской литературы.

Особый интерес представляют письма Ф. М. Достоевского 1854–1856 годов.

Осужденный в конце декабря 1849 года «за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского» на смертную казнь, а затем помилованный, лишенный чинов и всех прав сословия, сосланный на четыре года на каторжные работы в Сибирь, Ф. М. Достоевский смог тайно передать первое письмо брату Михаилу лишь в начале 1854 года. «Вот уже неделя как я вышел из каторги. Это письмо посылается тебе в глубочайшем секрете, и об нем никому ни полслова. Впрочем, я пошлю тебе письмо и официальное, через штаб Сибирского корпуса. На официальное отвечай немедленно, а на это при первом удобном случае», – сообщал Ф. М. Достоевский в своем первом письме от 22 февраля 1854 года, переданном через доверенное лицо из Омска старшему брату Михаилу.

В отечественном литературоведении письма М. М. Достоевскому относят к числу «важнейших автобиографических документов о годах каторги». При всей справедливости такой оценки следует отметить, что она не отражает всей полноты и многожанровости письма, оно – гораздо масштабнее. Ф. М. Достоевский вспоминал о невзгодах и тяготах каторжной жизни, о лютых сибирских морозах, о том, что «промерзал до сердца», но и убежденно писал, что скоро все переменится, они скоро встретятся. В его словах

предугадывается дар пророчества, о котором напишут публицисты в XX–XXI веках. «А я теперь вздору не напишу. Услышишь обо мне. Мы увидимся, брат, очень скоро. Я верю в это, как в дважды два. На душе моей ясно. Вся будущность моя и все, что я сделаю, у меня как перед глазами. Я доволен своею жизнью», – писал Ф. М. Достоевский.

Вероятно, в одно время с посланием старшему брату Федор Михайлович тайно, с доверенным лицом отправил письмо Н. Д. Фонвизину, написанное в Омске 20 февраля 1854 года. Прошло четыре года со дня их встречи в Тобольске. Посещение в Тобольской тюрьме ссыльного писателя 10 января 1850 года, передача женами декабристов Н. Д. Фонвизину, П. А. Анненковой, А. Г. Муравьевой Евангелия и материальной помощи явилось для Ф. М. Достоевского лучом света во мраке безысходной несвободы, душевных потрясений и переживаний. Воспоминания о том трагическом состоянии души Ф. М. Достоевский оставил в знаменитых записках с печальным названием – «...из Мертвого дома». Федор Михайлович писал: «Эту книгу, с заклеенными в ней деньгами, подавали мне еще в Тобольске те, которые тоже страдали в ссылке и считали время ее уже десятилетиями и которые во всяком несчастном уже давно привыкли видеть брата». Томик Нового Завета, который ныне в литературе именуется «Евангелием Ф. М. Достоевского», бережно хранился Федором Михайловичем. Евангелие помогло ему «бесстрашно углубиться в неисследованные глубины и праглубины» человеческой личности, обрести «пророческое вдохновение».

Непрерывный внутренний диалог, постижение мудрости и открывающегося величия Нового Завета вызвали у Ф. М. Достоевского потребность вновь и вновь перечитывать Священное Писание.

Об этом свидетельствуют многочисленные (более 1400 на 600 страницах) владельческие, познавательного характера маргиналии писателя, установленные и реконструированные с помощью оптико-электронного оборудования учеными ОР РГБ.

Полученные впервые в научной практике достоверные, в полнотекстовом формате результаты открывают неограниченные возможности для ранее недоступного визуального изучения публикаций.

Итоги оптико-текстологической работы легли в основу подготовленного Общественным благотворительным фондом «Возрождение Тобольска» и Российской государственной библиотекой факсимильного издания «Евангелия Ф. М. Достоевского» в трех томах.

В трудном, полном мучительных испытаний отыскании истины, жажда веры, Ф. М. Достоевский ощущал помощь Бога, даровавшего ему вдохновен-

ные мгновения совершенного душевного спокойствия, гармонию любви, просветленное восприятие евангельских первооснов. «...В такие-то минуты я сложил себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы остаться со Христом, нежели с истиной», – писал Федор Михайлович.

По сути, перед Ф. М. Достоевским, назвавшим себя «дитя века, дитя неверия и сомнений», открылась глубина неизведанной человеком высоты.

Поражение России в Крымской войне 1853–1856 годов, упорные слухи о самоубийстве императора Николая I, не пережившего позора, будоражили, вызвали недовольство столичной публики.

Из письма Федора Михайловича следует, что он знал о переменах настроений в российском обществе и косвенно упоминал о них. «Идеи меняются, сердце остается одно», – писал Ф. М. Достоевский другу. «Я говорю о патриотизме, об русской идее, об чувстве долга, чести национальной, обо всем, о чем вы с таким восторгом говорите. Но, друг мой! Неужели вы были когда-нибудь иные? Я всегда разделял именно эти же самые чувства и убеждения», – делился своими размышлениями писатель.

Пройдя через тяжкие испытания каторги и ссылки, Ф. М. Достоевский сохранил веру в душе и верность Отечеству. «Уверю Вас, что я, например, до такой степени родня всему русскому, что даже каторжные не испугали меня, – это был русский народ, мои братья по несчастью, и я имел счастье отыскать не раз даже в душе разбойника великодушие, потому, собственно, что мог понять его; ибо был сам русской. Несчастье мое дало мне многое узнать практически, может быть, много влияния имела на меня эта практика, но я всегда был русским по сердцу. Можно ошибиться в идее, но нельзя ошибиться сердцем и ошибкой стать бессовестным, то есть действовать против своего убеждения», – отмечал Ф. М. Достоевский.

В 2021 году просвещенное человечество отмечает юбилей – 200 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского. Он вошел в историю культуры России как феноменальный пример реальности преодоления границ календарного, текущего времени, как явление, измеряемое временем историческим.

г. Москва

Тэцуо МОТИДЗУКИ

ВОКРУГ ДИСКУССИЙ О ЦЕРКОВНОМ СУДЕ В «БРАТЬЯХ КАРАМАЗОВЫХ»

1. Дискуссия о церковном суде и ее роль в романе

Глава «Буди, буди!» (ч. 1, кн. 2, гл. V), с которой фактически начинается «неуместное собрание», т. е. сходка членов нестройного семейства Карамазовых в келье старца Зосимы, почти целиком посвящена дискуссии по поводу статьи Ивана Карамазова о церковном суде. Дискуссия особенно интересна тем, что и Иван, автор «Великого инквизитора», и старец Зосима каждый по-своему высказывают идею христианского общества и «единой вселенской и владычествующей церкви».

Суть статьи Ивана заключается в том, что церковь по своей основной идее не должна только занимать определенное место внутри государства, а должна заключать сама в себе все государство или обратить весь мир в церковь. Тогда, по его мнению, церковному суду необязательно наказывать преступника смертной казнью, а можно получать достаточный результат отлучением от себя преступного. Но в таком случае взгляд самой церкви на преступление должен измениться против теперешнего, почти языческого, и от механического отсечения зараженного члена перейти к идее возрождения и спасения человека...

Вслед за этим Зосима высказывает свою мысль: «Преступника исправляет и перерождает единственно закон Христов, сказывающийся в сознании собственной совести, а не закон государства (...) Если бы суд принадлежал обществу как церкви, тогда бы оно знало, кого воротить из отлучения и опять приобщить к себе (...) Русская церковь и сейчас никогда не теряет общения с преступником, как с милым и все еще дорогим сыном своим (...) Справедливо и то (...) что если бы действительно наступил суд церкви, и во всей своей силе, то есть если бы все общество обратилось лишь в церковь, то не только суд церкви повлиял бы на исправление преступника так, как никогда не влияет ныне, но, может быть, и вправду самые преступления уменьшились бы в невероятную долю. Да и церковь (...) понимала бы будущего преступника и будущее преступление во многих случаях совсем иначе, чем ныне, и сумела бы возратить отлученного, предупредить замышляющего и возродить падшего».

На первый взгляд, сцена обмена мнениями о церковном суде между Иваном и старцем Зосимой может

выглядеть затейливой мистификацией автора, поскольку ее тематика далековата от непосредственных интересов собравшихся в монастыре, желающих найти какой-нибудь конкретный выход из семейных проблем. Но если присмотреться более внимательно, мы узнаем, что сцена запланирована как маленькая витрина главных тематик самого романа. В самом деле, мы находим здесь ряд проблем, пронизывающих весь сюжет произведения.

Во-первых, именно с этой сцены начинается череда важнейших для романа диспутов о суде, об отношении к грешнику, об отлучении и т. д.

Тема отлучения сразу находит свой оплошленный вариант в «Контроверзе» (ч.1, кн. 3, гл. VII) между Смердяковым и Григорием об анафеме и о ненаказуемости отречения от веры. В главе «Великий инквизитор» представитель христианской церкви отлучает Христа от церкви, а в сцене суда над Митей «мужики за себя постояли» и фактически отлучают «грешника» от общества. Здесь потенциально приготовлен автором вопрос к героям и читателям: что получилось бы, если бы дело Карамазовых было передано в церковный суд?

Во-вторых, также важным для романа является неопределенность моральной позиции Ивана по отношению к своему логическому выводу.

По его логике в идеальном христианском обществе не государство, а церковь является судьей справедливости и правды. Иначе говоря, и право, и этика основаны на авторитете Бога и вере людей в его существование. Прямо отсюда приводятся обратные тезисы Ивана: «Нет добродетели, если нет бессмертия» или «(Если нет Бога,) все позволено». Именно этот второй тезис будет волновать и Митю, и Смердякова и подталкивать последнего к убийству. Интересно, что Зосима тоже потом использует тезис Ивана, только в другом тоне («ибо если нету тебя Бога, то какое же тогда преступление?»).

Короче, кажущееся оправдание церковного суда Ивана может служить в то же время предлогом оправдания аморализма и беззакония в мире атеистов. Вопрос в том, что, как Зосима отмечает в следующей главе, сам Иван не верует в то, что он пишет, или «вопрос еще не решен» в нем. В этом смысле слова Ивана являются первым примером двусмысленных высказываний, которыми изобилует роман¹.

В-третьих, дискуссия о церковном суде раскрывает еще одну из ключевых проблем «Братьев Карамазовых» в виде концептуальной пары: включение или исключение.

По поводу отношений между государством и церковью нам представляется сразу ряд возможных вариантов: или церковь является частью государства, или она сама включает в себя государство, или она зам-

кнутый мир, исключаящий из себя светский мир, и т. д. Этот последний вопрос важен не только для Ивана и Зосимы, но и для Алеши, которому скоро приходится выйти из монастыря в свет. Самое важное в том, что мир монастыря здесь охарактеризован не как обособленное пространство, скорее он находит себя рядом со светским миром или посреди него. В этом смысле отношение церкви (монастыря) к миру (обществу, государству) – неизбежный, роковой вопрос для «святого» пространства романа. Его вульгарные варианты – процесс Миусова с «клерикалами» за право ловли в реке или порубок в лесу и постоянные клеветы Федора на монахов. В результате святость монастыря с самого начала оказывается под угрозой.

Судя по дискуссии о церковном суде, Зосима подерживает позицию открывать церковь в мир или включить общество в мир церкви и сохранить связь даже с виновным и отлученным, чтобы в конце концов спасти их.

В этом отношении интересно сравнивать логику Зосимы с логикой Смердякова по поводу ненаказуемости отречения от веры. По мнению Смердякова, «едва только я скажу мучителям: «Нет, я не христианин и истинного Бога моего проклинаю», как тотчас же я самым высшим Божьим судом немедленно и специально становлюсь анафема, проклят и от церкви святой отлучен совершенно, как бы иноязычником. (...) А коли я уже разжалован, то каким же манером и по какой справедливости станут спрашивать с меня на том свете как с христианина, за то что я отрекся Христа...»

Очевидно, образ христианского мира у Смердякова основан на принципе исключения и отлучения грешника. Именно благодаря эффективной работе системы отлучения изменник веры может избежать Божьей кары. Если бы он вдруг оказался в церковном мире Зосимы, ему бы тяжело пришлось из-за навязчивой идеи старца о включении, т. е. вечной связи с грешником, его спасения.

Тематика включения и исключения функционирует и на другом, повседневном уровне романа. В самом деле, произведение полно исключенных: детей, которые не нашли своего места у родителей; людей, страдающих от дискриминации, и т. д. Отражение этой тематики также можно найти в оппозиции братской любви и уединения в главе «Из жития в бозе преставившегося иеросхимонаха старца Зосимы...» (ч. 2, кн. 6, гл. II).

В-четвертых, аргумент Зосимы о церковном суде особенно интересен тем, что в нем четко отражается сущность его религиозной позиции – великодушие и, на первый взгляд, веротерпимость.

Великодушие, которое здесь выражается такими средствами, как сожаление, понимание, общение и т. д., несомненно, составляет суть его отношения к людям. В главе «Из бесед и поучений старца Зосимы»

¹ О парадоксальности позиции Ивана и ее дальнейшем развертывании в романе см. Мотидзуки, 1996: 289–297.

(ч. 2, кн. 6, гл. III) мы можем наблюдать, как великодушное глубоко связано с духом смирения, скромности и беспристрастной любви, которые, в свою очередь, оформляются в идеи «любите человека и в грехе его», «не можешь ничьим судиею быть», «(человек) за преступление стоящего пред ним, может, прежде всех и виноват».

Представляется, что идея веротерпимости составляет скрытую тему «Братьев Карамазовых», где упоминаются самые различные вероисповедания и верования (православие, католицизм, лютеранство, ислам, хлыстовщина, скопчество) и самое различное отношение к религии (фанатизм, суеверие, скептицизм, атеизм, казуистика). Старец Зосима отличается вроде бы свободным, открытым отношением ко всяким вероисповеданиям. К примеру, у него в келье находится икона Богородицы «огромного размера и писанная, вероятно, еще задолго до раскола», а также «католический крест из слоновой кости с обнимающею его Mater dolorosa и несколько заграничных гравюр с великих итальянских художников прошлых столетий». Своей свободностью и открытостью он отличается, к примеру, от отца Ферапонта, «великого постника и молчальника» из того же монастыря.

На таком фоне в сцене «Буди, буди!» Зосима вслед за Иваном высказывает свою мысль о необходимости веротерпимого отношения церковного суда к виновику. По его мнению, «если бы суд принадлежал обществу как церкви, тогда бы оно знало, кого воротить из отлучения и опять приобщить к себе. (...) Но церковь, как мать нежная и любящая, от деятельной кары сама устраняется, так как и без ее кары слишком больно наказан виновный государственным судом, и надо же его хоть кому-нибудь пожалеть».

Хотя дискуссия Ивана с Зосимой является прямым откликом на статью М. И. Горчакова «Научная постановка церковно-судного права»², нам представляется, что она в то же время выражает более общий взгляд писателя на христианскую церковь, на ее идеал и на ее реальное состояние в современной России. Поэтому особенно интересно, до какой степени эта дискуссия отражает отношение писателя к проблеме раскола.

Есть пара причин, почему именно проблема раскола ассоциируется с дискуссией в данной главе романа: 1) идея самого писателя о преодолении раскола и объединении восточной церкви, высказанная в его статьях 1870-х годов; 2) сюжет преодоления раскола в книге инока Парфения, из которой Достоевский взял много мотивов для романа, особенно по поводу старчества.

Ниже мы проверим эти моменты.

2. Достоевский и раскол: мечта объединения восточных христиан

Есть основание думать, что Достоевского с самого начала творческой жизни интересовала проблема раскола и сектантства в России³. Но публично он начал проявлять свою заинтересованность только в 60-х годах. В «Записках из Мертвого дома» (1862) Достоевский с большим интересом описывает непростой образ старика старовера из стародубовских слобод, который отличается спокойствием, добротой, с одной стороны, и твердостью, религиозным фанатизмом – с другой.

«Прожив с ним некоторое время», пишет рассказчик Достоевского, «вы бы невольно задали себе вопрос: как мог этот смиренный, кроткий как дитя человек быть бунтовщиком? Я несколько раз заговаривал с ним «о вере». Он не уступал ничего из своих убеждений; но никогда никакой злобы, никакой ненависти не было в его возражениях. А между тем он разорил церковь и не запирался в этом. Казалось, что, по своим убеждениям, свой поступок и принятие за него «муки» он должен бы был считать славным делом. Но как ни всматривался я, как ни изучал его, никогда никакого признака тщеславия или гордости не замечал я в нем»⁴.

Со страниц публицистических статей журнала «Время» мы можем узнать, что подобный человеческий, индивидуальный интерес писателя к старообрядчеству-раскольничеству был подкреплён другим, более историко-общественным интересом. По мнению ряда авторов журнала, раскольники-староверы являются не столько консерваторами, которые сопротивлялись реформе патриарха Никона, сколько жертвами сделанных наспех централизации и модернизации русского государства⁵.

Н. Я. Аристов пишет: «Петр хотел образовать одно дворянство и чиновничество, а о народе не заботился, считая его злым раскольщиком, неспособным к восприятию его нововведений. (...) Тогдашнее духовенство большею частью погрузилось в материальные интересы, не понимало стремлений народных, действовало формально, по внешности, не имея духа и жизни».

³ См. Волгин, 1991: 262–265; Дилакторская, 1995.

⁴ Судя по комментарию к соб. соч. Достоевского в 15 томах, Достоевский усугубил фанатизм этого старика старовера, поскольку его прототип Егор Воронин был наказан «за неисполнение данного Его Величеству обещания присоединиться к единоверию и небытие на освещении при бывшей закладке в Посаде Добрянской новой церкви», а Достоевский пишет: «Старик, вместе с другими фанатиками, решился «стоять за веру», как он выражался. Началась строиться единоверческая церковь, и они сожгли ее».

⁵ Об отношении «Времени» к расколу см. Лазари, 2004: 111–122.

² Если по плану автора сцена в монастыре происходит в середине 1860-х, критика статьи Горчакова является анахронизмом.

А. П. Шапов пишет: «Ревизия душ была завершающим актом разложения исторической организации земского мира и сословного, бюрократического, централизованного строя государства в форме империи всероссийской. Она, во-первых, каждую личность прикрепляла к империи, записывая каждую душу в государственную «переписную книгу»; во-вторых, раскалывала, так сказать, цельный общинный состав, организм земства на сословные касты, крепостные, служилые и податные, военно-духовно-гражданские. Вот главные начала, которые по воле Петра Великого в самых основах преобразовывали земство на разные сословия империи и которые потому во многих отношениях болезненно отозвались в земстве на все последующее время. И вот причины, почему общинно-демократические согласия раскола, поднявши народную оппозицию против реформ Петра Великого, оппозицию недовольного общества против шведско-немецких форм тогдашней империи, с самого начала восстали и доселе восстают главным образом против всех указанных начал государственности».

Вот и Достоевский находит в раскольниках «страстное стремление к истине, глубокое недовольство действительности» и пишет в статье «Два лагеря теоретиков»: «Бывают такие времена в жизни народа, что в нем особенно чувствуется потребность выйти на свежий воздух, какое-то особенное недовольство настоящим, потребность чего-то нового. Несомненно, что в ближайшее время к Петру уже чувствовал народ худобу жизни, заявлял свой протест против действительности и пытался выйти на свежий воздух... Так мы по крайней мере понимаем исторический факт – наш раскол».

Собственно, суть почвенничества была в идее преодоления пропасти между интеллектуальным обществом и народными массами, которая также является результатом Петровской реформы. С такой точки зрения раскол – фатальная трещина среди самой народной почвы. Поэтому почвенникам чрезвычайно важно узнавать по раскольническим сочинениям мирозерцание русского народа и народный тип XVII столетия, и «причину, побудившую массы простого народа отделиться от церкви и общества, с которым прежде он состоял в связи».

Глубокий интерес Достоевского к мировоззрениям раскольников, староверов, сектантов мы можем наблюдать в его романах начиная с «Преступления и наказания».

К семидесятым годам возникает у писателя еще другого типа интерес к проблеме раскола. Он познакомился с сочинениями Павла Прусского (Леднева), настоятеля Никольского единоверческого монастыря, бывшего старообрядца федосеевского согласия, и Константина Голубова (Чайникова), ученика Прусского. Единоверие – направление в старообрядчестве,

официально учрежденное в 1800 году, сторонники которого при сохранении древних богослужебных чин (двоеперстие, служба по старопечатным книгам и др.) и древнерусского бытового уклада признают иерархическую юрисдикцию Московского патриархата. Вероятнее всего, Достоевский увидел в этих теоретиках единоверия образцы преодоления раскола и объединения русской церкви и русского общества⁶.

Это объясняет его заинтересованность в деятельности Санкт-Петербургского отдела Общества любителей духовного просвещения, который частично занимался вопросами вокруг единоверия⁷. В 1873 году Достоевский присутствовал на выступлениях Т. И. Филиппова, посвященных нуждам единоверия, и опубликовал статью «Заседание Общества любителей духовного просвещения 28 марта» в «Гражданине», где он одобрительно представил позицию Т. И. Филиппова, который предлагал соборный пересмотр постановления 13 марта 1667 года, чтобы окончательно убрать воспрещение употребления двоеперстия и некоторых других особенностей дониконовского обряда⁸.

Интерес к преодолению раскола отражается и в некоторых его статьях в «Дневнике писателя». В рецензии на «Запечатленного ангела» Н. С. Лескова Достоевский как будто описывает интересный эпизод романа (обращение 150 раскольников в православную церковь) почти с точки зрения данных раскольников и попутно даже критикует поведение архиерея православной церкви. Когда распространилась новость о том, что в связи с объявлением войны Османской империи «общество московских старообрядцев пожертвовало значительную сумму денег на устройство походного лазарета во 100 копек для отправки в Сербию» («Московские ведомости» от 15 июля 1876 г.), Достоевский одобрительно отреагировал на этот факт и написал: «Московские старообрядцы снарядили и пожертвовали от себя целый (и превосходный) санитарный отряд и послали его в Сербию; и, однако, они отлично знали, что сербы не старообрядцы, а такие же, как и мы, с которыми они в деле веры не сообщаются. Тут высказалась именно идея о дальнейших, окончательных судьбах православного христианства, хотя бы и в отдаленных временах и сроках, и надежда будущего единения всех восточных христиан воедино; и, помогая христианам против турок, притеснителей христианства, они, стало быть, сочли сербов такими же настоящими христианами, как и сами, несмотря на временные различия, и даже хотя бы только в будущем. В этом смысле пожертвование это имеет даже историческое значение, наводит на отрадные мысли и

⁶ О Прусском и Достоевском см. Буданова, 2007.

⁷ Интересно заметить, что главная задача отдела касалась преодоления другой пропасти, т. е. подготовки переговоров представителей Русской церкви со старокатоликами.

⁸ Об этом см. Викторович, 2004.

подтверждает отчасти наше указание о том, что в судьбах христианства и заключается вся цель народа русского, хотя бы даже и разъединенного временно иными фиктивными различиями в вероисповедании. В народе бесспорно сложилось и укрепилось даже такое понятие, что вся Россия для того только и живет, чтобы служить Христу и оберегать от неверных *все* вселенское православие».

Можно сказать, что такая «надежда будущего единения всех восточных христиан» косвенно перекликается с тоном включения и веротерпимости в высказываниях старца Зосимы.

3. Игра включения и исключения: инок Парфений, бывший раскольник

Если мечта объединения восточных христиан составляет общий контекст нашей аргументации, специфическим подтекстом ее может служить книга Парфения (Петр Агеев, 1806–1878) «Сказание о странствии...».

Парфений родился в 1806 году в Молдавии, в Яссах, в русской (или скорее малорусской) семье, рано осиротел и воспитывался в семье раскольников, странствовал по России, отказался от раскола в 1837 году, прибыл на Афон в 1839-м, где принял иночество и потом стал схимником. В 1845 году он оставил Афон по велению старца Арсения и в 1847-м прибыл в Сибирь, в Омск. Потом переехал в Москву, стал настоятелем Николо-Берлюковской пустыни, в 1858 году основал Гуслицкий Спасо-Преображенский монастырь специально для обращения старообрядцев. Книга «Сказание о странствии...», где описана была первая половина его жизни, нашла много читателей, в том числе среди писателей. Достоевский тоже интересовался ею и использовал ее в работе над последними романами.

Как давно известно, и в «Братьях Карамазовых» находятся некоторые прямые и косвенные цитаты из книги Парфения, касающиеся главным образом монахов и монашеской жизни в Святом Афоне: дар прозорливости афонского иеросхимонаха⁹, запрещение женского пола¹⁰, обычай откапывать кости умерших через три года и проверять их состояние¹¹ и т. д.

Самое важное заключается в том, что Достоевский почерпнул у Парфения идею старчества и образ старца, который, по словам писателя, берет «вашу душу, вашу волю в свою душу и свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание, с полным самоотрешением». По выражению самого афонского старца Арсе-

ния, «мое распоряжение будет не по твоему хотению и желанию, ниже по моему человеческому, но по Божией воле». Примечательно и то, что писатель упоминает о неожиданном перевороте жизни Парфения, который по велению старца должен был оставить Афон, свою любимую святыню, и идти в Сибирь. При этом никто, даже патриарх Константинополя, не смог освободить его от послушания старцу, уже покойному. Хотя, конечно, нельзя отождествлять Зосиму с Арсением, поскольку в тексте Достоевского почти совсем отсутствуют конкретные детали монашеской жизни, подробно описанные Парфением, мы все равно можем найти параллели между двумя парами (Арсений – Парфений и Зосима – Алеша), в абсолютном участии первых в судьбе последних и безусловном послушании последних первым. Алеша, так же как Парфений, должен был уйти из монастыря по велению своего любимого старца.

Также важен и еще один момент из жизни Парфения – раскольниковство. Почему-то Достоевский нигде не упоминает об этом конкретно, хотя первая часть книги Парфения целиком посвящена жизни автора в раскольниковстве и освобождению от него.

Самая первая страница книги начинается так: «Азь окаянный находился в расколе более тридцати лет моего возраста, и несмь достоинь нарещися сынь Святыя Христовы Восточный Церкви; зане и азь окаянный иногда, по неведению моему, гонихъ Церковь Божию. Но Господь и Богъ мой, Иисусъ Христосъ, по неведомымъ Своимъ судьбамъ и по Своему человеколюбию, извели меня из заблуждения, показали мне истинный свет Святыя Своея Церкви, и присоединили меня к ней, и причислили ко Своему избранному стаду, как заблуждшую и погибавшую овцу...»

За этим следует долгая история о том, как он странствовал по России в поисках богоугодной жизни, начал сомневаться в своей раскольниковей вере и, находя в раскольниковей книге «Соловецкая челобитная» много лжи и клеветы на греко-российскую церковь, окончательно решил обратиться в русскую православную веру, причем не один, а вместе со своим другом, отцом Иоанном. Но тут они попали в сложную ситуацию: свои люди, т. е. раскольники, считают их изменниками и преследуют разными способами, а чужие, т. е. православные священники, остерегаясь личностей раскольниковей происхождения, не сразу идут к ним навстречу. Короче, Парфений и Иоанн стали объектами межконфессиональной игры включения и исключения. Эта сложная игра наконец кончилась, когда по решению митрополита Молдавии и собора их снова крестили в монастыре Вороне, причастили Святыми Тайнами, Телом и Кровью Христовою и присоединили к Святой восточной церкви.

⁹ См. Достоевский, 1976 (14): 28; Парфений, 1856, ч.2: 120.

¹⁰ См. Достоевский, 1976 (14): 35; Парфений, 1856, ч.4: 193.

¹¹ См. Достоевский, 1976 (14): 35; Парфений, 1856, ч.2: 189–192, ч.3: 45–47, 62–64 и т. д.

Такова же была предыстория постриженника Святой Горы Афонской. Его вторая, иноческая жизнь под руководством старца Арсения начинается только тогда, когда последний, понимая всю его жизнь, включая раскольничье происхождение, полюбил его и воспринял на свое лоно.

Наверно, и здесь мы можем предполагать условную параллель между афонским старцем и старцем Зосимой, который полюбил и принял Алешу в послушничество, хорошо зная его религиозно-сомнительное происхождение из «вертепа грязного разврата», которое называется также и «карамазовщиной».

Так или иначе, стоит еще отметить, что после возвращения в Россию инок Парфений посвятил свою жизнь деятельности обращения старообрядцев в официальную церковь. Вполне возможно, что автор «Сказания о странствии...», так же как Павел Прусский, Константин Голубов и специалисты из Санкт-Петербургского отдела Общества любителей духовного просвещения, послужил для Достоевского стимулятором идеи будущего единения всех восточных христиан через преодоление раскола.

4. Итоги

Конечно, Зосима не миссионер, а Иван скорее атеист. К тому же роман вообще не о расколе, хотя в нем сильно ощущаются моменты сектантства и ереси.

Поэтому было бы большой ошибкой, если бы мы захотели читать данную дискуссию о церковном суде как тезисы единоверия в духе Павла Прусского или миссионерскую пропаганду, адресованную к староверам, в духе иеромонаха Парфения.

Но тем не менее ее некоторые аспекты лучше воспринимаются, если мы учтем интерес писателя к вопросам, связанным с расколом русской церкви и движением к его преодолению, причем с обеих сторон. В данном случае была предпринята попытка охарактеризовать ряд основных направлений мышления Зосимы (связь, включение, веротерпимость) в свете идеи восстановления объединенной восточной церкви. Само собой, она должна быть связана с почвеннической (или шеллингианской) идеей органического объединения раздвоенного идентитета.

г. Саппоро (Япония)



**Виктор
ЛИХОНОСОВ**

НЕНАПИСАННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ. НАШ МАЛЕНЬКИЙ ПАРИЖ*

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПРАЗДНИКИ И ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ

— Сожалею, что не смог лично присутствовать на торжествах. Надо же найти время и для того, чтобы подать руку счастью...

Из разговора

Собственный его величества конвой

В Петербурге никого Толстопят не вспоминал так часто, как сестру Манечку. Издалека он разговаривал с ней, но сестра за стол и приложить руку к бумаге ему было некогда. Манечка строчила ему на листах екатеринодарские и домашние новости. Толстопят успокаивал свою совесть тем, что без конца отвечал ей шутиливо-ласковыми устными посланиями. Они были такого рода.

В то время, мол, как вы ленитесь, спите в мягких постелях, отмыкаете ключами счастья двери ситцевых вечеров и чашек с чаем, ездите верхом на Терешке в магазин мадам Фани или полотенцами гоняете мух по комнатам, мы тянем ляжку службы вблизи самой власти. Изо дня в день наши казаки при царе и его августейшем семействе. Камер-фурьерский журнал толстеет от расписаний: высочайшие выходы по случаю Нового года, крещенского водосвятия, пасхальной заутрени, дней рождений, бракосочетаний, коронавания и т. п., встречи иностранных премьеров, королей и проч. То надо проводить вдовствующую императрицу до границы (и получить, между прочим, из ее белых ручек серебряные часы с гербом), то великокняжеский выезд в Мариинский театр, то вот сейчас готовимся в Ливадию. Когда портить бумагу? В малахитовом зале Зимнего дворца нижние чины сперва разевают рты, отдают сами себе честь перед зеркалами, ну точь-в-точь как наш батько в молодости, когда ходил к «аблакату» в суд и в приемной наткнулся

вдруг на своего покойного брата Ивана, с испугу спросил: «А ты тут чего, Иван?» — а потом разобрался, что то ж он сам отражается в зеркале. Что наш казачок видел? Бахчу в степи, скотину во дворе и в царине, скачки, армянскую лавку на базаре. Тут вокруг него сиятельные особы, дамы, камер-пажи и царская родня. В Петербурге у подъездов семечки не лузгают. На второй год службы казак привыкает к царской особе как к станичному атаману и может заслужить от него улыбку и вопрос: «У вас есть сестра? брат?» Я, конечно, ответил: «Есть, ваше величество, ангелочек, сестричка Манечка». Мы, слава богу, не конные жандармы, гонять демонстрации. Мы конвойцы, телохранители. Сидит казак на запятках экипажа и смотрит одним глазом на шляпку великой княжны Ольги, другим — в сторону. Мы не блестящие кавалергарды на гнедых конях, не золотистые кирасиры и не синие уланы; мы усатые казаки в черкесках из лодзинского сукна, без гусарских ментиков на дорогом меху, в папахах вместо черных доломанов. Наши нижние чины больше всех гвардейцев напоминают царю народ, от которого он отгорожен дворцами и полками. Эти нижние чины всегда у него за спиной. Обо мне на следующий год можешь прочитать в справочнике «Весь Петербург». Но я все равно твой братец и навеки кубанский казак.

По всем дням занят. Живем по царским часам. Государь еще не завтракал, а мы уже почистили и накормили коней, распределили дежурство, проверили снаряжения. С десяти до одиннадцати утра у государя прогулка, наши чины стоят по всем аллеям и уголкам и, если он проходит мимо с наследником, вытягиваются в струнку и перед ним, и перед шотландскими лайками. В одиннадцать часов (через день) я посылаю во дворец вахмистра с судками, запертыми на ключ, — государь собственноручно пробует пищу конвойцев и всегда изволит отмечать свое впечатление. Когда он в час дня плотно завтракает в семье (любит, говорят, кубанские борщи, кашу, блины, монастырский квас по рецепту Саровской пустыни), мы все равно в делах и в бегах: везде посты и наблюдения. Не думай, что это легко. Будет казак вспоминать о доме или о прачке из ближайшей деревни — проскочит какая-нибудь тварь с бомбой. После неудачного покушения в 1906 году, когда через нашего казака хотели проникнуть с бомбой во дворец, караул стал еще строже. Казак тогда принес командиру конвоя десять тысяч рублей и заграничный паспорт, которым его снабдили заговорщики. Ему тут же дали звание урядника. Каждый из нас в любую минуту может заплатить головой за царскую жизнь. Господи, сохрани и помилуй! Едет он в пятом часу по кружной дороге Боболовского парка, а ты только и думаешь, как бы не сосчитал всех ворон казак твоей сотни, не закурил тишком или не разговорился с молочницей-чухонкой, которой по парку позволено ходить свободно.

* Продолжение. Начало в «ОК» № 4.

По обезьяньей привычке подражать пишу тебе огрызком карандаша, наговаривал Толстопят слова, в твердой уверенности, что он их вечером вправду запишет. Мне сказали как-то, что государь довольно бережлив и карандаш обыкновенно исписывает до конца, а последние кусочки отдает на забаву своему ненаглядному сыну Алексею. Ну, у меня-то сына еще нет и даже нет на примете чудной головки, возле которой бы я спал на подушке в своей квартире, как спят мои товарищи-офицеры. Вместо хозяйки у меня денщик на кухне, я его недавно три раза ударил по щеке. Послал его купить кружку сметаны, прихожу домой и, представляешь, вижу: в кружке половина съедена. Он мне, морда, говорит, что не трогал. Еще и кричит. «Бью тебя, – говорю, – не за сметану, которую ты поел или отдал щенятам, а за повышение голоса и за сделанный тобою шаг ко мне!» И – восемь суток усиленного ареста. Думаю, переставил бы кто каким-то чудом нас местами – он бы меня задрал как курицу, так что я еще добрый. Денщик мой, кстати, играет на гармоне лучше всякого босняка. И вот он торчит у меня. Внук Костокрыза счастливее! К нему прибыла из Пашковской баба, детей привезла. А мне не с кем на ночь прощаться, как это заведено в царской семье; не осенить на сон грядущий малютку крестным знамением. Нету! Но женюсь! И, как все, получу на свадьбу благословение самого государя и попрошу его быть восприемником моего сына при крестинах. Моя нареченная положит в шкатулку царский подарок: какую-нибудь брошь, украшенную бриллиантами, и удостоверение.

117

А подросший сынок где-нибудь напьется, взмахнет шапкой и закричит: «Меня сам царь крестил!» Так уже было в станице Шкуринской.

Приехала бы, не раз заключал Толстопят в конце ненаписанного письма, я тебе сниму комнату в Царском Селе. Тебе с твоей душою в самый раз гулять по его паркам.

– Будем живы и Богу милы, – всегда вслух говорил сестре Толстопят напоследок.

Конь без хвоста

Собственный его величества конвой в мае 1911 года праздновал свое столетие. В марте Костокрыз написал в Царское Село внуку Дионису: если не вычеркнет его из списка генерал Бабыч да не отнимет Господь здоровья, то придет к нему в казарму с кубанским салом. С начала мая казаки по сотне так и шутили: «Ну, Дионис, наверно, дед твой уже поклат сало в сакву. Ты ж нас не забудь. Сто лет когда еще будет!»

Кому, как не Кубанскому войску, было воспрянуть в гордости на юбилее конвоя! Потомков запорожцев призывали сторожить царских особ издавна. Боевая слава конвоя родилась в дни Лейпцигского сражения, когда из кубанцев сформировали лейб-гвардии Черноморскую сотню. Во главе ее стал полковник Бурсак.

Силу казачьей шашки познали французы под Витебском и на Бородинском поле; древние города Европы видели всадников с копьями; топтали казачьи кони мостовые оскорбленного Парижа. Слава была! Обязанность погордиться ею возлагалась на мудрость войскового начальства: подобрать от рядового состава стариков, которые бы показали двору крепость казачьего духа.

Власть использует юбилей для торжества государственности; простые люди вызывают к ее праздничной совести: гордые ждут наград и повышений, обиженные и сиротливые – милости. Кое-кто злится; большинство живет ничего не замечая.

Кучи писем завалили войсковой штаб и канцелярию наказного атамана. Беззубые старики, бывшие конвойцы, словно взбодрились надеждами. Многие обласканные в свое время мимолетным царским словом, в которое уже никто, кроме них, не мог уверовать, поспешили вставить то слово в строку рукою местного писаря и разориться на гербовую марку. Всяк из них доживал нынче в станицах по милости судьбы: у кого завалилась хата; кто-то потерял детей на японской войне; иной не мог забыть позора, павшего на его голову за проступок, и все еще стыдился станичников. Письма содержали одни просьбы.

Войсковая казна сроду жалась с денежками на именинные прогулки в Петербург. К весне набрались желающие поехать козырять Георгиевскими крестами за свой счет. Не наточило войско суммы с мирских сборов. Отобрали на даровое путешествие «на стальном вороном» (то есть на поезде) всего шесть урядников, не считая начальства.

– Ну, едешь с нами, Лука? – спрашивал Бабыч Костокрыза.

– Та если волов куплю, то поеду к внуку Дионису.

– Без тебя какой праздник? Или ты не чуял, что конвою сто лет? Я тебя еще перед Великим постом записал. Только оселедец придется сбрить...

– На шо? Меня не то шо царь, а и Одарушка моя не признает.

– Не до шуток, Лука.

– Слушаюсь, ваше превосходительство! – одернул Костокрыз, испугавшись. Но упрямство родилось раньше Луки. – Там же форму за сто лет надедут? Ач! А у меня на голове оселедец, ему сто пятнадцать лет и больше. Его мне прадед привез в бочке. Вот и будет как та история. Надо за старые обычаи держаться руками и зубами.

– Что чуприны казаки перестали носить – невелика беда. И без чуприны они хоть кому могут носа втереть. А вот как полезет к нам в станицы всякая нечисть и начнет в них мудровать, то это будет кара египетская.

– Мы будем в свою дудку играть, своим разумом жить и за свои порядки стоять. Оцей оселедец надо носить и на голове за ухом, и в самой голове.

– Тебе, Лука, кажется, будто ты в Красный лес на охоту едешь. Во дворце прием, и будут они оглядываться на твой хвост на голове.

– А зачем же мы от запорожцев?

– Времена меняются. Ты вот женился, а запорожцы без баб чумаковали. Чего ж ты женился?

– Та природа требует! – сказал Костогрыз и приложил руку к сердцу. – Бабе цена грош, да дух от нее хорош.

– Оселедец сбрить...

– Там же все военные – не перепугаются, а дамам даже понравится. Как были наши самые первые казаки у Екатерины, по числу Второй, то водили их по всем царским комнатам, а за ними гурьбою князи та княгини. Морды у казаков бронзовые, штаны широкие и спускаются с халяв. Та чуприну за левое ухо закручивают, а царица на них смотрит, как кошка на солому, шоб не прозевать мышки. Вот это я понимаю! Потому Екатерина нам и землю на Кубани дала. Он же, Антон Головатый, стал перед ней на колени: «У тебя, маты, в хате как на небе. Дай нам хлеба на серебряном блюде, и соли в позолоченной солонке, и земли, шоб нам вольно жити». И додал голосно: «Тай годи!» И гусиное перо ей в руку. То было времечко.

– То теперь как сказка.

– Какая сказка? Какая сказка? С булавой поедете?

– С насекой, – сказал Бабыч. – А оселедец сбрить...

– Рубля жалко. – Костогрыз попрощался, но спустя минуту приоткрыл дверь и крикнул: – А сала, батко, можно с собой взять? У меня ж там внук, Дионис. А чеботы я македонским дегтем намажу.

Македонским дегтем прозвали кубанцы греческую губную помаду.

Немыслимо теперь представить то уживание народной простоты и казенного долга, которые поминутно сказывались даже в начальствующих лицах.

Два дня ели нижние чины в вагоне сало, пили чай с медом – это до Москвы; еще день угощали друг друга по дороге в Петербург, а все одно вылезли на Московском вокзале столицы с припасами. Свое – оно вкуснее. Лука Костогрыз побеспокоился о внуке: отрезал самый лучший кусок баранины, да с полпуда завязала бабка в тряпицу сала. Благо – расположили депутацию в Царском Селе, прямо в казармах конвоя. К вечеру 1-я сотня попробовала кубанского яствия. Да захватил Лука еще и винца, но уж так таил, что ни одна душа не догадалась. А чего ж ездить бедным! Старые запорожцы тоже везли когда-то с собой угощения – не столько, правда, себе, сколько вельможам: наставили на телеги бочоночки с икрой, живой рыбой, лимонным соком. Под Орлом, кажется, передал Лука кусок сала в вагон 1-го класса генералу Бабычу, на что тот ответил через казака: «Все равно накажу, если оселедец не сбрил!» Замиренное, как горцы, ехало

начальство на праздник. Казаки-урядники позволяли в своей компании баловаться на его счет шуточками. Ведь они были не какие-нибудь малолетки, а старые вояки, уцелевшие от пуль, холеры, малярии и прочих напастей. Им досталось. Путь-дорога в конвой сократилась колесами стального коня, а раньше даже от Екатеринодара до Ливадии забирало путешествие больше времени.

Трое суток везли казачью славу вместе, а в Петербурге, уже при встрече, все чинно разделилось и напал маленький страх перед самодержавной русской властью.

В Царском Селе придворный фотограф Булла снял Костогрыза с внуком перед казармой. Все знали в сотне, что после гибели отца в японскую войну Дионис с сестрой воспитывался у деда. У Феодоровской церкви пожелала сняться со стариком вся сотня. И Костогрыз, и молодые казаки выставились перед камерой с накинутым черным платком так вызывающе достойно и несокрушимо, будто передавали память о себе на века. (Через пятьдесят лет никто в архиве не мог назвать их фамилий.)

– Ну что, Лука? – спрашивал Бабыч, на сей раз как-то пугая генеральскими эполетами. – Не пропало казачество?

– Как же, ваше превосходительство, не пропало, колы казаки без оселедца.

– А ты не боишься своего атамана. Оставил.

– Нехай для истории.

27 мая молитва в Петропавловском соборе у могил императоров совершалась без нижних чинов. Лука Костогрыз тем часом крестился на храм на Крови, поставленный у Екатерининского канала на том месте, где убили в 1881 году Александра II и где Луку сбросила с лошади взрывная волна и оглушила. За чудо своего спасения он и возжег свечечку пред иконой Николая-угодника. Двух терцев убило бомбой. Уцелевшие казаки получили от великого князя Михаила Николаевича по двадцать пять рублей.

– Тридцать лет ушло, а как вчера, – сказал Костогрыз внуку. – В Петербурге и убили. У нас на Кубани такого не могло. Тогда, как приезжал он в Екатеринодар, поставили его на ночевку в дом отца Бабыча, почетный караул и дворянство разошлись, а он вечером на тебе: вышел из дома и давай гулять на Крепостной площади. В Атаманском сквере, где теперь Катерина с крестиком. А там казаки у костров сидят, песни поют. Он с ними побалакал. Один конвоец за ним ходил только. Как каланча ростом. Грудь – во, плечи аршина полтора. И никто не стрелял! Его как у атамана накормили борщом, то он больше суток ничего не ел... У нас бы ему жить... А це москали его загубили.

– Сейчас, дедусь, по всему свету так, – сказал Дионис.

— Та какое нам дело до всего света? Мы знаем свою Черноморию и... Ой невесткам хорошего ситцу наберу! Пошли...

— Доедем, дедусь, к памятнику... Вы же такого памятника не видели.

— А ну! — загорелся старик желанием побыстрее взглянуть на бронзового царя, его некогда выделявшего из всех конвойцев. — Читал, читал, как в позапрошлом году ставили. Как же нас в первый день вели с Московского вокзала, то я и не глянул на царя?

— Вы ж сало несли, — пошутил Дионис.

На памятнике у Московского вокзала Лука царя Александра III не признал. В жизни царь был могучий — да; гнул пальцами монеты, скручивал кочергу, шел так, что загораживал своими широкими плечами свиту, но на мертвой лошади сидел теперь стопудово и не на той лошади, что была под ним всегда, и выражение полновластного лица было какое-то придурковатое, дикое, азиатское. Но это бы бог с ним, а вот почему лошадь с голым задом, без хвоста? Лука закрутил головой. Внук Дионис насмешливо следил за его взглядом.

— Дионис! — закричал Лука. — А где же хвост?!

Лука так спрашивал во дворе только, когда пропадала куда-нибудь уздечка.

— Я не отрезал, не знаю, — сказал Дионис.

— Семьдесят шесть лет прожил, помню: у коней всегда хвосты были. Или мне уже очки у аптекаря купить? Куда они хвост дели?

— То ж памятник...

— Я помню, на какой лошади он ездил. И хвост был! Та где ж он?

— Бронзы, наверно, не хватило. Тому, кто лепил, виднее.

— Тогда лучше и сразу было не лепить, — сказал Костогрыз и, не желая больше знаться с таким памятником, отвернулся и пошел к Невскому проспекту. — А меня Бабыч заставлял оселедец сбрить. Ото чудеса-а! Шо це за лошадь? Кто на нее взберется? Не-е, це нарочно. Це сукин сын ставил. Власть без хвоста — це-е... Зад прикрыть нечем, так же?

И махнул рукой.

18 мая погода в Царском Селе была прохладная, но с солнцем. Лука без привычки замерз. Он встал раньше всех, по-петушиному, и сходил в деревню к чухонкам, попил молока.

На параде Лука Костогрыз без конца пускал слезу.

В Царском Селе с балконов длинного Екатерининского дворца и на земле у подъездов белели шляпки высокородных дам, кители и пиджаки сановников, русских офицеров и прочих гостей. Четыре сотни конвоя в красных черкесках выстроились в конном развернутом фронте, тремя фасадами огибая площадь. Черные папахи, как гнезда на деревьях, тыкались на фоне светлых служебных помещений. Почти до царского подъезда растянулась пестрая шпалера быв-

ших конвойцев. Командир конвоя, невзрачный князь Трубецкой, и штабс-офицеры ждали на белых конях государя. Всех распределили по местам, ими добытым в службе; в торжественную минуту зуд гордости и чванства особенно велик.

Черкеска тянула Костогрызу левое плечо. «Хорошо бабка залатала на с поде, а крючки пришила, бисова душа, неровно», — поругался он про себя. На ковре в парчовых малиновых ризах с серебряными, вышитыми золотом оплечьями выпирало животы духовенство. Вся самодержавная косточка России сдавилась на площади. Колкий страх перебежал порою по телу: это неприступное радостное общество вершит твоей жизнью!

Кажется, все уже видел и все-все пережил на своем веку Лука Костогрыз, но когда зазвучали трубы, потом протоиерей вознес до верхних окон дворца свое «Спаси, Господи, люди твоя», когда каким-то животным чутьем предупредил себя старый служака, что князь Трубецкой развернул коня, чтобы скакать навстречу государю, — трепет и слезы захватили его снова. На белом коне объезжала фронт сама власть. Вытаращив глаза, потеряв на мгновение касание друг дружки, бездыханно вросли в землю казаки, слушая царское поздравление, чужими голосами отвечая на него от имени сотни. С особым почетом поздравлены были старики. Глаза Костогрыза блестели от слез. Это ведь и его годы службы в конвое прибавили к юбилею цифру. Не четыре, не десять, а двадцать пять с хвостиком. Забросил на четверть века родное жилище, богатую землю и скитался как тень за царями. Что хорошего видела его Одарушка?

На высокой красивой лошади царь Николай казался еще меньше, чем на земле. Не было в нем отцовской внушительности, и только глаза! Глаза большие, женские.

Трижды проходили конвойцы церемониальным маршем посотенно на шаг, рысью и наметом. У подъезда махал им крохотной ручкой наследник Алексей. Когда фронт снова выстроился, государь подошел к столику и принял из рук князя Трубецкого чарку вина.

— Сто лет конвой честно и верно служил царям и России как в походах, так и в мирное время. Предки мои ценили беззаветную преданность кубанских и терских казаков конвоя. Благодарю прежде служивших. Уверен, что и грядущие поколения будут служить по примеру своих славных отцов и дедов. За здоровье стариков и за ваше здоровье, казаки! Ура!

— Ура-а-а!

Отрадно было, что при словах «благодарю прежде служивших» государь полуобернулся в ту сторону, где с пышными бородами умерли в строгости старики; Костогрыз еще раз заплакал. Мало нужно простолюдину ласки, чтобы душа облилась еще большею благодарностью. Все вокруг внушало почитание, все говорило подданным: никакого другого порядка в рус-

ской истории не было и не может быть. Смотрите на нас и знайте: другого никогда не будет!

Один маленький цесаревич Алексей пренебрегал дисциплиной парада: без матери он устал от пустого внимания дам и хныкал.

Фокусы джигитовки, показанные «при всем Петербурге», оживили ряды гостей и старых конвойцев. Ай да казаки! – топал ногою Костогрыз. И чего только они не вытворяли на сытых кабардинских конях! И двое на одном, и трое на двух; и боролись на скаку, и падали вниз, и клали коня на землю, подбирали раненого, и, как в станице Пашковской, хватали с земли монеты. Кто еще так может? Смотрите и вы, шляпки и белые пиджаки, это вам не шампанское пить. Лука жмурился на секунду и представлял, как он сам со стариками вылетает на жеребце и кувыркается перед царем. Было, было когда-то такое в молодости. В ту минуту, когда великие княжны Ольга и Татьяна подавали джигитам призы и казачок, сняв шапку, поцеловал им ручки, Костогрыз крикнул и провел пальцем по глазам, – не страшно было умирать, раз есть в войске замена.

Обедали врозь.

Празднество продолжалось налегке. Обид не было: в зале с люстрами и золотыми росписями собрались дамы, генералы, офицеры, чины двора; в особом помещении быстро крестились и брали рюмки нижние чины. Там на спешных столах каждая персона искала карточку со своей фамилией; тут размещались как попало, к кому ближе товарищеское чувство. Там возвышали сами имена: баронесса Фредерикс, графиня Мусина-Пушкина, камер-фрейлина графиня Голенищева-Кутузова, свитские фрейлины – графиня Бенкендорф, княгиня Белосельская-Белозерская, княгиня Долгорукая, княгиня Трубецкая и прочие, все старинных российских родов; здесь звучали запорожские прозвища прадедов: Костогрыз, Рыло, Почекай, Перебейнос, Турукало, Хрящ. Там не ели, а ждали, потом выворачивали шеи к царю, к великим князьям, министрам; тут не переставая кричали: «А ну, Лука Минаевич, загни! Нехай легонько икнется нашим домашним та всем родичам, помершим душам – царство небесное, а нам пошли, Боже, здоровья». – «Я казак чубатый и уса́тый, а как гляну на кого – не иначе пан офицер!» – «За прежде служивших государю! Сыра земля, расступись!» В зале с уходом царя нависла скука и хотелось домой; здесь жалко было подниматься от стола.

Вечером конвойцы пригласили депутацию на шашлык. Обмывали подарки, поднесенные от родной земли конвою: серебряную братину, черпак в виде кубанской папахи и адрес в серебряном бюваре. Костогрыз шутил и рассказывал байки.

– Колысь наказный атаман ездил в Петербург, так выбрал себе моего деда, казака из всех, такого, шо как дошла черта нашей кубанской депутации беседу вести с царем, покойным Николаем Павловичем, то

все трусились, боясь рот раззявить, а дед мой как приступил, та как взялся переговариваться с самим царем, с царицею, так прямо зачудил всех во дворце... Начал рассказывать царю та царице, шо у нас на Кубани, как живут казаки, а казачки родят по два сына сразу, коровы по двое телят, а свиньи по шестнадцать поросят, то смеялись на все хоромы царь и царица и придворные. Ач! Так отакечки и выболтал казак себе золотую медаль на шею чи на грудь и чарочку водки...

– Все бы ничего, – сказал он перед сном внуку, – да где я теперь дорогу к властям найду?

– Зачем вам?

– Я ж двенадцать писем привез, а как передать? Кому? И царю-батюшке, и командиру конвоя, и министру двора Фредериксу, а одно великому князю Александру Михайловичу. Кто был наместником Кавказа, колы твой дед в Адагумском отряде бился?

– Воронцов-Дашков?

– Ой, бисова душа, уйди, а то ударю. Дашков сейчас.

– Шереметьев, чи шо?

– Оце деточки выросли, оце казаки.

– Малама?

– Та то был наш наказный. И чему вас учат, за шо кашу дают в котелках? Великий князь Михаил Николаевич! А его сыновей нянчила наша казачка. Анисья.

– Оно мне надо, – сказал Дионис.

– Надо не надо, а поможешь. Она ж, наша доля, не так блесит, как на параде. Кто будет за старых людей хлопотать? Лука и будет. Ты думаешь, я только языком почесать та оселедец крутить приехал? Двенадцать жалоб со мной. Хоть Бабыч и не возьмет больше на охоту, но я добыюсь своего. Тут одни слезы, а не письма. Найдем, как передать. Кормилица Александра Михайловича пишет, шо у нее атаман самовар забрал.

– Пойдите... – Дионис поковырял в носу. – Наш пашковский казак Савва Турукало у великого князя конюшни чистит. Его и попросим!

– И пообещай, шо нальешь ему вина с моего бочонка, пускай подступает к князю.

– Может, и сотнику Толстопяту сказать?

– Не вмешивай его, он такой психованный, только напортит. Тут у меня ще от каневского казака письмо, – це ж бы самому государю в руки! Он мой однополчанин по Адагуму.

– Тимофей Рыло понесет государю пищу на пробу и отдаст.

– Та не положено ж, чи ты не знаешь? – сморщился от порядков при дворе старик. – Не положено его особу беспокоить прямым ходом! За это с конвоя выправят и накажут.

– Рыло такой смешной, как вы, царь ему простит. Он на колени станет, отольет пулю, царь ему простит. Царь его всегда спрашивает: «Тебе ничего не нужно от меня?» – «Как бы вы меня сосватали за чухонку,

ваше величество, то я бы на Кубани коров развел...» Такой.

— Ну, если так, то давай! Каневской храбрый казак был. Низкое его прошение надо покрыть благодарностью. Тридцать пять лет беспорочной службы, двадцать семь в конвое, без штрафов и замечаний, как и я. Он тут все пишет. На, почитай...

— «...А на другой день встретили горцев в ущелье. Мы, увидев большое войско, возмущились духом. Я решил преследовать одного, имевшего в руках значок, с целью поймать живого и привести в отряд со значком, но план не осуществился, потому что у него подошва перемотана ремнями, он мог быстро бежать, а у меня подошва подбита вся гвоздями, я скользил по камням. Тогда я убил его, а когда оглянулся, то увидел, что нахожусь среди неприятеля, а отряд мой на версту от меня. Я поспешил спуститься вниз. «Ай, ай, урус, урус, джигит!» — горцы в ладони забили. На обратном пути я пятьдесят четыре раза переходил ручей. Я готов подтвердить присягою. Надеюсь на вознаграждение, сослуживцы надо мной смеются, выражаясь, что если такой геройский подвиг остается без вознаграждения, то кто рискнет на подобный подвиг еще, который не принесет никакой славы, кроме позора? И сознаюсь, Ваше Величество, что от одного стыда я должен сойти преждевременно в могилу, если Вы только не примете во мне участие, не наградите знаком отличия ордена Св. Георгия 4-й степени...»

— Мы так можем схитрить, — сказал Костогрыз. — Как пустят меня с депутатией к Марии Федоровне, я там сделаю подношение. А не выйдет (Бабыч же и все начальство кудахтать рядом будут), то передадим с казаком.

— Тому сколько лет?

— Мы в ущелье бились в шестьдесят третьем году, считай. Полсотни лет прошло.

— О-о-о-о-о!

— Чего? Чего, бисова душа, «о-о-о-о»? Мало наших костей там лежит. А кто живой, пускай его успокоят на старости. Марии Федоровне скажу!

Как раз поздно вечером сообщили о соизволении вдовствующей императрицы Марии Федоровны видеть завтра депутацию у себя в Гатчине. Встали в пять часов утра, прибыли в Петербурге на Варшавский вокзал. В Гатчине придворные экипажи доставили их прямо ко дворцу. Покойный государь Александр III забросил Царское Село, жил в Гатчине; Костогрызу был знаком здесь каждый пенек.

Нижних чинов отделили от Бабыча и офицеров и в маленькой комнате подали им чай и кофе. Скороход в чудной шляпе с перьями вполголоса объявил, что ее величество удостоивает казаков представиться ей, но только о времени будет дано знать особо. «Помнемся, ничего», — согласился Костогрыз и до одиннадцати размышлял в уголку о внучке и Попсуйшапке, не задравших между собой. «Разрушится дом, в котором

нет мира... — разговаривал он сам с собой, умолкал, потом далеко-далеко, через просторы, обращался к внучке на Кубань, наставлял: — Как поживешь, милая, так и прослывешь. Ласковое теля двух маток сосет, знаешь? Поклонись, голова не отвалится. Василь у тебя на все руки. А ты, Василь, сразу бы сказал: «Если не будешь почитать мою мать, я тебя выгоню!» Моя мать десять лет за слепым свекром ухаживала. Василь не пьет. Мой брат, бывало, как поедет на ярмарку — назад с одним батигом, и волов проплет. Жинка детей прячет, а сама в сено. Слышит — уже кричит: «Казак без дыму не гуляют!» Тебе такого?»

В половине двенадцатого тот же скороход повел их по большой и длинной галерее в приемные комнаты. Нижних чинов у дверей придержали. Такое ожидание утомляло ноги. Через четверть часа скороход дал сигнал: можно!

— Иди вперед ты! — толкнули Луку Костогрыза.

Тот перекрестился незаметно и стройно вошел в Белую залу. Двенадцать писем лежали в кармане. Бабыч и офицеры уже поговорили с императрицей и повернулись к двери, готовые представить гордость казачества.

Семнадцать лет не видел императрицу Костогрыз, а все то же, кажется, выражение недовольной жены сохранялось на ее лице. Маленькую, темноглазую, ее хотелось пожалеть: вдова, а без мужа на старости какая доля, хоть и в хоромах? Не такой она въезжала в Петербург на помолвку, датская принцесса Дагмара. Маленькая, а тоже умела строжиться на венценосного супруга; недаром фляжечку с коньяком за голенище пхал. Она сама подошла к казакам и сказала: «Здравствуйте, старики». Казаки ей ответили хором: «Здравия желаем, ваше императорское величество». Бабыч их подучил, в каких выражениях и какой речью приветствовать Марию Федоровну. Тут Костогрыз, к счастью, вспомнил то место в Св. Евангелии, где Спаситель, поучая апостолов, заповедал не приготавливаться к ответам заранее.

Императрица протянула Костогрызу слабую ручку; он снизу коснулся ее своей шершавой ладонью и поцеловал.

— А вы ж, ваше величество, чи помните меня? — проронил он и для острастки взглянул на наказного атамана: можно ли ввязаться в разговор?

Натянутый Бабыч, судя по виду, механически подчинялся всему, что происходило как бы по воле двора. Императрица улыбнулась, не раскрывая губ, помолчала.

— Помню...

— Вот ж когда турку прикончили и покойный Александр Николаевич Второй из Болгарии вертался в Петербург, его встречали. И народ, и весь гарнизон военный. Он в санях едет, а меня поставили дорогу расчищать. Люди как кинулись за ним — и военные, и дамы, шапками машут, звали, шоб вышли на балкон.

И вижу: карета-возок. Я толкаю всех: «Дайте дорогу, дайте дорогу!» И, хоть мне приказано «с места не сходить», я подбежал и сунул голову в окно кареты. Батюшки! – то ж Мария Федоровна. Чи не помните?

– Помню...

– А потом, – расхрабрился Костокрыз, – Александр Александрович Третий, – я всегда и везде сзади его был, – сказал мне раз: «Ты ж, Лука, как нянечка ходишь за мной. Если что надо, обращайся, а остальное дело – уже мое».

Костокрыз на всякий случай подводил разговор к тому моменту, когда даст бог полезть в карман и вытянуть двенадцать писем. Императрица согласно кивнула головой, что, верно, означало: да, он был очень добр к простому народу.

– И вот ж когда вы к нам в Екатеринодар приезжали, так...

– Я помню. Я с особенным удовольствием вспоминаю путешествие по Кавказу, и ваш Екатеринодар, и скачки. Хотя и сентябрь, погода была летняя, прекрасная, а у нас в столице, видите, май, а какой дождь и холодно.

– И горилки не дают!

– Если бы не склонность к шутке, – сказала императрица, – казакам бы, наверное, в защите границ пришлось тяжелее?

Все важно подняли головы, одобряя тонкое наблюдение ее величества.

– За что у тебя кресты?

– Первый получил в Адагумском отряде, ваше величество; второй за взятие аула под начальством генерала Бабыча, батка нашего наказного атамана. Третий за дело при нападении на станицу Елизаветинскую двенадцатого августа шестьдесят второго года.

– С какой сам станицы?

– С Пашковского куреня, ваше величество.

– Долго ехали?

– Короче, ваше величество, чем мой дед по матери. Моего деда по матери в сорок втором году побили плетями на ярмарке кущевские казаки. Шо ж. Он до того обиделся, шо решил идти куда глаза глядят. Переправился через речку Ею и наставил чеботы через Ростов прямесенько на Санкт-Петербург. Допхался аж до Царского Села, где в тот час был государь Николай Павлович и весь его дом. Прожил дед семь дней, пожелал видеть государя, но по случаю большой строгости аудиенции... аудиенции не удостоился, а посему пожаловал на высочайшее имя просьбу и явился во дворец.

– Вот как...

– Граф Канкрин повел его к адъютанту Паткулю. Адъютант повел к наследнику Александру Николаевичу, и тот дал моему деду по матери пятьдесят рублей. После этого дед свободно вышел из Царского Села и в тех же чеботах направился к пределам родной Чер-

номории. Но наказный атаман Завадовский сделал такое предписание: «Внушить казаку Гусаку всю неуместность его просьбы...» Господи, пошли нам, шо было в старину.

– Давно не был в Петербурге?

Значит, императрица ничего не помнила. Разве она забыла, как спускали их на льготу и она белыми своими ручками вручала значки и вензель «А II» тем, кто пострадал первого марта?

– С тех пор, ваше величество, как с эшелонам привезли мой гвардейский сундук на станцию Кисляковскую и мы выпили с товариством на прощанье горилки, кануло семнадцать лет. Я б еще служил, да дуже любил кавуны и свежие помидоры.

– А что, Петербург лучше Екатеринодара? Какую нашел ты перемену?

Костокрыз потянул пальцы почесать бугорок на затылке, но одумался и перенес руку на грудь.

– Сказать, шо лучше, будет неправда, ваше величество, потому ж у меня хата, пасека, мои атаманы. Сказать «хуже» – так шо я видел? Тогда, ваше величество, служба была... бродить по Петербургу было некогда. – Не теряя своей всегдашней зоркости, Костокрыз замечал, что искренность его понравилась императрице. – У меня ж и внук в конвое. Дионис, а фамилия моя. А поет хлопец, а пляшет! Вот он вчера меня и таскал по городу. Та зашли в один магазин, в другой, и уже, кажись, до дому можно.

– Казак, ваше величество, – оправдал Бабыч Костокрыза. – Впечатлениями объят до глубины души и сердца, а домой хочется. Выслужил Богу и государю тридцать лет и двадцать почти лет живет в чистой отставке.

– Спасибо им за верную службу, – отпустила императрица благодарностью Костокрыза и сделала шаг в сторону высших чинов.

– Пошли, Господь, шо было в старину, – тихонечко сказал Костокрыз.

На Кубани он бы тут же запалил люльку.

Потом один из депутатов, полковник из дворянского казачьего рода, напишет в архив канцелярии наказного атамана: «По окончании аудиенции, продолжавшейся около сорока минут, Ея Величество, сделав общий поклон, удалились во внутренние комнаты. Насколько трепетно было ожидание этой аудиенции, настолько она произвела чарующее впечатление своим простым и высокомиловитым приемом, не поддающимся описанию. Скажем только, что не прошло и десяти минут после появления Императрицы Марии Федоровны, как пишущий эти строки, сознавая всю несоизмеримую разность положений, стал чувствовать себя под ласковым взором добрых глаз Императрицы особенно хорошо и легко. Прежнего томления как не бывало. На прощание мы все удостоились целовать руку у Ея Величества, после чего отправились в прежнее помещение, где для нас (особо офицерам

и особо нижним чином) был накрыт стол. Мы пили горилку, вино и откушали хлеба-соли».

Костогрыз и правда проголодался. Пока высокие чины чувствовали только то, что чувствовала императрица, улыбаясь тому, чему она улыбалась (и даже со счастливым умилением одобряли свою душу, что она ничего другого не выражает), Лука Костогрыз в этой Белой зале был, может, единственный живой человек. Он думал о том, что уже проголодался и только через несколько дней поставит ему Одарушка чугунок с варениками, что в Пашковском станичном правлении висел такой же портрет Александра III и за ругательства при нем казаки упрятались в клоповник на семь суток, что каневской казак спит и видит, как Лука привезет ему крест Св. Георгия, а как передать его письмо, когда вокруг начальство, и как теперь вернуть справедливость, когда самого Александра III посадили на лошадь без хвоста? Пора им уже помирать, старикам. Императрица ни о чем не спросила толком. Поглядела на его оселедец при вторичном целовании ее руки и улыбнулась: «От запорожцев?»

— От самих, — сказал Костогрыз. — Колысь, ваше величество, мы были в Сечи, кишки вытряхали врагам, а как нас в Петербург зазвали, то царица Катерина за стол сажала и бандуру слушала.

— Передайте всем казакам и казачкам мой поклон.

Наконец они вышли. Начальство молчало. Бабыч кхекал, выкашливался и не поворачивал головы. Доволен или дуется — не поймешь.

Был ведь наказ перед отъездом.

— Не всем кубанцам, — говорил Бабыч, — суждено побывать в столице и видеть священных особ. Так давайте! Не мне вас учить, как держаться. Ноги у порога не вытирать, как в станичном правлении. Говорить, когда спросят.

«Вот такие порядки, — подумал Костогрыз, вспоминая наказ. — Этикет. Хоть бы один заикнулся, шо конь без хвоста. Все видел на свете, но коня без хвоста? Какое можно письмо составить! «Все, ваше величество, видел, а коня без хвоста — нет». Писать, может, и ухоронюсь, а в казарме у Диониса сала покушать мне никто не запретит. Что за казак без сала? Одни кости...»

Долго было ждать праздника, долго собирались, ехали, и вот уже в царскосельских казармах обычный распорядок, депутация кубанская как бы лишняя, все шуточки иссякли, офицеры вели дознания провинившихся, Дионис поехал за фуражом. Миг пролетел.

«По хатам! — думал Костогрыз. — Кобылу до случки надо вести. Атаман узнает, шо жеребец непородистый, будет лаяться — то и до новых свят запомнишь. Та с поезда прямо до внучки, — как они там: чи ужились, чи так и спят поврозь? Ще налобники Василию купить и ситцу бабам».

В последний день проведаль Костогрыз могилы конвойцев, с которыми был он в 1881 году в марте на

мосту в миг покушения на царя. Все были терские казаки.

Двенадцать писем старик рассовал казакам, представленным к царским особам. И напоследок выпала на него забота отправить с терской депутацией вдову Стефаниду Сагееву, казачку станицы Червленной, приезжавшую поплакать на могилу мужа. Дионис через товарища, возившего на примерку супругу командира конвоя князя Трубецкого, донес о печальном положении женщины: с далекого края прибыла она на могилу конвойца, погибшего в одну минуту с царем, а назад возвращаться не на что. Ее посадили в вагон с терской депутацией.

— Ну шо нового в том Петербурге? — выпытывал у Костогрыза станичный атаман.

— Шо нового? В Царском Селе как кувшин баба разбила, так и сидит над ним.

— Чего ж она сидит? — возмущался атаман, никогда не читавший Пушкина. — Семьи у нее нету, чи шо?

— Она бронзовая. А императрица Мария Федоровна сказала так: если ваш пашковский атаман хоть раз дулю кому скрутит, пиши, Лука, прямо на мой домашний адрес.

В то время были еще кое-где атаманы, которые верили, что почетный старец может донести свою жалобу прямо «на домашний адрес» императрицы.

Приезжая особа

После праздника Толстопят послал сестре Манечке кипу фотографий о торжествах конвоя. Если судить по письмам, у Манечки и без того было самое картинное представление о царскосельском быте; фотографии могли привести в умиление кого хочешь. Великолепие и порядок во всем. На сытых кабардинских конях лихо улыбаются отборные счастливые казаки, у которых, кажется, нет иных мыслей, как только о службе. И особенно замечательна была одна фотография: у подъезда Екатерининского дворца все казаки-депутаты и офицеры-конвойцы окружают государя и его дочерей. Эту фотографию она в свое время запрятала по совету Попсуйшапки на самое дно сундука и заклеила сверху газетами. А в 1911 году она висела у нее над столом. Если бы братик Пьер сторожил по ночам магазин братьев Тарасовых или, подобно потомку исторического запорожца, водил поезда, все равно бы она молилась за него каждый вечер. Но он офицер. Она любила его еще за то, что судьба его неслась будто вопреки желаниям. Счастье само падало в его руки.

И всем в доме на Гимназической улице казалось, что Толстопят-младший поднимет свой род до генеральской высоты.

Но именно в эти месяцы Толстопят чертил себе судьбу заковыристую. За редкий голос, осанку, глаза и

легкий язычок его примечали петербургские особы. Его давно уже наметила себе одна дама, нечаянно завлекла кокетством, и этой даме теперь нужно было передать записку прямо в руки. С кем?

После утренней уборки конюшен сотник Толстопят послал за казаком Дионисом. Неделю назад Дионис по глупости встрял в историю и от разговора с сотником ждал самого худшего. Еще не было случая, чтобы властолюбивый Толстопят кого-нибудь простил. Оно и понятно: свежий офицер в конвое старался вмиг отличаться. Это было в самом деле так. Место в конвое ценилось слишком высоко. Не все родовитые господа устраивали своих детей в гвардейские полки. Когда Петр Толстопят представлялся в кабинете командира конвоя генерал-майора князя Трубецкого, тот как раз заканчивал писать отказ какой-то графине де Шамборант. «Упираясь на товарищеские узы» (брат Трубецкого служил с ее покойным мужем), графиня вымаливала облегчить ее заботы – приписать ее сына «через посредство одного влиятельного лица на Кавказе» к Петербургскому гарнизону, а затем определить в конвой. Но конвой комплектовался из строевых частей Кубанского и Терского войска, «и притом непременно природными казаками» и порою горцами. Перед отправкой в конвой отец надел на Петра родовую дедовскую шашку и прицепил кинжал: «Я служил честно и непорочно. Смотри ж и ты!»

По правилам конвоя достаточно было за четыре года попасть в журнал нарушений всего три раза, и на льготу спускали казака без мундира и без значка. Но бывают грехи из ряда вон, и тогда досрочно выталкивают домой в три шеи. Еще в Пашковской за два месяца до формирования в эшелон дед Лука целый вечер пугал Диониса всякими старыми происшествиями в конвое.

– Избави тебя бог взять в офицерском собрании рюмочку, серебряный нож, пивной бокал или у товарища коробку папирос. А то еще так. Пока я конюшню чищу, напарник мою бурку прачке подарит. Один терец из станицы Ессентукской сделал неправильный доклад о проезде августейших детей. Два наряда не в очередь! И не посмотрят, шо медали на тебе французские, румынские, персидские, часы с гербом. Стрелялись, в станицу не хотели. Это ж стыд! А в другой раз простят, но он: «Не могу остаться в конвое, позорно глядеть в глаза товарищам». Вот, внучек. Как милости будешь просить – не позорить тебя перед войском: «Не губите чести имени». Как домой идти? Совесть-то потерял. Так и напишут: «...как недостойного иметь счастье служить в конвое...»

Провинившийся Дионис ночами не спал. Прощай, мундир с белыми пуговицами? Но, может, смилуются? В Ливадии казачка плясать перед царем кому-то же надо!

А если? если вытурят? Дед заперет насмерть. Да что там! – лучше не показывайся. Он не переживет.

Дионис даже услышал своего деда: «Это ты так отличился на государевой службе? Тебя зачем туда посылало войско? Дед тебе коня справил за четыреста рублей, ездил за ним на Терек, а ты? С какими глазами я буду на станичном сборе сидеть? Застрелиться тебе из-за совести, если ты казак!»

Дионис уже решил: если выгонят – застрелится в дальней деревне, где живут чухонки-молочницы. Станет на колени, помолится и пустит пулю в висок. Прощальное письмо бросит в сундук. Толстопят с казаками опишет имущество: красный бешмет 1910 года, шаровары и прочее, три рубля денег, часы с гербом, Евангелие, карточки его величества, отца, сестры с Попсуйшапкой (на свадьбе), книжка о Суворове. Повезут ли его тело на Кубань или заруют здесь? Дионис лежал весь в поту и жалел, что не послушался советов деда Луки.

Он теперь ходил как побитый, служил за десятерых. Все удивлялись, куда делись его шутки? С ним просились казаки на пост или в близкую поездку. То он рожу скорчит, то в минуту отдыха передразнит разговор кубанских старух, стоявших на базаре с поросятами, а то походкой перекривит конвойское начальство. Но едва шутики попадают впросак, уже смеются над ними. Приуныл Дионис, и все насмешки, изобретенные им же самим, посыпались на него, и чем он сильнее обижался, злился, тем чаще цеплялись к нему казаки по взводу. Росточку небольшого, с драчливым вопрошающим взглядом, Дионис своим присутствием доставлял товарищам удовольствие. Теперь изображали, как он лежит и ковыряется в носу. «Тихо! – кричал кто-нибудь. – Великий князь думает!» Так и прозвали его: Великий князь.

«Я прошу прощения, – написал на всякий случай Дионис на клочке, – и полного счищения с меня прежнего пятна. Это успокоит меня, старика, – прибавлял в забывчивости, вспоминая жалобу престарелых, в сладости несчастья сразу добрых пятьдесят лет, – это даст мне возможность, благословляя, с благодарностью умереть».

Записку вложил пока в книжку о Суворове.

Толстопят долго мучил его молчанием, нарочно дулся как жаба. О мере своей вины и угрозы Дионис пробовал догадаться по его глазам, но в глазах сотника было одно казарменное превосходство над ним.

«Небось вчера задержался в офицерском собрании, – подумал Дионис, – рассказывали, шампанского много осталось...»

– Что, казак Костокрыз? Как самочувствие?

Толстопят доставал из ящичка какие-то листочки, выбирал ручку, разглаживал чистую бумагу. Дознание будет записывать? Раньше хлопал его по плечу: станичник, мой батюшко с твоим дедом много горилки выпили на пасеке. И вот – чужой, хуже москаля.

– Здоровье, слава богу, ничего.

— Не жалуешься? Тэ-эк. Ну и что, царскосельская баня лучше, чем у Лихацкого?

— Так, господин сотник... — Дионис растерялся. — Я ж дома в бочке купался.

Толстомят уже потерял прежний вопрос, ответ пропустил мимо ушей, искал возможности пострадать казака крепче, вызвать раскаяние и потом «по-царски» простить.

— Что деду пишешь?

— Одно хорошее. Стоял на часах у решетки, ду- мал, как вы там управились с телятами, завтра учеб- ные занятия.

— Одно хорошее? А про плохое кто — я буду пи- сать? — Он наставил кончик ручки к бумаге. — Напи- шем: дозна-ание. Обвиняется в том, что возил чужую жену в баню.

— Да как вози-ил? Как вози-ил? — ноющим голосом возмутился Дионис. — Вы же знаете, как было.

— Ну как? — оживился Толстомят. — Как было?

— Я для товарища старался. Пожалел. У него бы- ло тяжело на душе.

— Служит в царском конвое, и тяжело на душе? Кто вам поверит? А в лагерях под Уманской, значит, легче? — Толстомят нагонял на себя такого дурака и сатрапа, что Дионис вовсе прижух. — Над самой голо- вой двуглавый орел с крыльями, а вам тяжело-о?

— Это не мне, это Турукалу.

— Тогда давай по порядку.

— С середины можно? Осенью приехала к Турука- лу из станицы жена. Он ее не звал. Нанял ей квартиру. И моя жена тут, она подружилась с ней и все расска- зывала. Ругалась, что не хочет жить со своим мужем. Она тут у нас завела уже много знакомств с казаками. Муж уйдет на службу, а она с квартиры — и неизвестно где пропадает. Брат ему писал, что она в станице вела себя нехорошо. Соседка принесла ей квочку, открыва- ет дверь, кричит: «Кума! Я квочку принесла». А она с городовиком в постели. Отдала пай своей земли каза- ку, жена его захватила с ней на степу под арбой, лежа- ли обнявшись. Он также ходил к ней двор чистить. Она и мне делала здесь разные намеки.

— Какие намеки?

— Предлагала поехать со мной куда угодно.

— А ты что?

— Я через товарища не переступлю.

— Молодец! — воскликнул Толстомят. — Турукало хорошо служит.

— Он мне и говорит: «Хочу написать брату еще, проверить, так ли это». — «Это можно проверить и здесь», — говорю. «Как?» — «Да как... Давай я пригла- шу ее в баню помыться, а ты возьмешь свидетелей, и там нас накроете».

— Нельзя было этого делать! — Толстомят бросил ручку на лист и встал. — Ни в коем случае.

— А если он согласился?

— Он дурак, и ты дурак, и все вы дурношапы. Вы где служите, забыли? Конвойский казак зашел с чу- жой бабой в номер купаться — это ж все Царское Село знать будет. Вы подумали? За это выгонять! Позор ка- кой! Слишком хорошо живете. Сначала по струнке хо- дили, а теперь привыкли? Повадились с прачками вы- пивать. Хотите получать часы с гербом, а кто же будет служить непорочно при царской особе? Это вам не станица с духаном. Царское Село. На вас во все глаза смотрят. Тут лицо России. Деды ваши это понимали. Они чужие кошельки не таскали, из окон казармы го- лубей не стреляли. На мосту Александра Второго к дамам не цеплялись.

— Не я.

— Ладно, — мигом успокоился Толстомят и сел. — Дальше что было? Зашли в баню, дальше что?

— Дальше ничего. Казаки сказали банщику, что пришли звать товарища по службе, он их пропустил. И нас накрыли, как было задумано.

— Артисты. Задумали.

Толстомят вертел ручкой и смеялся.

— Ты поменьше, Дионис, развлекай их. Ты шу- тишь, вот они и считают тебя за дурачка. Не клади им палец в рот. Чего ты у них за клоуна? Держи себя. Где завтра дежуришь?

— В Аничковом дворце.

— Великому князю Александру Михайловичу кто письмо возил?

— Тит Турукало.

— Я тебе даю поручение попроще. Послезавтра, в выходной, повезешь вот это письмо. Адрес запоми- нишь так. Вручишь госпоже. Ли-чно.

— А как сказать госпоже? От кого?

— Молча, молча-а, братец. «Вам письмо», — и до- статочно. Понял, банщик? Пребывание твое в конвое зависит от тебя самого. Иди.

Конверт был подписан по-французски.

«В древности, — писал госпоже Толстомят, подра- жая героям романов, — цари убивали тех, кто прино- сил им дурные вести. Поощадите моего посыльного. Весть вот такая: я рад, что встретил вас».

Госпожой, которой Толстомят переслал с Диони- сом записку, была мадам В., так привязавшая к себе Бурсака в Анапе в августе 1908 года.

В молодости дни без любви считаются пропавши- ми. Чем дольше бываешь один, тем вернее падаешь в своих глазах. Слова ласковые, сентиментальные, плоские, шуточные, все равно какие свербил Толсто- мята укором — некому было их сказать. В чужом горо- де нет пристанища. Только женщина может сблизить с Петербургом. Роднее станут улицы, дома, вокзалы, театры и рестораны. Девичами Невского проспекта брезговали даже нижние чины. «Вам с криком или без крика?» — приставала одна к казаку 1-й сотни. Оказы- вается, за три-четыре рубля можно купить право вы-

сечь девицу хлыстом на полу у «хозяйки», и есть такие, что им не нужно завязывать рот.

«У нас в Екатеринодаре, – думал Толстопят, – ни одной казачки на тротуаре. Отец голову отрубит. Это иногородние...»

Но в Петербурге всего вдоволь. Всегда есть зависть к тому, чем живут другие и чего – знаешь – тебе испытать не положено. К особнякам с розами за решетчатыми заборами подъезжают коляски, соскакивают расфуфыренные господа, и на крыльце их встречает душечка-барынька, обутая в кожаные сапожки. В гостиных своими прошлыми заслугами хвалятся старики: «Я служил России, государю верно и с пользой...» Все эти наряды, мундиры, выезды слепят глаза бедного провинциала, хотя, по совести говоря, прикрывают все тех же людей. И однако в этом есть *quelque chose*¹. Толстопят знал свое место. Он любился царскими дочками (особенно Татьяной), вовеки ему недоступными, – и ничего, так определено было свыше. Зато когда приходила к нему жаловаться на казака прачка, очень хорошенькая простушка, заманутая обещанием жениться на ней, Толстопят тайком, мимолетно любил ее и ощущал к ней природную близость. Она по молодости станцует и поет, потом в замужестве будет хорошей хозяйкой, накормит и примет гостей, посинит занавески, вышьет на подушки наволочки и в степи на закате обнимет на соломе горячее госпожи в муаровой шляпе.

Но, пока мужик рассеянно соображает, то да се, женщина в сторонке уже заметила его и втайне завладела им. Когда же он взглянет на нее и захочет понравиться ей, она уже в ту минуту будет знать, что и когда их ждет.

Так в прошлом году присмотрела Толстопята в ресторане Кюба вечнотоскующая мадам В.

Она так никогда ему и не сказала, что похитила его первая в том самом ресторане, где мечтал позавтракать всякий заезжий. В ближайших губерниях не было деревни с извозным промыслом, где бы вам хоть кто-нибудь не растолковал, сколько надо спросить у седока за провоз к Кюба. Там и попался Толстопят и не догадывался, какая встреча ему предстоит через неделю на парфорсной охоте под Красным Селом.

Псовая парфорсная охота устраивалась осенью. После ночного морозца велико удовольствие скакать за оленем, лисицей или зайцем под лай английских гончих. Парфорсная охота входила в программу офицерской кавалерийской школы. Толстопят удостоился приглашения в тот день, когда на охоте присутствовали дамы. К одиннадцати часам утра прибыли на станцию Дудергоф, переправились на яликах через озеро и увидели силуэты ожидавших их на конях офицеров и стаю с доезжачими, помощниками и нижними чина-

ми. С дамами больше забавы, чем охоты. Обгонять их нельзя. Они что-нибудь теряют. А где-то в глубоком овраге, потом в березовой роще лают собаки. Но охота как будто и устраивалась для того, чтобы пообедать с дамами в офицерском собрании лейб-гвардии Драгунского полка.

Влюбленному не покажутся глупыми и пустыми слова из романа какой-нибудь неспособной чеховской мешчанки в тот час, когда голова его кружится и ему благоговейно хочется думать о красавице, его поразившей. Поздно ночью Толстопят приказал денщику налить ему водки. Он выпил и брякнулся на постель. Впервые за службу в конвое женщина мешала ему уснуть. «Поддай мне какую-нибудь книжку», – еще раз кликнул он денщика. Он не много читал романов, и ему представлялось, что пишут все одинаково. «О за чем ты унесла с собой шелковистые волны твоих волос, красавица моя, и глубокую синеву твоих глаз, моя королева, и жаркий румянец твоих губ, любимая, обожаемая и...» Толстопят поднялся и выпил еще рюмку. Там в романе кто-то страдал, и он тоже. Жеманная белиберда слов нравилась.

У него с дамой разговор был почти такой же.

После обеда с водкой в офицерском собрании Толстопят пел.

– Вы не подарите мне возможность записаться в число поклонниц вашего таланта?

И все завертелось, как во сне.

Беловолосая дама медленно стягивала длинные шведские перчатки без пуговиц. Пальчики ее коснулись клавиш, выбрали начало мелодии. Такой тоненькой цепочки с бриллиантовым крестиком он у екатеринодарских женщин не видел.

– Какое у вас занятое колечко.

– От бабушки. Ему сто лет.

– Я не был бы так храбр носить два опала, – сказал Толстопят.

– О да, опал приносит несчастье. А что вы скажете о кольцах с гербовой печатью?

– У нас в роду нет герба. Я кубанский казак, позвольте, наконец, назваться: сотник конвоя его величества Петр Толстопят.

На руках ее искрились камни браслетов, низко спускавшихся к запястью. Она медленно начала подвигать их к локтю.

– Очень приятно...

Она знала, кто он и откуда. Зря Толстопят боялся опростоволоситься, проявить нечаянно свое куркульство, не суметь поддержать разговор в ее тоне, – женщина прощает все за то, что ее уже дразнит в мужчине. Быть может, эти глаза, длинные губы, кисти рук. Не могла она ему сказать и не скажет после, что сперва слыхала о нем от друга Бурсака, потом видела его на снимке с конвойскими офицерами, а в мае на параде у Екатерининского дворца. Пусть думает, что открыл ее он.

¹ Что-то (фр.).

Близость приходит мгновенно – так же, как неприятие. Они сказали глазами друг другу о том, что встреча их неминуема, но продолжали болтовню знакомства еще бог знает сколько. Когда прощались, сквозь вечную пошлую вежливость проникло в душу обещание взгляда: до скорого, до скорого тайного свидания. Но срок свидания растянулся на месяц.

И вот Дионис подал ему конверт.

У моста на Мойке в воскресенье она пригласит его в фазетон.

– Я хочу, чтобы вам было хорошо, – сказала она. – Вы не знаете Петербурга, куда вас повезти?

– Куда хотите. Я хочу быть с вами. Куда-то, чтобы никто не знал, что вы со мной, а я с вами.

– Та-ак? Вас не пугает, что между нами уже нет никаких препятствий?

– Боюсь надеяться.

– Я не хочу быть вашим капризом.

– Заказать бы фаршированную пулярку, – сказал Толстопят напрапую, – тающих во рту груш, бутылку шабли и сидеть дотемна.

– Не спешите. Чему суждено быть, то придет – хотя бы из Индии.

– Анапа ближе.

– Анапа? – с некоторым испугом спросила мадам В. – Никогда не была там.

Еще через месяц они опять катались по Петербургу.

– Странно! – говорила она. – У меня все важное случается в день рождения. Ребенком я имела обычай дарить себе к дню рождения папиросную бумагу, для рисования, цветные карандаши. И вас сама себе подарила. Надеюсь...

– Когда ваш день рождения?

– На парфорсную охоту...

Еще через неделю они ехали поздним вечером.

– Куда мы едем?

Петербург внезапно сделался каким-то глухим уголком: быть может, ехали по окраине. Толстопят ничего не запомнил. Весь погруженный в неизвестное, в предчувствие чего-то блаженного, что желают уже оба, и нужен только миг, чтобы тайна стала невозвратной, Толстопят все же не верил в счастье, в то, что затеет ради простого казака светская дама с красивым ртом.

– Мы поедem туда, куда вы сами хотели.

Он дурел и соглашался с каждым ее словом. Да ехал ли он так в своей жизни когда-нибудь? Да колотилось ли сердце? Да есть разве в Екатеринодаре такие соблазнительные воркующие дамы? Мадам В. и не глядела на него, казалось, оттого, что чувствовала, как он покоряется ей. И вдруг она сбросила маску игривости, взяла его за руку и так просто, как будто давно привыкла к нему и знает, что он ее поймет, сказала:

– Муж добр ко мне, любит меня, но мы ничего друг для друга не составляем. Он приходит вечером домой, и мы молча сидим за ужином. В свои дела он меня не посвящает, мои заботы его не интересуют по-давно. Чего-то не хватает... Нужна та заутреня, когда все мое существо двоилось на мирское и небесное. Поцелуют твою руку – и ты как во сне... М-м?

На какой-то темной улице фазетон остановился. Кругом мгла и тишина. Ночная глубокая тишина стояла и в доме. Они пошли по лестнице вверх. Комната была в полумраке: блестели корешки книг на полке; на камине под букетом белых цветов стояли фотографии.

Первая обязанность женщины – *de bien fermer la porte*². Мадам В. это сделала.

«Я еще не так могу любить...» – слышал Толстопят ее голос весь следующий день, и потом много дней в самые неподходящие минуты службы, и потом осенью в Ливадии, куда 1-я сотня прибыла вслед за царем, и в Тамани на открытии памятника.

Неизвестные лица

Тогда же, в конце сентября 1911 года, тархтели по ночной степи в повозке три пожилых казака. На закате несколько раз обгоняли их экипажи с депутациями на праздник в станицу Таманскую. Там в день войскового круга открывался памятник первым запорожцам, высадившимся на пустом берегу в 1792 году. Там намечался пир на весь мир. Но не всем было место на том званом пиру. Не попавшие в почет казаки ехали в Екатеринодар по своей надобности: выпросить хоть на коленях у наказного атамана Бабыча племенных бычков симментальской породы. Все трое были из разных станиц. В Каневской напросился к ним в повозку Попсуйшапка, пообещавший в знак благодарности пошить им кубанские папахи. Ехали с песнями уже полтора дня, обедали у Вшивых могил, кормили лошадей. Двое были из ближних станиц, но неделю гостили у казака из Куцевской, и оттуда все и двинулись на зорьке. Попсуйшапка наводил их на разговоры о памятнике. Но в Тамань им далеко, почти на край света. Без них поставят на ноги бронзового казака, на отливку которого они тоже жертвовали гроши. Диво дивное, сколько земли захапали когда-то предки: от самого Керченского пролива и до рубежей донских и терских! Всего тридцать тысяч удальцов с грамотой и хлебом-солью от матери-царицы Екатерины пришло сюда, и поставили они сорок куреней.

– Она ж, царица Катерина, не дура была, – пискаво говорил казак станицы Васюринской, державший вожжи. – Знала, куда народ затыкать, шоб граница была невредима. Не все ж ночи засыпала под руку покой Потемкина, она ж хозяйка была...

² Хорошо закрывать дверь.

– Я так вздумаю иной раз, – вступал казак Куцевской станицы, – не иначе, и наш Антон Головатый или Чепига заночевали с ней разок-другой...

– А то шо ж! То б послала она к его столу десерт! Он казак казак, а заплакал.

– Может, и до се в царской хате бегают какой-нибудь головатенький и не знает, на какой перине лежали его деды, – решался поглумиться над историческими лицами третий, самый насмешливый из них, казак станицы Каневской, моложе обоих на пять месяцев.

– За то тебе и крест не дали, шо так брешешь.

– Не-е, – опять перевел разговор всерьез васюринский. – Она не дура была. Обхитрила запорожцев.

– Землю дала, чего ж? Слава богу. Три ковша золотых червонцев высыпала Головатому. Головатый как царь Соломон уехал. Это он ее обхитрил. Стал на колени: «Повинен, мамо, перед тобою, как перед Матерью Божией. Ты, мамо, отделяешь сына, даешь хлеб-соль и грамоту. Дай же, мамо, ще грошей!» Она и высыпала ему три ковша червонцев. Давайте и мы Бабыча обдурим, нехай нам бычка за хвост выводит.

– Та хоть бы.

– А ты, – спрашивал каневской казак, – чи был тоже у Катерины, шо все знаешь?

– Та деды ж наши имели память не такую, как у тебя. Ты и атамана Бабыча путаешь.

– Мне с ним жить, чи шо? Я в Екатеринодар первый раз еду. В Персии был, на Шипке был, а Екатеринодара не видел. Атаманы! Какие теперь атаманы? Зеркалов понаставили и любят. Наш станичный атаман пока осетрового балыка не запхнет в рот с картошкой, хлебного кваса с содой не выпьет, его в правлении не жди. Ни к черту атаманы пошли. Як шо для нас будет добрый – начальству плохой.

– А кто у вас атаман?

– Тю-у! У него и голос не казачий, с писком, как у тебя. – Каневской толкнул локтем васюринского: – И шея с аршин. Послали тебя к Бабычу – это точно нам бычка не выпишут, если первый заговоришь. Войдешь в кабинет, Бабыч обгладит тебя вокруг и подумает: шо це за страшилище передо мною, мощи одни? А колы мощи писку подпустят, то Бабыч скажет: неужели перевелись казаки? Кого командировали? И выпроводит нас троих. Нема атаманов. Сидят по кабинетам при открытом портрете государя. Та шо у них задницы поотсохли. Под цинковыми крышами живут. А первый кошевой атаман Чепига в такой хатеночке спал, такое окошечко, шо курица станет и закроет свет. Чепигу в гроб положили с одним поясом, а за ним уже клали атаманов в генеральских мундирах...

Потом казаки замолкали, прислушивались к ночной степи. Никто им не откликался. Попсуйшапка на сей раз не встречал со своими речами, его думки мошками вились вокруг дома на улице Динской, дома опустевшего и печального. Спутники его наболтались и про все забыли. Только, может, душа казацкая блу-

кала в отголосках воспоминаний о житье-бытье на Кубани. Еще с отцами выезжали они по всякой надобности вечером в степь и вглядывались испуганно в чашу (хмеречь), то и дело останавливали коней и вслушивались. По густому терновнику вился хмель; в тумане стогами казались груши, яблони и бересты. На курганах сидели огромные орлы. Когда-то пушки стреляли под волчий вой. Вдали маячила высокая жердь со смоляной бочкой и соломой. Те вышки-маяки, с которых кричали: «Черкесы! Бог с вами!» – сопрели и попадали в колючий боярышник. Сколько сил потрачено, сколько жизней пропало! Когда-то перед одинокой могилой на холме у вежи снимал шапку путник, крестился и творил краткую молитву, благословляя чью-то душу на тихое вitanie в небесах; теперь ничего нет на холмах. Нестрашно запалить в ночи люльку и колыхаться в повозке, и «собственные очи можно поховать в карман». Были знаменитые на Кубани герои – сменили их жалкие разбойники: шайка «факельщиков», «степных дьяволов», «арканщиков».

– Ну, будем промывать кишки? Уже время и коней подкормить...

– У меня по животу кошки лезят, – сказал каневской. – Может, из пляшечки наточим?

– Гляди, шо б в канаву не заехал. Ты ж у нас рулевой. В городе выпьем. Вино доброе. Голову потянет вниз.

У вековой версты казаки наши все же остановились. Попсуйшапка пошел с ведром на речку, зачерпнул там и принес линия, три карпа и судачка. В тишине перекусили.

В десятом часу утра въехали в Екатеринодар со стороны Свинячьего хутора, свернули сразу на Котляревскую; по Полицейской, мимо болгарских подвалов и пекарни Кёр-оглы побили колесами все кочки, миновали Новый базар и по подсказке безрукого почтальона нашли «Славянское подворье». Попсуйшапка спрыгнул еще раньше на Кузнечной, по-приказничьи кланялся, но пошел от телеги гордой деловой походкой. Пообедали салом.

– Попытать, где начальник области и где та Красная улица?

На улице Екатерининской обступили дылду-городового: на, мол, двадцать копеек, только скажи, где живет начальство. Городовой с бляхой № 56 сказал им, что все начальство грузится сейчас на пароход на пристани Дицмана, отбывает к открытию памятника в Тамани.

К пристани товарищества Дицман извозчики катили разномастную публику, военных, чиновников, священников и дам. Оберегая порядок, городовые покрикивали и свистели беспрерывно. Малолетки сыпались вниз по улице как горох. Проклиная Бабыча и еще не поставленного в Тамани бронзового казака, наша троица поволоклась следом.

На пристани мягко покачивались у причала два парохода: «Удобный» и «Полезный».

– Артистов, артистов забыли! – вспыхнул кто-то.

Сквозь тесные ряды набившейся публики еле пролазили носильщики. Все в торопливости перепуталось. Артистов с «Удобного» переселяли на «Полезный», и кто-то в давке пищал. Сверху по улице прибывали запоздавшие, впопыхах не соображали, куда им взлезть. Уже нигде не было места. Всех, кто попроще званием, подталкивали на «Полезный». Наши казаки разглядывали по погонам генералов, искали Бабыча, допрашивали, хватали за рукав кого-нибудь рядом. Никто ничего не знал. Когда же дали команду к отправлению, выяснилось, что «Полезный» сподом сидит на мели. Казаков-депутатов попросили сойти и подождать впереди на берегу, у глубокой воды. Через полчаса, а может, больше, после третьего вымученного свистка, под марш военного оркестра, крики малолеток, лай собачек «Полезный» покосился к середине реки и поплыл со счастливыми к Темрюку. «Удобный» чинно отчалил за ним.

– Тут дело за горло давит, а у них праздники! – сказал кущевский. – Они Бабыча в каюту запрятали.

– Да нет, – поправил его с козел Терешка. – Он, наверно, еще в городе. Где дворец, знаете? Ну, сидишь тогда.

У атаманского дворца они посовещались, кто будет говорить первым. Выбрали каневского казака.

– Значит, трех шагов не доходя до стола Бабыча, вместе кричим: «Здравия желаем, ваше превосходительство!» Стоять в шапках. А если посадит – шапки долой. Ну, с богом. Слава героям, слава Кубани.

Все трое перекрестились и бодро пошли на часового.

Увы! – наказного атамана увезли в Темрюк еще вчера.

– Нас общество командировало, – заныл васюринский перед дежурным адъютантом. – Нам племенного бычка.

– Какого бычка?! Вы что, с ума сошли? Что это за фокусы, старики?

– Пашковским подарил генерал бычка, и нам бы. Газеты писали. Племенные бугаи культурной породы уступлены безвозмездно трем станицам. Наши бугаи стали тяжелые, и коровы их не выдерживают.

– Не знаю. Генерал Бабыч на торжествах.

Пристыженные, понурые, сошли они с крыльца, обставленного по бокам запорожскими маленькими пушечками.

– От прокатились! – затынул вой васюринский. – От десять чертей тебе в зубы и одну ведьму под задницу! И правда: ни к черту у нас атаманы. То без него б не поставили запорожца на дыбы? Це не Катерина-царица там?

Над Крепостной площадью возносился памятник Екатерине II с ажурным забором вокруг, полосатой бу-

дочкой с чахлыми еще деревцами. Казаки задрали головы, обсмотрели все стати царицы, поснимали свои шапки. До такой власти разве доберешься? – говорил их вид. Угрозой и внушением сирым и непокорным стоит с тонким длинным крестом в руке навеки уверенная царица, и – господи спаси! – вокруг ее платья в свой рост отлиты были мастерами родные запорожцы: кошевые атаманы, бандурист, поводырь с сумкой за плечами и с палкой и прочие, такие ж простые, как они, теперешние казаки.

– Чеботы хорошие, не рваные... – сказал васюринский.

– Слава богу, шо мы казаки, – добавил кущевский.

– Ну, а теперь куда ж пойдем своими ногами? – спросил каневской и оглянулся, словно ждал подсказки. – В церкву?

– Я больше не могу жить на пище святого Антония, – сказал васюринский. – Пора уже, хлопцы, за копейку гусачка взять; слышал я, тут трактир Баграта дешевый. С музыкой.

29 августа, на день усекновения головы Иоанна Крестителя, пучеглазого Баграта привлекали к ответственности за допущение игры на бильярде. Но он был все тот же.

– Гусачок бараний? Шашлык по-карски? Шустовский коньяк?

Казаки молча двинули плечами, присели.

– А шо за напиток – шустовский?

– Сказок мир мне был неведом, и узнал его я – как? Очень просто! За обедом пил я шустовский коньяк!

– Вареников!

– Кто у Баграта кушает вареники? Гусачок, к чертовой матери. Нужен милый барышня – просим оплатить, можем провести время по-семейному.

– А зачем рюмочки? – ткнул пальцем каневской. – Рюмочками цедить до самой ночи. А нам ехать. Стаканы.

– Бу-ди-ит!

– Тот не казак, – похвалился васюринский, – кто горилки не пьет, тююн не курит и чужих баб не щупает.

– Все любят милый барышня, – сказал Баграт и ушел.

– Родился малюсенький, хоть в кармане носи, а туда же: «милый барышня». Распрягаемся, хлопцы.

– Ой и выдаст нам общество волчий билет. И надо было нашим прадедам выгребать харчи аж в Тамани. Тут бы возле Баграта и начали высадку. Мы б и Бабыча застали, и с бычком были. Не зря моя бабка ругалась: «Порохня с вас сыплется, как сажа в печке, а их ходоками до наказного атамана выбрали! Та вы, стары барбосы, с ним балакать толком не сможете. Выборные ваши дурные, як овцы. Бородами трясти перед генералом? Моложе нема?»

– Хватит скребти редьку, – приказал каневской. – Не закусил, а уже плачешь.

– Напишем ему, – сказал куцевский, – як запорожцы турецкому султану: «Числа незнаемо, бо календаря нема; месяц у небе, год у князя, а день такой у нас, як у вас, за що поцелуй в ... нас!» Хи-и...

– Не будем мы казаками, если не поймает Бабыча в цей проклятой Тамани. Харчей хватит, выпьем, за номера заплатим и погоним. Знай васюринских! И добра выдумка ця горилка, особенно в дороге... А шо б вы, хлопцы, сказали, если я на памятнике заместо Катерины стал?

– Во такие васюринцы, матери их хрен. Недаром про вас рассказывают, шо вы церковь огурцом подпирали.

– Та мы не каневские. Они вместо матки навозного жука в колоду подсадили.

– Нехай тебе за такую кляузу самая здоровая жаба в рот вскочит!

– Слава богу, шо мы казаки. А перепутают, как тимовские, цыгана с архиереем, – ну шо ж. Выпили хорошо.

– Не забрехаться бы нам... – сказал каневской. – А где наши кони? Где наши номера? Як они называются?

Никто не помнил, как называется подворье и на какой улице. А было уже темно.

– Ехали утром на солнце, – гадал васюринский. – А в Екатеринодаре солнце всходит, где у нас заходит. Оце теперь будем мотаться по городу, як блохи в штанах. Стыдно и людей спытать. Подумает человек, шо мы хотим над ним посмеяться, ще и по рылу заедет. Оце наварили каши!

– А чего ж ты сразу не поинтересовался у малого, какой адрес?

– А чего ж ты не поинтересовался? Оце обмыли горе!

Но с помощью извозчика они нашли свое подворье, поснимали чеботы и полегли спать.

– Не будем мы казаками, – пропищал перед сном васюринский, – если Бабыча не поймает в цей проклятой Тамани. Сало у нас есть.

– Погоним! – одобрил и куцевский. – Ой, господи прости, царица Катерина указала запорожцам дорогу на Кубань, а мы чи без нее до Тамани не проскочим?

В четыре утра они проснулись, перепутали чеботы и так, каждый в чужой обувке, поехали через Елизаветинскую. Им навстречу дул ветер, и кругом было пустынно и неприятно, почти как во времена их дедов. Ни возов, ни топота лошадей. Васюринский казак вдруг запел «Ой, маты, гук, гук, казаки идут...». Товарищи сперва неохотно, а на втором куплете во все горло подхватили. И кто слышал бы их в то прохладное утро осени одиннадцатого года, все равно не узнал, кто они, откуда, зачем едут... Ранней степью простучали на подводе какие-то люди и исчезли. Как всегда, как во веки вечные. Проехали, и нету их до сего дня...

Тамань

Тамань – Богом забытый далекий куток на побережье. Зимой никакими дорогами к ней не проберешься, лют дожди, дуют ветры, и все счастье в семейном уюте. Зато с весны и до осени только заезжим господам может показаться она проклятой дырой. На горюшках и в ложбинках вспухают сады, висят ночами алмазные звезды, голубыми искрами переливается море. По куткам слышатся малороссийские песни, гогот, девичий визг; и проскрипит где-нибудь в проулке тяжелая арба. Простолудину здесь в самый раз.

Увидев разметанные по взгорью белые хатки, вершину Лыски, до керченских дымчатых берегов ребристую тяжелую воду, Калерия сказала отцу: «Если бы не наш Хуторок, купили бы здесь домик?» Барышню не заманишь никакой древней историей: у нее легкие порывы сметаются чувствами житейскими. Море, сады, свежий ветер из полынного Крыма, близость Феодосии, царской Ливадии – чего еще нужно казачке, если она к тому же не будет одинокой?

К празднику станицу принарядили. Через рвы и ямки перекинули крепкие мостики с выкрашенными перилами, у въезда вкопали столб с фонарем и с двуглавым орлом на прибитой доске; такой точно столб торчал внизу у пристани. Фонари, впрочем, были повсюду. Российские флаги трехцветными платочками пестрели у особнячков на длинных шестах. Станица вдруг прихвастнула своим видом. Но угодливая торжественность ни на минуту не задержала простого оборота жизни: с берега керченские шабаи каждые два часа гнали скот; только что возле пустыря на базаре отсчитала первые рубли Покровская ярмарка.

Публика пока без толку бродила туда-сюда. С Фанагорийской стороны подкатывали телеги и фаэтоны с гостями. Еще валялся на земле бронзовый запорожец. У дверей харчевен пахло борщом. То и хорошо, что ожидание дольше самого праздника. Калерии хотелось, чтобы из Ливадии прибыл Толстой. Зачем? – не знала и лишь вспоминала его нахальные слова у фаэтона перед гостиницей Губкиной: «Мы связаны тайной этого свидания...»

Уже все устроились; отец выбрал у самой кручи немудрящую хатку на ветру, с двумя вдавленными в стену окошечками, с круглым турецким колодцем во дворе. Там было тесно, и она пошла поспрашивать еще. За глубоким рвом взмахнулась над морем белая церковь Вознесения, и неподалеку, поближе к обрыву, облюбовала себе Калерия хатенку совсем ветхую. Чуть вправо валилась набок еще одна, наверно, времен позабытых. То была хатка Царицыхи, и там жил сторож церкви. Калерия постучала в первую. Уже ве-
черело.

Сама судьба, верно, повелела ей ночевать в этой хате и приманивать на старости любителей древности воспоминаниями о звонаре. О звонаре этом, когда она

отошла после бесполезного ожидания в сторону, какой-то пьяный казак сказал ей, что он слепой от рождения и мальчиком был замешан с контрабандистами. «Вы ж читали!» – прибавил он и на том закончил, так как из пальцев у него выпала папироска. В эту минуту с порога хаты донесся оклик: «Хто там?» Калерия вернулась.

У порога стоял слепой восьмидесятишестилетний старик в жалких штанах, стянутых очкуром, почти босой, с длинными худыми руками. Услышав нежный чистый голос, он чуть улыбнулся и спросил, кто она и зачем. Было больно смотреть на бельма его глаз. В вечном мраке ночи плутал человек, и, верно, душа его исстрадалась с младости. К калекам Калерия привыкла еще в Хуторке. Она не питала к ним предубеждения.

– Ну и поночуй, поночуй у меня, чего ж... Собака гавкает, а не кусается... Я зорю пробью и приду... У меня чистенько, просвирица прибрала на неделе, помыла... А койку застлать найдем... Ну такой голос, а ну побалакай со мною... Ты казачка?

Калерия заглянула в две крохотные комнатки; в одной, где был сундук, стол и лавка, висела в углу икона. Калерия было уже заколебалась, но звонарь сказал, что он уйдет спать к просвирице. По берегу шумели люди, кругом много военных, городских, так что она вскоре совсем успокоилась и согласилась.

– Вы с детства в этой хате живете?

– С малых лет, диточка, – сказал звонарь. – А то там хата Царицыхи. Ее давно нема. Ото понапридумали господа колысь, шо ее дочка офицера топила. Та чего ж она топила? Це ж он и завез ее в лодке – и ну обнимать. Она, бедна, перепугалась. Его надо было утопить, раз так. Мне читали цю побрехеньку. Як же он ее называет там? Ундина! Ее тоже нет давно. Один я блукаю. Чи ты тут, диточка? Чего молчишь?

– Я тоже читала, – сказала Калерия.

Легкая улыбка постоянно была на лице звонаря. Когда сидишь рядом со слепым, его как будто и нет. Но он по голосу, даже по тому, как ты встаешь и что-то делаешь, всегда тебя чувствует.

– А вы помните, дедусь, того офицера?

– Якого?

– Что ночевал в хате Царицыхи. У него шашка пропала, шкатулка...

– Та на шо оно? Це колы было. Це не так было. Брехня. Жили и жили казаки, а вин перевернул ту историю. Як его? Лермонтов, чи шо? Перевернул, бисова душа. Ото ж господа! Заехал к нам, переночевал, а мы виноваты. Дивчину заманул в лодку, а она перепугалась и бросилась в воду. Та чуть не утонула... Шкатулка! Яка шкатулка? Кинжал? А то у нас кинжалов мало, кругом казаки... Перевернул историю...

Ночью ей плохо спалось, хлопала на ветру какая-то тряпка, и Калерия два раза выходила наружу. Никого. Мрачная водяная гладь нагоняла страх. Оттуда, с

безлюдной стихии, плыли их предки? Ночью времени нет. Когда стоишь под звездами, кажется, что никто никогда не умирал и ничто на свете не меняется. Слепой звонарь был всегда старым, гора на западе голая, запорожцы с оселедцами просто переместились в другие земли. Такая же ночь, то же море с узкой косой до Керчи были в тот час, когда они выскочили на берег из своих чаек. Больше ста лет назад, «в самую зеленую неделю», покинула навсегда войскового судью «верная супруга» Ульяна Головатая, но вроде бы ту же Ульяну повстречала она нынче возле базара. Только ты сам появляешься и чувствуешь, что отходишь под небеса, а дальним людям это незаметно. Много событий пронеслось по Тамани, много жизней процвело и склонилось, но душу барышни тревожило то, что было сейчас. Как и все до нее, она жила своим днем, не очень, правда, придавая значение тому, о чем с трепетом станут ее расспрашивать позднее молодые люди. И к слепому звонарю проявила она внимание мимолетно. Да что она! – сколько было на празднике фотографов, журналистов, и ни один не соблазнился историческим слепцом. Думали, верно, что он проживет еще столько же.

Утром прорезалось в облаках тусклое солнышко.

Уже соткнулись до одного важные кубанские и кавказские чины, все гости перезнакомились и не раз потрапезовали в каменном складе на низу близ моря, опять завывала дурная погода (так что репетицию парада перенесли на полдень – лишь слонялись с бубнами по кривым улочкам потешные казачата), уже гвардейцы царского конвоя, хористы брали под ручки дам и барышень; вновь блеснуло солнышко, открывая вдаль Керчь, Митридатову гору и Еникале; извлекли из деревянного ящика и подняли на блоках фигуру запорожца, на промозглом ветру под руководством начальника штаба прикрепили бронзовую руку к плечу, пропели с депутатами «Спаси, Господи, люди твоя» и разошлись, а самого главного гостя, почетного старика станицы Таманской наказного атамана генерала Бабыча, еще не было.

И состоялся уже чин освящения перестроенного Покровского храма, свершили под трезвон запорожских колоколов крестный ход, опустели трапезные народные столы во дворе с могилками, намечалось торжественное богослужение по случаю поднятия крестов, но двухсотпудовый колокол молчал: преосвященный Агафодор где-то ехал еще под станицей Ахтанизовской.

Зато Калерия повстречала Толстопята. Он сам пожаловал во двор звонаря.

Приехал!

В конвойской черкеске, с дареными часами на цепочке, прилизанный, вошел он с той хвастливостью, которая отличала кубанских офицеров, особенно конвойцев, когда они являлись к дамам. Вы тут во дворах, среди кур и индюков, говорил вид Толстопята, а

мы из Петербурга. Мы телохранители самодержца всероссийского, рискуем своей жизнью, а вы спите на возах с парнями, гадаете к Святкам на тарелках. А вот посмотрим, в чью сторону повернете вы завтра голову, когда начнется парадное шествие! Неужели тут наша Калерия? Хм, добрый вечер. Будем еще раз знакомы. В глухой станице сразу так повеяло женским богатством нашего маленького Парижа. Широкие глаза Толстопята радостно улыбались. Он прибыл в Тамань раньше Калерии и сперва не понимал, кого это он так ждет, без кого торжества в станице будут неполными, и, когда увидел дамские шляпки екатеринодарок, пожелал найти среди них и шляпку Калерии Шкуропатской. Не собираясь выманить у нее чувство раскаяния за упрямство в день ее похищения на извозчике три года назад, он, как это часто бывает с мужчинами, просто подумывал возле нее покуражиться и погордиться своим благополучием. Пусть лишний раз ойкнет про себя: вот чьих жарких рук я испугалась тогда! Но потом, хорошенько подумав еще и, главное, сравнив скромных свежих казачек с петербургскими львицами, он проникся к ней братским теплом и решил попросить за тот случай прощения. Чего ему надо? В Петербурге у него разгар любви с красавицей со страховым пером в шляпе.

Слепой звонарь сидел поодаль и курил люльку. Познакомились и полчася говорили о том, кто из казаков прибыл в Тамань, что новенького в Екатеринодаре, и немножко о покушении на премьера Столыпина в Киеве. Толстопят тоже сидел в театре и, когда раздался выстрел, вскочил и побежал в первые ряды: пять казаков его сотни отвечали за охрану царской особы и стояли на дверях.

— Если бы пуля попала в государя, ваш покорный слуга был бы сейчас далеко, — сказал Толстопят.

— Царь, прохвессор чи генерал — уси будемо там, — подал голос звонарь, глядя не на Толстопята, а на Калерию. — Уси будемо там... Убили — значит, доля она такая. Та уси будемо там...

— Сколько ему было лет? — спросила Калерия.

— Сорок шесть. Он предчувствовал. Думал, что его убьет личный охранник. По женской линии он родня Лермонтову.

Слепой спросил свое:

— Жалованье большое?

— Двадцать шесть тысяч в год только по должности министра внутренних дел.

— Нам с ним детей не крестить. А шо ж царь? Александр, чи як его?

— Александр Третий, дедусь, умер семнадцать лет назад. Николай!

— Ну то я перепутал. То Александра Второго я на семь годов моложе был. А шо ж цари за столом едят?

— То же, что и мы, — сказал Толстопят с улыбкой.

— И цибулю, и чеснок, и сало? Царь тебе будет сало жевать? У него ж дочки, и они сало руками берут?

Наивность звонаря развеселила Толстопята.

— А вы, дедусь, думаете, шо як царь, так он на одних конфетах живет? Ну, бывает на приемах суп из черепахи, филе с кореньями, холодное из рябчиков.

— У царя и часы як шкап.

— Святой вы человек.

— Кто святой, тому Бог очи дал.

— Александр Второй ехал через Тамань, вы были?

— Та звонил. Смоляные бочки зажигали на дороге — аж к Темрюку и туда, на Копыл. Наказывали казакам строго: «Колы царь спросит, чем вас кормят, то отвечайте: «Фунтовой порцией борщ с мясом дают». Его ж убили... Та уси будемо там... А чи вы не женаты?

— Женюсь, женюсь! — сказал Толстопят.

— Чего ж, дитяtko, он тебя не сосватает?

— Меня папа за него не отдаст.

— Я чую его по голосу. Репаный казак. У него в Петербурге девчата есть. Они и у нас... «Ой, боже! — одна смеялась. — Так меня все казаки любили! Як жал мне руку Степан, перстень раздавил!» И уплыла в Керчь, пропала...

— Нельзя казакам жить в Петербурге, — сказал Толстопят не столько звонарю, сколько Калерии. — Дочь графа Коковцева влюбилась в нашего офицера на улице, а потом узнала и сморщилась: «А-ах, так он каза-ак... Как странно, что казаки поют романсы. Это им как-то не идет...» Мы им не родня. Петербургские барышни лгуны, их этому в пансионе учат. Невесту будем искать дома.

Звонарь вскоре ушел, пожелав им спокойной ночи; не дался провести несколько шагов: «Не, я сам, я сам...»

— Сватайся за нее, хлопец... — сказал погода. — По голосу чую, шо добрая хозяйка.

— Вареников наготовить они все могут! — крикнул Толстопят. — И без любви, так же?

Калерия притворно обиделась. О чем с ней говорить наедине? Опять о покойном премьер-министре Столыпине? Хоть и пишут уже, что святая Русь отдала крест на поругание врагам и мы расточили, как блудные сыны, наследие отцов, царь скоренько найдет себе нового помощника. Будет премьер поменьше слушать птичек в саду Зимнего дворца, приемы и рауты устраивать за государственный счет, писать не левой, а правой рукой, и на Елагином острове во дворце поселится другой граф или князь — только и всего. Кого потеряли — скажет история. Они в Тамани на празднике. Толстопят глядел на славное личико Калерии с озорством. Маленькое приключение в 1908 году все же повенчало их памятью. Как будто навеки повисли над ними те вроде бы шуточные и непригодные слова: «Мы связаны тайной этого свидания». Из тьмы слов всегда выскакивают эти. Калерия тоже думала о них. Как легко

попасть в мужские сети! Даже неприятная пустая связь сближает. Так же чувствовала себя ее подруга: пустила как-то в беседку на целую ночь своего поклонника, пококетничала, разругалась с ним на рассвете, но уже прежней незнакомкой ходить мимо него не могла. Молчание Калерии сейчас тоже было какой-то зависимостью.

– Небесный голосок! – окликнул ее Толстопят. – У маленькой шалуньи небесный голосок.

– Я не хочу, чтобы вы так ко мне обращались. Здесь не Петербург.

– И не Царское Село, к сожалению. На берегу можно отцепить лодку, не желаете?

Ее темные глаза насторожились.

Сама себя стыдясь, она мигом подчинилась приглашению Толстопяты, встала и пошла за воротца. Этим согласием она словно пообещала что-то ему, и когда спускалась к берегу с кручи, то думала о том, что она душой уже предает Бурсака. Недолго барышне и закружиться. Они сели в лодку, привязанную к железному колу, и было похоже, что Толстопят вознамерился сказать ей нечто важное.

– Вы меня не утопите? Скажите мне что-нибудь.

– Что же я должна говорить?

Она не могла смотреть долго ему в глаза и на эти его острые кошачьи усы и еще раз покачалась перед далеким Бурсаком: Толстопят раздражил ее чувства. Не было, не было его – и вот на тебе: вошел, спустословил немножко, и таманский день перевернулся. Что ей казачий войсковой круг, ну что барышне парад и речи, когда у нее тоска?

– Женщина никогда не говорит того, что чувствует? Так же ж?

– Смотря кому. А отчего вы так?

– Мне надо. Я на Кубани жил, а попал в Петербург – думаю: любят не как у нас. И все не как у нас. Или потому что я казак?

Толстопят даже поглупел от своего вопроса и тарачился своими чудесными глазами на Калерию, ожидая, чтобы она ответила. Но казак он был хитрый. У него и манера разговора была озадаченная: все как будто он ничего не понимал. А потом тут же смеялся. Калерия тоже хитренько сейчас помалкивала.

Толстопят глядел на слезливую поверхность моря. Думал ли о мадам В. и вообще о петербургских нравах – неизвестно. Может, думал и удивлялся: за что его так скрутили бечевкой любви? С мадам В. он уже кое-где побывал. А ты, – хотелось ему сказать Калерии, – ты, дивчина-красавица, все тут горюешь в Хуторке среди индюков и уток?

– Приезжайте ко мне в Царское Село. Поведу вас на рождественскую елку. Напишу в карточке: «Желаю получить от его величества дамские часы с гербом».

– Мне папа выписал через магазин Гана из Швейцарии. Хотя и без герба, но хорошие. Вы надели конвойскую черкеску и воображаете, что близки ко двору?

– Я езжу за царской каретой, – хвастался Толстопят. – Не сердчайте, это во мне деревенские углы. Я ж казак, один раз скажу по-французски, другой – матерком. Может, я подорвусь на бомбе. Будете плакать?

– Почему я должна плакать?

– Сам не знаю отчего, но я вас ждал.

Толстопят прищурился на нее, проверяя действие своих слов, и Калерия заметила его пустую усмешку, но велико в тот день было желание обманываться: она скрытой нежностью ответила ему на признание. Пусть на секунду, пусть только мыслью, но сердце ее изменило Бурсаку. С Толстопятом ей было легче. Она подумала, как бы целовалась с ним, как бы вольно прижалась к нему, если можно, и ни минуты бы не стыдилась ласк, что с нею случалось, когда слишком смело ухаживал Бурсак. С Толстопятом открылась бы ей сладость страсти, которая захватывала ее только в книгах. Все бы, кажется, отдала – лишь бы одним глазком посмотреть, кому целует ручки Толстопят в Царском Селе.

– Я виноват перед вами, – сказал Толстопят. – Я зашел к вам попросить прощения.

Она поняла, какого прощения он добивается, и это ее слегка напугало.

– Простите! Вы все еще сердитесь? Или мне у извозчика Терешки просить? Вы сердитесь на меня?

– Я сержусь только на себя.

– Всегда?

– Всегда-всегда.

– А за что же так себя не любить? Дивчина красивая. Надо вас засватать в Тамани. Запорожцу бронзовую руку приставили, вы попытайте его. На кого он укажет, того и в женихи. Чего? А кто байки хорошо рассказывает, того не надо. Так же ж?

Он захохотал, и тогда Калерия от обиды вспомнила Бурсака, всегда деликатного и умного, которого она согласна обмануть ни за что. Нет, не так, как обманывают легкие дамочки, нет, нет. Предательство – в наших мгновенных чувствах, которые вспыхивают и гаснут как искорки. В эти мгновения и теряется верность.

– Почему не приехал мой дружок Дема?

– Я не спрашивала его, – решила скрыть Калерия свои встречи с другом Толстопяты. – У него крупный процесс.

– Так вы прощаете меня? Ну чего? А то я поведу вас к запорожцу и там на колени стану перед вами. Так же?

Ему приятно было дурачиться на кубанской земле. Он так строен, красив, прибыл из Ливадии побрехать с земляками, и ему больше ничего не нужно. Калерия злилась оттого, что в самом деле оказалась обманутой в своих чувствах, поторопилась, да так ей, наверное, и надо. У женщины просят прощения в тот миг, когда она его не хочет.

– Завтра праздник... – сказал Толстопят. – Ничего, дитятко, уси будемо там, куда звонарь нас посылал. И

Головатый со своей Ульяной сто лет на спине лежат. Вам любить хочется, а наш станичный писарь гордится, что пятьдесят два года просидел на одном стуле.

Черт-те что молот Толстопят. Калерия уже и не слушала его.

– До запорожцев тут кто был?

Калерия молчала.

– Высадились запорожцы, завоевали Кубань, а дивчина молчит. Вот Терешка проклятый! Подогнал фазтон и завез в гостиницу Губкиной. Вроде женатый, чего он? Ще и буркой накрыл. Так же ж? – Толстопят захохотал, и такой у него был вид, что Калерия тоже растянула губы.

– Лучше бы поговорили о чем-нибудь серьезном.

– Когда я был серьезным, вы меня кулачками били. А сегодня я вас жалею, как свою сестричку. А-а, так и болит моя спина. Шалаяпин толкнул, и я об крыло фазтона. Бурлак!

– Зато прославились.

– И с вами, моя козочка, я прославился на весь Екатеринодар. Батько фельетон из газеты вырезал и под стекло вставил: «Бисова душа, до смерти не прощу!» Вы хоть простите. Дурношоп, так же ж? А за кого ж вас просватать? Черноморцы в могиле, а хороших казаков все меньше.

– Можем ли мы знать, какими они были.

– Они были репаные казаки, но их не вернешь, и мы будем там, да вспомнят ли нас, как мы завтра вспомнем кошевое войско с Антоном Головатым и Чепигой?

Он замолчал.

– Рано вам об этом думать... – сказала Калерия.

– То я так. О, звонарь кличет в церковь...

Они проулочком поднялись в станицу. На телеге пылили три наших казака, гнавшихся за племенным бычком с другого конца области. Станица пестрела платками, папахами. Для Толстопята и Калерии она была обителью таких же кубанских казаков, как они. Но мы должны за них сказать, на какой земле они проводили свой летучий день. Им казалось, что Тамань так и звалась испокон веков. Но те, кого давно здесь не было, звали ее по-своему: Гермонасса, Матрига, Таматарха, Таман, Тмутаракань. По киммерийским могилам они шли, по песочному пепелищу русского монастыря, по засыпанным полам мраморных дворцов и так же, как все люди, жили ощущениями своего бытия. Каким взором увидеть стены с гербами генуэзских консулов, татарские кибитки, турецкий артезианский водоем на две версты вокруг, двести фонтанов и колодцев, мечети и дворцы Эдема, густой непрерывающийся сад с аллеями на восемнадцать верст, вырубленный казаками на топку и ради безопасности от черкесов, по каким насыпам и камням угадать основания русских церквей, греческих вилл? Как чистою мечтою унести во тьму времени, когда каждую минуту прерываются мысли о самом себе? Ни Калерия, ни

Толстопят не пылали священными сантиментами к далеким покойникам. Разве что вздохом пожалели они иной раз запорожцев и тут же увлеклись собой. Всегда, всегда, на протяжении всей жизни будет она благоговейно вспоминать Тамань 1911 года, где как будто что-то оставила она драгоценное, где витало над ней какое-то облачко счастья, но она тогда не подняла голову с изумлением. Какое же это счастье? Да, наверное, это молодость ее и то, что все были рядом и все казались родной казачьей семьей, чтившей свои сложившиеся заветы. Зачем было печалиться о себе?

– Еще раз простите меня, – сказал Толстопят серьезно. – Ради праздника. Не сердитесь. Казак болтал и забыл, так же ж?

– А как жаль, что мужчины все быстро забывают.

– Клянусь тем бронзовым запорожцем, что уже стоит напротив хаты моего дядька, клянусь вам, что и звонаря, и вас в его хате я буду помнить до ста лет, если доживу.

– Время покажет.

– Время все покажет, моя маленькая шалунья.

Они шли в Покровскую церковь, где уже выставили дары запорожцев: ковчег серебряный, чашу, крест и святое Евангелие в большой лист, в серебряной оправе, с изображениями четырех евангелистов, Воскресения Господня, Саваофа, архистратига Михаила, архангела Гавриила и Тайной вечери. Евангелие подарил церкви Антон Головатый, имя которого приберет себе людскою молвой тот бронзовый запорожец, с которого еще не стянули белое покрывало. Была панихида с провозглашением вечной памяти Екатерине II, светлейшему князю Потемкину, графу Суворову, бывшим черноморским кошевым атаманами и всем запорожским казакам, прибывшим на поселение. Тьма народа стояла и в церковной ограде, и на песках.

Певучий голос преосвященного Агафодора пробивался на улицу:

– Непроходимые дебри, пустыни и мрачные леса были на Кубани, когда пришли запорожцы. Рыскал жадный зверь и дикий хищник. Одно столетие – и на необитаемых местах явились грады и веси... Благословение Царя Небесного всегда почивало на вас и на предках ваших. А сии грамоты, сии регалии, сии священные знамена не суть ли неоспоримые доказательства высочайшего благоволения и монаршей милости к войску? Вознесем ко Господу наши молитвы, наши прошения! Как сохраняем мы во святом предании прохождение с проповедью о Господе нашем Иисусе Христе через нашу Тамань в нынешний град Киев святого апостола Андрея Первозванного, так свято храним память о запорожцах. Призри с небес, Боже, Тамань, и виждь, и посети виноград сей, и утверди, и его же насади десница Твоя. Мир дому сему, мир граду и мир всем, здесь присутствующим и отсутствующим. Аминь...

Казалось казакам и казачкам под тянучие кроткие голоса хора, что о них так же будут молиться.

Калерия повнимала словам и настроению панихиды, удивилась на короткую долю времени пришествия на Тамань Андрея Первозванного, имя коего было на российском ордене, потом в толпе рассеялись ее мысли, и она, попрощавшись с Толстопятом, пошла к хатке слепого звонаря, думая о том, что на нее все оглядываются, но никто не любит так, как ей хочется.

У памятника предкам

5 октября, на день войскового круга и тезоименитства августейшего атамана всех казачьих войск наследника цесаревича Алексея Николаевича, начался праздник. Ночью Луке Костокрызу снилось, будто он поставлен на пьедестал в запорожском костюме и в правой руке держит солонку, подаренную ему Екатериной II. «Чем я не казак или не хозяин? – говорил всем своим видом Лука народу, склонившему пред ним обнаженные головы. – Сыра земля! Расступися! Оце добре вы, казаки, надумали, шо пришли с горилкой. Какое нам дело до целого света?» – «А ты кто такой?» – кричал из толпы генерал Бабыч. «Разве вы не видите по оселедцу? Я ваш кошевой батько урядник Лука Костокрыз Шестой. Я вас привел на Кубань. А ну, доставайте, бисовы души, грамоты, перначи, литавры!» Костокрыз спрыгнул на землю, поздоровался со всеми помощниками за руку, поцеловал Бабыча и поехал на волах в Пашковскую к своей бабке.

Сны веселые, да вставать тяжело. В хате пахло вчерашним борщом; осенняя муха ползла по полотенцу; на листке церковного календарика чернело старое число: 25 сентября, день св. Сергия Радонежского. Вчера поразила его новость: через Тамань в Киев святыми шагами прошел задолго до запорожцев апостол Андрей Первозванный. Не рука ли святого направила запорожцев к крутому берегу?

Кости ломило, ноги натоптались по станице, боли. Накануне приплыл из Керчи со шкурками Попсуйшапка, на ночь оба жаловались на пропавшую Варюшу и уснули, как обиженные младенцы. Костокрыз умылся, выкурил люльку натошак, потом – еще чуть свет – пошли они на ярмарку и за рвом наткнулись на Толстопята, у которого и спросили, честно ли служит в конвое Дионис.

– С таким голосом нигде не пропадет, – сказал Толстопят. – Государь любит наши песни и пляски. Я послезавтра опять буду в Ливадии, что передать от деда?

– А передай, шо ждем на льготу с мундиром урядника и со знаком. А колы оставят ще на срок, то я буду гордиться, как индюк. Дед Лука, скажи, подтоптался уже, но ще ходит журавлиными шагами. Та скоро и я лягу к запорожцам. Ото поставим казака, и...

В Покровской церкви ждали депутатов войсковые регалии. Ах, если б вложило в них провидение живые уста, чего бы не рассказали позднему роду людскому! Сколько казачьих рук прикасалось к ним, и где те руки? Сколько наказных атаманов шло за ними с выпертой грудью на парадах и на встречах важных особ, и где те атаманы? Цари склоняли головы к ним, и где те цари? Из рода в род освящают регалии славу казачью. Было что вспомнить войску.

В 1774 году река Кубань была объявлена русской границей на Кавказе. Предвидя новую войну с турками, правительство обратилось к запорожцам с призывом послужить на новом месте. Вечные переселенцы, они пустили корни и на Кубани, и неужели кто-нибудь в иной час вырвет их и разбросает по свету? В 1792 году «кош верных казаков», позднее – войско Черноморское, подготовился в полном составе перекинуться за Дунай, но Екатерина II обхитрила их указом, по которому казаки наделялись островом Фанагория со всею землею по правому берегу Кубани, от низовья ее к Усть-Лабинскому реду, так что с одной стороны река Кубань, с другой же – Азовское море до Ейского городка служили границей войсковой земли. Так порешила Россия. И пришли, и высадились в Тамани и на Ейской косе с войсковым скарбом и куском ржаного хлеба, и протянули живые силы через всю заболоченную степь. Куда пришли?! Теперь чего только не брешут про казаков, но куда они пришли, на какие страдания?! Ничего, кроме неба, камышей и малярии. Пластуны сторожили спокойствие Черномории. Сидели они в воде, взлезали на высокие деревья, ползли змеей, кричали и свистели подобно зверям и птицам, окликая товарищей. Кто теперь это поймет, кто им, дряхлым или погубленным смертью, посочувствует?

Чуть позже снимались на чужбину украинские семьи; похоже было, что движется по степи станица, только вместо белых хаток переваливались неуклюжие гарбы. На гарбах были навалены кровати, столы, лавки, кадушки, бороны, чувалы с зерном. Шум, скрип колес, крики пивней простирались на несколько верст. В дороге рождались дети, крестили их в попутных селениях; ночевали под звездами. Кто их вспомнет, пожалеет тех сынов-малороссов? На регалиях вышита их слава.

У церкви Костокрыз попрепирался с Бабычем о том, что ему нести.

– Грамоту, шо Екатерина дала.

– Не-е, я солонку понесу с блюдом. Может, и мне дадут три ковша червонцев, как Антону Головатому.

– Все ты знаешь, Лука, – сказал Бабыч.

– А шо ж! С нашего роду письмо турецкому султану составляли. Ото меня там не было, я бы отлил пулю. Ну, они не такое письмо писали, как вельможа Потемкин. Ото ж наши запорожцы разогнали турков и поляков и никакого их мира с москалями не признавали. И сказал им вельможа Потемкин: «Вы крепко рас-

шалились. У всех у вас одна думка: как бы теперь мо- скаля прибрать. Вот ваши худые и добрые дела», — подает Головатому толстую тетрадь, в ней все худые и добрые дела Запорожья. И шо ж он, Потемкин, сде- лал? Худые дела написал строка от строки пальца на два и словами величиною с воробья, а чего доброго Сечь натворила, так то написано было часто и мелко, будто маком посыпано, и оттого наши худые дела за- губили места больше, чем добрые. «Все кончено, — говорит, — пропала ваша Сечь!» — «Пропала Сечь, так пропали уж и вы, ваша светлость. Вы ж вписаны у нас казаком, та колы Сечь пропала, пропало же и ваше казачество». И поехали наши казаки с Петербурга с понурыми головами...

— Ничего, зато мы с тобой и со всем войском голо- ву высоко держим, — сказал Бабыч, похотывая.

— Ах, как бы можно их с того свету позвать, то б удался праздник на славу. А их нема. Я скажу свое слово сегодня.

— Скажи, скажи...

После литургии по приказанию генерала Бабыча понесли под народный гимн тридцать пять куренных запорожских знамен, двенадцать куренных малых бу- лав, жалованную Екатериной на новоселье солонку с блюдом, два войсковых знамени и грамоту от нее же, куренные значки и восемнадцать перначей, войско- вые серебряные и медные трубы, юбилейное знамя от ныне здравствующего императора, белое знамя св. Георгия Победоносца, к которому прадед Толсто- пята прибавил и свой гвоздик. Несли древнюю запо- рожскую икону со словами на ней: «Молим, покрой нас своим покровом и от врагов сохрани» и «избавлю и покрою люди моя излюбленные...».

И потянулась за ними свита.

Отец Толстопята вел белую лошадь с литаврами через спину. Отец Шкурпатской, может, последний раз держал в руках трубу. На блюде нес священную солонку Костокрыз.

Под звуки духовой музыки казачка в старомодной одежде вела запряженных в повозку волов, а сбоку шел казак в постолах и в старой черкеске с привязан- ными к поясу кисетом и люлькой. На возу лежало не- много домашнего скарбу, стояла кадка и сидело чет- веро малых детей.

На кручах, на каменных заборчиках, на лавочках, домашних стульях, на крышах выросли над шествием любопытные таманские обыватели. Жили и вроде бы слышали, что когда-то у берега, где ныне ловят быч- ков, высадились тринадцать тысяч душ запорожцев, но и во сне бы не явилось, чтобы чтить их с такой пышностью в присутствии трех десятков генералов, начальства и даже керченской городской управы.

Калерия смотрела вниз с колокольни Вознесен- ской церкви.

Попсуйшапка искал в рядах знакомые лица. На- считал он из сорока семи атаманов добрый десяток

таких, которые приезжали покупать своим казакам па- пахи; сразу узнал невысокого, круглоголового Бабыча с насекой, шедшего как-то сердито, двух гвардейцев конвоя его величества, стариков Шкурпатского и Тол- стопята, дряхлых генералов, ловивших в отставке ры- бу в Кирпилях, и генерала другого, сычом дремавшего на кургане под Медведовской. В войсковом хоре были одни знакомые. Шел родной брат Бабыча из станицы Уманской, тоже в папахе его работы. Блесте- ли на солнце галуны, эполеты, ладанки, перевязь. И все они были героями короткого дня, который никогда не повторится и никому, кроме них, не будет понятен, потому что пройдет еще несколько лет (семь — как дни недели) и в обломки, в прах превратится жизнь со ста- рыми гимнами, молитвами и историческими предани- ями. Они были жителями этого дня, этой последней эпохи казачества, и они тучной властной громадой окружили памятник, который через двадцать, пятьде- сят лет будет маячить у моря единственным свиде- телем черноморского прошлого. Будущего не предви- деть. Через восемь лет здесь всхлестнется междо- усобная война, в Тамань проберутся солдаты кайзера, потом уйдут самые ярые казаки за море, увозя в сун- дуках регалии предков...

Проводив регалии от двора Вознесенской церкви, где их окропили водой, Попсуйшапка побежал вперед, чтобы взобраться повыше и оттуда видеть и слышать то, что будет происходить у накрытого полотном па- мятника. Еще раз последовало то же самое: за курен- ными значками, грамотами и булавами прошествова- ли вниз чины и депутаты. Бывает торжественный миг, когда тяжело стоять в толпе безликим. Душу тянет туда, в самое царство причастных к памяти! Почему он все- го-навсего маленький шапочный мастер? Почему в его роду нет георгиевских кавалеров, трубачей, даже писарей? Ему попеременно хотелось просиять перед публикой и наказным атаманом, приуставшим от еже- годных церемоний и литургий, и рослым офицером конвоя в алой черкеске и белом бешмете, и всеми лю- бимым за шутку Лукой Костокрызом, и длинноборо- дым пластуном, думавшим, что это его прадед ступил ногой на пустую таманскую землю. И даже бы беле- сым и хрупким, как тростиночка, преосвященным Ага- фодором, владыкой человеческой веры в золотой ри- зе, захотел он явиться на миг. С первыми звуками на- родного гимна сбились на нет его слепые мысли.

С разостланного ковра архиепископ Агафодор на- чал свое благословение:

— ...Вспоминай дни древние и ищи в них поуче- ния... И будем молить Всевышнего: да благословит Он казачье войско силою крепкою и мышцею высокою в дни брани, а в дни мира да воздаст тихое и безмолв- ное житие, и да умножит благодать и покой. Доблест- ные имена вождей войска, на брани живот свой поло- живших, да напишутся в книге животней, да даст им Бог венцы нетленные; а на земле имена их да живут

из рода в род... Да умножатся в городах и весях земли Его храмы и монастыри, в которых находят утешение, уладу верующему сердцу своему доблестные сыны войска в наше время безбожия и холодного равнодушия...

Вместе с хором Попсуйшапка запел «Многая лета».

— И сотвори им вечную память...

Опять запели, потом слепой звонарь ударил нескладицы в двухсотпудовый колокол. Снизу от памятника стали махать, кто-то побежал на горку к Вознесенской церкви. Звонарь не унимался, будто звал на пожар. Мальчишки на заборах засвистели. «У нас вечно что-нибудь не так, — поругался про себя Попсуйшапка. — Они, говорят, и по Кубани плыли, так два раза на карчу наткнулись, буксир «Николай» их стягивал... Ну ясно: звонарю восемьдесят лет, он забылся...» Но вот, слава богу, колокольный перелив стих, и тогда вышел с бумагой екатеринодарский городской голова, неприятный Попсуйшапке уже тем, что хотел рассчитать по старости отцовского кучера Евтея.

— Не может ветхая деньми седина казацкая не крякнуть с гордостью в могучий ус свой при виде молодого атамана, писаря, вахмистра, урядника, — поднял сытый голос городской голова, глядя в бумагу и словно подчеркивая толстым пальцем предложения, — когда видит, как здорово, стойко, честно и умело каждый исправляет вверенное ему дело; когда совет держит он с министром без лести и робости, ответ держит пред высоким царским слугою...

«То вы там держите... — палил ему в ответ шапочный мастер. — У вас в Екатеринодаре какой порядок? Вы тротуары чистите? Улицы замостили? Желтобилетниц с базаров и харчевен убрали? Тариф на водку повысили — и все? Да постановление вынесли — гласным на проезд от дома на извозчике выделять по рублю. Себя не забыли. У вас и в городской думе раз-вернуться на вешалке негде, пальто в руках таскают...»

— ...должны были держать границы родной Сечи и земли русской от татар и турок, так и здесь, на Кубани, новым поселенцам пришлось защи...

Попсуйшапка отвернулся лицом к морю и разглядывал пароход. Есть ораторы, которых слушаешь, потому что некуда уйти. И если переслушать и перечитать все торжественные речи, то покажется, что их говорил один и тот же твердолобый человек. И в Тамани никто из них, грамотных и знатных, не сказал лучше Луки Костогрыза.

Попсуйшапка аж привстал на цыпочки и так, с вытянутой шеей, прослушал крик старика до конца:

— Казаки мои родные! Все на свете повторяется, да ничего не воротишь. Как бы позвать нам оттуда наших черноморцев та спросить, чем они жили, то зацвела б снова наша слава, а они б нам сказали: было житье на казатчине! Тогда, — сказали бы, — величали

мы друг друга братом, а кошевого атамана батьком. Если на раде приспичило нашему кошевому чихнуть, все чубы ему низко кланялись: «Тоби, батько, на здоровье, нам, казакам, на радость, врагам нашим на погибель!» В светличке о трех комнатах, под камышовой крышей, где на светанье божьего дня чиликали воробы, нам было не тесно. Наши матери и молодичи разъезжали еще в стародубовских кибитках, в которых только что и роскоши было, что медные головки на гвоздиках. Стремя было для казачьего чебота шо крыло для пяты Меркурия. На дружеских пирах мы пили варенуху, под цимбалы отплясывали «журавля» та «метелицу». Пуля и даже сабля не брали нас в бою, затем шо никто из нас назад не оглядывался. А шо ж мы теперь слышим? Нема Сечи, нема и Черномории; пропал и тот, кто ими верховодил. А мы, родные мои казаки, им ответим: нет, не так. Запорожская Сечь долго блукала, пока не нашла свою долю на Кубани. Есть еще порох в пороховницах, та и не согнетса во-век казацкая сила! Слава о вас, наши батьки и деды, не сгинет, мы ее подхватили и передадим внукам. Господи, упокой их души в лоне Авраама. Нам же в казачком кругу пошли здоровья и крепости духа. Эй, люди добрые! Сходитесь до кучи, сядем на колоде, табак понюхаем, люльки покурим та раду послушаем. Встаньте и вы, деды-черноморцы, гляньте на нас. Пошли, пошли нам, Господи, шо было в старину. Еще не умерла казацкая доля! Узнают еще вороги рыцарские дела. От стародавних обычаев нашей неньки Сечи мы не отступимся. Пошли, Господи... шо было в старину. — Слезы блестили на глазах Костогрыза, он задыхался от умиления предками, но после паузы собрался и докричал: — Слава героям, слава Кубани!

— Слава! — выдохнула толпа.

«И у такого деда, — подумал Попсуйшапка, — такая вредная внучка... И бог бы с ней, да она, как на грех, моя жена...»

В Ливадии

Почти в один день с Бурсаком получил от мадам В. письмо и Толстопят. Ему она написала побольше и, конечно, пооткровенней, без озорства, с томлением: «Скорее возвращайся, мне так одиноко без тебя. Я вспоминаю и переживаю каждый наш час, мой золотой».

«В ней все же сто препикантных чертей, — повеселел Толстопят и спрятал письмо в тетрадь с гравировкой на корочке (подарок сестры Манечки). — Не хочется красавице чахнуть дома и вязать муженьку набрюшник. Ах ты, пиканница! Уж обниму перед зеркалом, уточка моя...»

Ночью из Ливадии Петербург являлся ему местом пороков, и он ревновал мадам В., придумывал ей неотразимых поклонников. О, там много дива. Там, хоть и держались строго законов хорошего общества, заносились друг перед другом в вопросах чести, краса-

вицы не упускали, однако, удобного случая, чтобы сказать о себе как о женщине, имеющей *sa trentaine bien sonnee*³, заявляя тем о правах на полную свободу поступков. Там спорят, кто лучше ездит верхом на каруселях придворного манежа и элегантнее приветствует даму *d'un coup de chapeau*⁴, а эти дамы чаевали и ужинали в *coterie intime*⁵, «укладывали в лоск» своим кокетством «сонмище военных» и шутили: в сияющих лысынах государственных старцев можно, как в зеркале, увидеть отражение *chute d'épaules*⁶ какой-нибудь графини. А вечера! Приемные залы и гостиные украшались дорогими картинами, редкими коврами, вазами и растениями. Женщина там становится счастливее, если ей улыбаются из лож и забрасывают ее переднюю визитными карточками, и презрительно она глядит на ничтожную улицу из своей коляски, в которую пять минут назад подсаживал ее ливрейный лакей. «Умная женщина? — смеялась над ним мадам В., когда он похвалил одну красавицу. — Зачем женщине ум? Накинуть на нее горностаевую мантию и вести с ней остроумные беседы о чем попало. И целовать ее через шелковый платочек». Но она вовсе не была такой легкомысленной и сочеталась тайной с Толстопятом, верно, потому, что полюбила его? «Меня, — говорила ему, — не миновало то, что французы называют «психологическим моментом» в жизни женщины, — рухнула моя нерушимая безупречность в один миг. С тобой». А если такой момент наступил еще раз, пока он в Ливадии? Петербург! Там корнеты, кирасиры, кавалергарды и бесконечные разговоры: «Она безвластно пошла на его немой зов»; «у нее были несправедливые ночи»; «она вся похолодела от волнения, никогда до этого ею не испытанного». И все такое. Однажды, наслушавшись казенных любезностей и острот, понадерганных из «Фигаро» и всяких французских книжек, она села в карету и сказала ему, укутываясь в душистый белый мех своей ротонды: «Они еще скучнее со своими обольщениями, чем мой муж со своей добродетелью». Но как знать...

«Муж старше меня, — вспоминал Толстопят откровения мадам В. в первую ночь. — Три года ухаживал за моими ножками, и папа дал наконец согласие. Была помолвка, потом он уехал. И я иду по Крещатику, а на душе такая тоска, ну тошно мне, тошно, хотя вроде бы случилось то, о чем мечтала. Случилось то же, что с леденцом. Я рассказывала, как в детстве я бежала к фонтану из-за леденца?»

Толстопят бы взвыл, если бы ему раскрылось, кому уже рассказывала мадам В. и о муже, и о леденце, растаявшем на солнце в руке маленькой девочки.

Возвращение в Петербург на подмену намечалось через две недели. Погода еще стояла райская,

царские дочери и сама государыня частенько сиживали в платьях в лоджии дворца. Крым! Знала Екатерина, что отбирать у Турции. И до кубанской границы близко: за Керченским проливом Тамань. Но там уже степи, иная глушь и иные люди.

На Южном берегу Крыма тоже был колючий соблазн: везде гуляла, каталась в фазетонах, слушала в музыкальной раковине заезжих певцов, пила и ела в ресторанах самодовольная публика, и оттого думалось, что всем нравится жить полегче, быть богатым, вололчаться при случае за дамами и ничем не тревожить свою совесть. На даче княгини Барятинской, в фешенебельных гостиницах останавливаются сановники, министры; в имении графа Воронцова-Дашкова в Алушке, на даче эмира бухарского позволено бывать только избранным, и везде, везде по взгорью чуть ли не королевскими замками или обителью греческих богов белеют недоступные особняки. Оттуда, наверное, приятно, подобно бою часов или звону колокольчика, слушать надоедливый лай собак возле кофейни у Полицейского моста и ресторанчика «Болото». На Русской Ривьере заметнее довольство и обделенность.

Два раза в году, весной и осенью, по несколько месяцев отдыхал в Ливадии царь: с семьей, свитой, министром двора и челядью. При каждой царской особе камердинеры, гардеробщики, ездовые, камер-казаки, комнатные женщины, портнихи и прислуги при них, няни, лакеи, мужики, и все они счастливы прислуживать за те блага, которые им никогда и не снились, и все ходят мимо гордо, не допуская и мысли о сближении с конвойным казаком.

В камер-фурьерском журнале записаны для истории «труды и дни» его величества: всякие прогулки, выезды на охоту, торжественные события, приемы и обеды. Царь еще был в Петербурге, а уже в Севастополе две сотни кубанцев и терцев выгружали из двадцати двух вагонов сто шестьдесят лошадей, перетаскивали сундуки, потом два дня (с ночевкой в Байдарках) шли походным порядком до Ливадии. Служба в конвое выгодная, однако ж завидки берут. Всегда в стороне водится какая-то прелестная тайна, к которой тебя не подпускают. Ищи себе удовольствия на улицах Ялты.

В сотне Толстопяту докучали жалобы нижних чинов друг на друга. В самый канун приезда депутации кубанского казачества во главе с Бабычем вперся к нему запыхавшийся от обиды Дионис Костогрыз. Толстопят как раз отвечал мадам В., и его прервали на самой интересной строке. Царский плясун и песельник чуть не плакал.

— Господин подъесаул! Это что ж такое? Вы меня знаете, и все меня тут знают, а меня вахмистр перебивает в присутствии товарищей и, кроме того, называет пьяным, как я и чаю в рот не брал. Да я ж могу так расходиться, что меня из конвоя попрут, и вина моя будет в том, что я вправде горячий!

³ Давно за тридцать.

⁴ Поклоном.

⁵ Интимный кружок.

⁶ Овал плеч.

– Ты чего как с пожара? – с дразнящим спокойствием спросил Толстопят. – Я тоже горячий.

– Кругом превышение власти. То в прошлом году сундук мой уехал с льготным эшелонном в Терскую область, перепутали, то под козырек офицеру не так отдал, то вахмистр...

– Ты смотри, какой ты у нас невезучий.

– Мало того что вахмистр меня не посылал для встречи их величеств и в свое отсутствие назначил вместо себя не меня, как старшего в сотне, а младшего, мне подчиненного (он ему из буфета притащил три бутылки «Монополь руж»), и мало того что он не исполнил приказание даже командира конвоя Трубецкого, когда для песельников и танцоров покупали пиво, так меня еще обвиняет, что я будто при покупке иконы есаулу Рашпилю украл пятнадцать рублей (что не подтвердилось), а сам, между прочим, в день моего дежурства добавил в книжку расходов десять человек и взял в свою пользу десять фунтов мяса, отнес к прачке (с нею схороводился), а когда я сказал: «Вы приказывали удерживать лишний фунт?», то как крикнет: «Бунт хочешь устроить?», и после этого не послал меня встречать их величеств, мстит мне и грозит из конвоя выгнать.

– То, то, то, то! Стой. Придержи коня. – Толстопят напустил на себя достоинство высокой власти, между тем ему пришли в голову красивые слова в письме к мадам В. – На тебе лица нет. Тебя в конвое ценят как никого, а ты каждый день жалуешься.

Дионис Костокрыз был царским любимцем, и Толстопят всегда был очень осторожен с казаком, но тряпкой перед нижним чином казаться не мог.

– Примерная моя служба карается завистью вахмистра. Если ты, говорит, будешь еще разговаривать, я заставлю тебя служить не в очереди. Да я с ним в отхожем месте рядом не сяду, а не то что разговаривать.

– Мы тебя, казак Костокрыз, – вдруг взъярился Толстопят, – и не посадим! Надо еще заслужить... сесть... с вышестоящим. Ты чего мне мелешь? Ты не сесть лестную службу при государе. Серебряную турецкую медаль получил? На рождественскую елку что?

– Кувшин и подстаканник.

– Баба твоя на казенный счет в Царское Село приезжала? И наверное, имеешь корыстное желание остаться на сверхсрочную. Тридцать лет выслужить и золотую медаль на андреевской ленте? Однако!

– Как и дед мой Лука, обогранный кровью в бозе почитающего императора Александра Второго.

– Заучил. А может, по примеру других, тебя устроить в казенную лавку продавцом, братец?

– Казаку торговать стыдно.

– Чего ж ты плачешь?

– Я страдаю своей совестью перед моими товарищами, – опять заныл Дионис Костокрыз. – Чую правду

и не могу доказать, надо мной смеются. Я видел, как урядник сбивал гирьку назад, и, хотя не хватало фунтов десять – пятнадцать, он приказывал мне снимать чувал с весов, а потом ставил гирьку на тридцать два фунта. На три лошади-то на двое суток полагается пуд и тридцать два фунта. «У меня, – говорит, – тогда овса не хватит, если я полностью буду выдавать». Мы всегда одним горнцем задаем корм лошадям, – строил Костокрыз как из пулемета, – и раньше всегда хватало, а при этом уряднике задаешь корм тем же горнцем – и не хватает. Я решил заносить на него жалобу. А он мне говорит: «Я хотел бы пива выпить, да нет его сейчас. Или магарыч купить, чтоб ты молчал». А тут еще мне встретился поставщик обуви Файвилович и говорит: «У тебя есть серебряный рубль?»

– Ничего не пойму, – убито сказал Толстопят и вспомнил, как в Тамани на пиру рассказывал Бабыч про дурного казака. – Ты о чем? Какое пиво, при чем овес, магарыч, поставщик Файвилович, он у нас не служит?!

– Извините, господин есаул, горя много скопилось в душе. «Я, – кричит, – в сотне хозяин, а ты не веришь мне? Хочешь жалобу заявить? Напакостить? Ты был в сотне первым казаком, а теперь роешь себе яму?» Пятого октября, когда вы были в Тамани, опять недодали овса. Я присягал служить, а воровство фуража – нарушение дисциплины.

– О, ты святую Анну не получишь. Хватит тебе, что жена святая. В другой раз на квартиру ко мне не являйся. Честность – хорошо, но очень часто жаловаться – не люблю, братец. Разбирайтесь без меня.

– Писали же про вахмистра в царскосельской газете, что он похитил железную решетку для дворца.

– Писали. Враги. Иди, иди, Костокрыз. А то лошадей pošлю чистить не в очередь. Иди. Да приготовься: завтра могут наши кубанцы приехать, так, может, петь придется.

Костокрыз скомкал его настроение, но письмо надо было закончить. «Моя приезжая богиня, я ваших...» Что дальше? «Моя приезжая богиня, я ваших рук никогда не забуду». И ему тотчас захотелось поцеловать эти руки, обнять мадам В. перед зеркалом и услышать ее стонущее восклицание: «Как ты красив, Пьер!» Он просил ее смотреть на него из пасмурного сияния этого зеркала, и она тогда, чтобы не выдавать своего страстного взгляда, на мгновение дразнила его капризной миной. Он в письме напомнил ей об этом. Перед сном вышел он прогуляться по аллеям сада. Отсюда, с загибающегося ливадийского берега, видны были тихие свечечные огоньки Ялты и смутные очертания горы Медведь. Он мысленно перерезал линией море, куда-то в сторону Турции, но левее, точнее, и взор его достиг таманских круч, медного запорожца, хаты слепого звонаря, потом острым лучом пронизал он всю кубанскую степь, уже был в «нашем маленьком Париже», в Екатеринодаре, от Свинячьего

хутора до дворца наказного атамана покрытом октябрьской дождливою тьмою. И когда он ткнулся летучим сознанием в свой казачий городок, в детскую пашковскую хату, в углы дома на Гимназической и тут же вспомнил письмо к мадам В., всякие слова, какие-то чужие, подслушанные, плечи его как-то разок-другой передернулись судорогой: туда ли он залез? Казаку ли ломаться под кавалергарда? «Ничего, ничего, — вдруг успокаивал он себя, — не боги горшки обжигают, а пашковские казаки». В породе его кто-то заложил такую скрытую важность, даже влюбленность в себя, что мать с отцом только диву давались. Он вылупился на свет словно затем, чтобы хлопнуть по плечу начальство, а на равных себе взирая свысока. С детства смазливые девчата внушали ему своей привязчивостью скорый успех в жизни. «Наш хлопец в атаманы выберется, — говорил отец. — Ты посмотри на его походку. Он на землю ногой давит, как на червяка. А взгляд! «Все мое». Руки». Разве что военная дисциплина укрощала его тайную дерзость заговорить с государем, но, кажется, недалек тот день, когда ему и это удастся. Благодаря связи с мадам В. Толстопят уже проникал кое-куда, держал даже в руке подарок английской королевы Виктории внучке Николая I и, значит, тете нынешнего царя, вторым браком скрепившей свою судьбу с казаком, как ни странно, станицы Пашковской, — подарок занятный: терновую палку стоимостью в тысячу фунтов стерлингов, украшенную золотым колечком с двумя бриллиантами. С ее осиротевшей дочерью дружила мадам В. С любимой женщиной можно подняться на самую вершину власти. Он сидел в каком-нибудь доме и думал: фу! да у них никогда не было и не будет такой женщины, как мадам В. И все они несчастливее его: то жены были уродливы на лицо, то мужья.

«Надо было написать ей, — соображал Толстопят, — что, если я не смогу сразу приехать в Петербург, пусть она в первое воскресенье станет в Царском у Египетских ворот или погуляет по Гусарской улице». Ложась спать, он долго поворачивался и так и этак. Постучали. Завтра прибывает депутация с Кубани для вручения государю копии памятника запорожцам. Служба! Надо тормозить себя чуть свет и бриться. Толстопят перекрестился (точно погонял мух) и, уминная постель, затих на легком боку. Всю ночь ему снились Египетские ворота в Царском Селе.

Кубанская депутация приплыла в Ялту на пароходе «Пушкин» два дня назад, уже осмотрела в Массандре винные погреба, старый, в стиле кремлевского терема, дворец, колокольню, устроенную на ветках векового дуба. День томились в гостинице «Россия», пока Бабыч выверял через министра двора Фредерикса срок встречи с государем и добивался соизволения на подношение цветов государыне и дочкам. Все не так просто. Вроде бы царь ждал депутацию в гости, а выходило, что депутация с подарком вымаливала ми-

лости быть принятой. И было такое порою глупое угнетение, словно самозвано приперлись в обитель его величества с жалобным прошением и Фредерикс может поворотить их с гневом назад. Даже уважение обставлено у власти церемониальной гордостью. Казаки волновались. Бабыч, видимо, спал плохо, но утром лицо его было холеным, почти без морщин, и, вставая с сиденья, он не кряхтел, как Лука Костогрыз. Сорок семь лет в армии, и хоть бы ему что! От министра двора приехал как из бани — красный, малоразговорчивый.

— Обедать в конвой! — только и сказал.

Долго рядились, чем ехать: автомобилем или на извозчике. Не всем была бы по карману прогулка на автомобиле: шестьдесят рублей в общий котел туда и обратно, это сколько с одного? Костогрыз замахал руками: и не вздумайте! Он лучше три версты до Ливадии прохромает пешком; пару волов можно купить на такие деньги! А так между тем захотелось поскорее хлебнуть горячей пищи. Но в конвое родные служажки покормили чем бог послал: к визиту земляков особо не готовились. Зато кашу ели под пение хора конвоя. Лука с ними пошутил для порядка — для того, может, и брали его с собой. Да, слава богу, с внуком Дионисом словцом перекинулся, передал ему меду и вина в двух четвертях, погрозив при этом пальцем: «По чарке всей сотне, но не разом». Конь внука подбил коленку, и Лука загоревал чуток: опять доставай из сундука деньги! Были времена, говорили: «Я купил лошадь за сто рублей». Теперь разорайся на все четвереста.

В Ялту возвратились веселые: государь разрешил поднести наследнику шашку и пику, а государыне цветы. Бабыч по этому случаю выпил за ужином в ресторане. «Ощущение тревоги перед грядущим счастьем предстать завтра пред лицом державного вождя Российской земли заполняло казачьи сердца». Такое прочитали они в газете по возвращении домой. На самом деле все было куда проще. Костогрыз шутил да вспоминал прошлую ливадийскую службу.

— В семьдесят втором году, как сейчас помню, батько-государь Александр Второй соизволил поохотиться в горах с братом Владимиром и сыном-наследником. Ночевали в долине у лесника, а вся свита и прислуга — на почтовой станции, версты за две. Я ночь стоял на часах. Стою, думаю: «Не пошкодил ли там в моей хате с моей Одарушкой какой-нибудь горец?» Когда гляжу: на крыше, рядом с царским домиком, горит! Я туда, разобрал доски, разбудил двух поваров, повиносил с ними на двор посуду, багаж, из конюшни вывел верховых лошадей и только тогда-а, — поднял Костогрыз палец, — разбудил камердинера его величества. Медаль «За усердие» и похвала царская. За то позвольте перекинуть и мне чарку.

Ох и репаний казак был Лука!

Перед сном в номере откупорили модель памятника, и каждый совался ртом поближе и выдудвал

пыль. Лука Костогрыз поелозил запорожца платком, посплюнул ему усы и кончил:

– Добре! Стой, казак, и не слазь! Ты ж наш сечевик, – гладил он его по голове, – скажи его величеству круглое, как обруч, словечко, но лишнего не болтай, я за тебя добавлю. Ты ж в Сечи турецкому султану пулю матерную такую отлил – можешь! А тут государь наш, так избави тебя бог. Та за столом, колы посадят, рюмку не сразу бери, а потом. И боже тебя спаси какую даму ущипнуть. А то попотчуют нас печеным раком. В Тамани есть вдовушки... Дух святой с нами! Счастливого тебе на том свете, а на сем ще с нами дух казачий... Отдыхай до утра.

Толстопят повеселил стариков петербургскими анекдотами. Когда генерал Бабыч сунулся проверить, готово ли все на завтра, он нашел казаков в номере в полной темноте.

– Чего лампу не засветите?

– Лампу не принесли, а свет погас, – отрапортовал Костогрыз. – От жалко, шо старый. Сейчас бы заглял с дамочкой.

– А в Ялте! – сказал Толстопят. – У татарина магазин драгоценных камней... Дама приходит, он дает ей альбом с фотографиями. Там номер. Выбирает, а потом «номер» к назначенному часу является на дачу или в гостиницу. Где ваша фотокарточка?

– Она всегда на мне. Ну, ничего. По-станичному. Балакать натемно можно. Ой, скажу. Я как-то... Только прости меня, батько, я хочу пулю отлить. Как-то приехал с Петербурга в отпуск, зашел к соседу. Сидят, балакают так же – темно. «Чего ж вы не зажигаете лампу?» – спрашиваю. «Та балакать и натемно можно, чего зря тратиться». Я посидел-посидел, а потом ссунул с задницы штаны. Ей-богу. Тю, хозяин разглядел. Толкает: «Та вы шо штаны сняли, чи шо?» – «А оно ж темно, – говорю, – не видно, штаны трутся, а балакать и так можно».

– Смотри мне, Лука! – посердился Бабыч. – Завтра ни-ни-ни!

– Завтра я буду мягкий, как телятина. Ничего так не хочу, как царских дочек увидеть и наследника. Я ж, наверно, не приеду к ним больше никогда, а они так над Россию и будут.

Августейший атаман

После «простого и высокомилоственного приема» дан был высочайший завтрак в столовой дворца. Государева свита, дамы, офицеры конвоя расселись на места, указанные карточками. Перед роскошными букетами, по бокам от государя, пухом опустились на стулья дочери: Ольга, Татьяна (самая красивая, в мать), Мария, Анастасия (самая живая и маленькая). Государыни и наследника не было.

За царским столом не наешься из золотых тарелок, это тебе не в хате и не в степи, когда таскаешь ложку в рот и ни о каком приличии не думаешь; тут

уколешь вилкой кружочек колбасы и боишься, как бы она не сорвалась на скатерть, и к тому же нет аппетита, все больше глядишь на августейших особ и слушаешь тосты. Конечно, те времена, когда Екатерина II в знак особой милости посылала кошевому атаману к концу обеда десерт, прошли безвозвратно, все при новых императорах стало проще, но лишнего не скажешь, а уж тем более не отмочишь грубоватую шутку. Дочки царские тоже мало ели, были они как лебедушки, откровенно посматривали на казаков, то на одного, то на другого, и (что значит сословная разница!) самый старый из них, самый гордый и храбрый, смущался и считал себя обязанным преклонить свое чувство. Чего ж: кто-то же должен стоять над ними, не пахать, не сеять, а только освящать собою знамя державы.

Когда подали полоскательницы для рук, Лука Костогрыз хмыкнул про себя и было уже ткнулся рассказать один старый случай, но сдержался и лишь шепотом поделился с атаманом станицы Таманской.

Тот реготнул тихонечко, однако царь услышал и спросил:

– Может, это интересно и для нас?

– Да не знаем, как сказать, ваше величество, – оправдался Костогрыз непонятно в чем.

– Нет, мы хотим.

– Пожалуйста. Чашки с водой принесли, це ж руки пополоскать. А годов так пятьдесят назад у нас на Кубани у наказного атамана графа Сумарокова-Эльсто-
177
на (я ще застал его) был обед. И подали также полоскательницы. Архиерей глядел-глядел на эти чашки с водой, взял и выпил! Разом. А граф тогда, шоб не опозорить архиерея, подморгнул соседям и сам напился тоже. Так я и вспомнил.

Генерал Бабыч облегченно засмеялся вслед за царем, дочери переглянулись, Толстопят мигнул офицерам.

– Ваше величество, – вскочил в паузу Бабыч, – позвольте спросить: наши казаки интересуются, будут ли они иметь счастье видеть своего августейшего атамана.

– Ваш атаман где-нибудь за игрушками...

Нужно было великодушно улыбнуться, и дамы, свита улыбнулись. Казаки расстроились.

Но через десяток минут семилетний атаман всех казачьих войск, в платьице, похожий на девочку, жалобно заглядывал в окно столовой, потом толкал ножкой дверь, припертую кушеткой.

– Папа! – звал он настойчиво. – Открой.

Государь улыбнулся для всех: вот, мол, ваш атаман и будущий правитель.

– У, какой ты. Нехороший папа.

– Ангелочек... – громко вздохнул Бабыч.

В 1875 году таким же маленьким херувимчиком видел Костогрыз нынешнего императора, в штанишках с тесемочками, пухленького, с теми же красивыми

глазами, обвешанного такой заботой, какой и в снах не смогли бы получить казачата.

Государь, видимо, заметил на лице Костогрыза какое-то переживание и спросил:

– И у тебя есть внуки?

– И правнуки, ваше величество. Один внук у вас, сейчас на воротах стоит. Дионис. – Костогрыз заплакал.

– Я его знаю. Хорошо поет и пляшет.

– Та в деда ж. Я всегда перед вашим батьком плясал.

Подали кофе, и государь разрешил курить.

– В честь встречи с вами, ваше величество, закурим по толстой, – пошутил Костогрыз.

Он достал из кисета люльку, намял в горлышко турецкого табаку и под внимательными взглядами великих княжон, дочечек, к которым он испытывал дедовскую нежность, прислонил горящую спичку, пыхнул раз-другой. А для дочек размотал и снова завернул за ухо оселедец. Пускай посмеются.

– Па-апа! – все удивлялся цесаревич, что его не пускают к взрослым. – Откройся! Ну на минуточку. На самую-самую одну минуточку, папа. Поиграй со мной. – Гости глазами просили державного: пустите малютку, ваше величество. – Папа. Никуда твое казачество не денется и в лес не сбежит. – Хохот покрыл столовую. – Эх вы, какие барины, сами сидите, а я один.

Сестра Анастасия подошла к двери, что-то пошептала через стекло и вернулась.

– Вот ты какой, папа! Прямо чудо на тебя смотреть. Слепые глаза у тебя, что ли? Я маме скажу.

– Пустить? – спросил государь у гостей.

– Будем счастливы, ваше величество, – сказал Бабыч.

– Мама моя послала не для того, чтобы я стоял и смотрел на вас, баринов. Мама послала, чтобы поиграл со мной. Что я буду тут стоять, носом ковырять? Мама уже платье надела. Какой ты. Папа. Папа римский.

– Не даст нам покоя, – сказал государь и встал. – Суровый атаман, держитесь, казаки...

Старшая, Ольга, убрала от двери кушетку и подвела мальчика к отцу. Тот взял его на руки.

– Время по телефону разговаривать у тебя есть, – продолжал упрекать наследник царя, – а поиграть со мной время нет...

– Войско твое Кубанское приехало в гости... А какие подарки тебе!

– Ко мне? Ко мне по службе? – Дитя грозно оглянулось на белевших в нарядах сестер. – Ко мне по службе. Вам тут не место.

– Каков служака августейший атаман, а! – подсластил Бабыч и сделал два шага к наследнику.

Отец-государь спустил мальчика на пол:

– Принимай...

Толстомяк стоял сзади и подмечал, как кубанское начальство приноравливается к высшей власти.

– Возьми шашку, – ласково приказал самодержавный отец.

Кудрявый, с полным румяным личиком и смысленными глазками будущий повелитель России стоял в ожидании с протянутой ручкой. Генерал Бабыч, переняв от казака маленькую, с золотой рукояткою шашку и положив ее на вытянутые руки, приблизился, согнулся в поклоне и, приравняв малышку к взрослому («оце носи, ваше высочество, и командуй казачьим войском»), сцепил шашку с пояском.

Казак передал генералу и казачью пику.

– Возьми и пику, – подтолкнул опять словом отец. – Как дорастешь до нее, поведешь в поход на врагов. Что надо сказать?

Дитя вдруг засмушалось и пригнуло подбородок к груди.

– Спасибо, господа казаки, – научал отец. – Передайте, скажи, поклон всем от мала до велика.

– Эти слова мне не по вкусу.

– На то ты и атаман, – придумай другие.

– Благодарю покорно! – выкрикнул наследник и сорвался с места. – Никогда не сомневался в моих славных кубанцах!

– Ну, вот.

– Кланяйтесь от меня вашим семействам. Служите России и мне, – повторял он слышанные слова отца, улыбнулся, взмахнул ручкой и побежал в сад под стеклянной крышей.

Государь и гости последовали за ним. Исполнился всего месяц, как убили премьера Столыпина, могучего защитника самоправства, но ничего не поколебало, видать, уверенности государя в прочности власти; он шутил, на лице не выражалось и тени глубокой потери, или это так принято – скрывать муки души, или у него таких много: ушел один, поставили другого и опять цело-невредимо? Государь изредка приосанивался, откидывал назад голову, покручивая усы; слегка поучал, как управлять Кубанью. Большие брови старили его очень.

– Воспитывайте молодое казачество в преданности. Чтобы юношество получало воспитание в правилах чистой веры, доброй нравственности...

– Усердствуем, ваше величество, – заверял Бабыч.

– Жалоб много пишут?

Неужели министерство двора не кладет жалоб на царский стол?

– Жалобы бывают, – робко сказал Бабыч.

– О чем?

– В основном жалуются на атаманов, полицейских. Самовар вот отобрал атаман, что великий князь, покойный Михаил Николаевич, подарил кормилице Александра Михайловича. Не найдем никак.

– А почему я об этом не знаю?

– Отобрали давно, ваше величество.

– Кормилица Анися, ваше величество, – посмел вступить в разговор Толстопят, – недавно умерла. Мне написали. В Магдалинском монастыре.

– Это прискорбно. Я спрошу у Александра Михайловича.

Говорили еще о предстоящих юбилеях: о столетии Отечественной войны с Наполеоном и трехсотлетию дома Романовых. Бабыч приглашал его величество на Кубань.

– Поохотиться можно? Что на это скажет старый конвоец? – допросил государь Костокрыза.

– Фазана, ваше величество, не стало. Камыш покосили, терен попололи, нема для фазана того причала. И куропатке негде сесть. В семьдесят втором году каждая станица ловила по двадцать пять штук; меня, помню, командировали, я в клетках привез сто двадцать восемь штук живыми для государя в Ливадию, причем некоторые поранены. Уряднику за доставку золотые часы, а мне двадцать пять рублей. Так то ж фазаны! Земли, ваше величество, стаёт так мало, что скоро негде будет и свинью со двора выгнать. А без земли какие мы казаки?

– Не будет казаков? Мой наследник без конвоя останется? У вас на добрую Англию нераспаханных земель. Так, запорожцы.

Затягивать беседу с царем было не положено, но Костокрыз, все подумывая о том, что он в кругу царской милости последний раз на веку, опережая Бабыча, докладывал его величеству о житье-бытье на Кубани.

– Еще сидят у нас около дворов старцы-пластуны на стульчиках. Слышит слепой казак, болотные птицы летят, застонет: «Диточки! диточки! Дайте мне заряженное ружье, я хоть выстрелю туда, где они летят, и то мне легче будет».

– Передайте ему поклон от меня.

– Обязательно, ваше величество. Семьдесят шесть моих лет уже кануло в вечность, с двенадцатым наказным атаманом живу, а есть казаки и постарше. Давно была та Кавказская война. Многие герои полегли в лоне Авраама. Когда приезжал к нам великий князь Михаил Николаевич (то ще он наместником Кавказа был), и поехал он в Закубанье лесными зарослями. А черкесские дозорные на верхушках сидят и криками передают: казаки! А те дальше, в аул. Михаил Николаевич и спрашивает: «Неужели казаки не могут пристрелить?» А наказный атаман: «Могут». – «Ну?» – «Выстрел, ваше высочество, вызовет у них озлобление». – «Прекрасно. Так покажите мне, по крайней мере, искусство казаков в стрельбе». Позвали пластуна, шо сейчас сидит на стульчике в Пашковской. Пришел. В постолах из кабаньей кожи, в поношенном бешмете, шапка на нем лохматая. «Можешь застрелить черкеса на дереве? Что он кричит во все горло!» – «Так точно, ваше императорское высоче-

ство». – «Пристрели». – «Не бей конного, говорят, а бей того, шо с коня слезает». – «Пристрели». – «Как прикажете? Вот так, как стою, возле вас, ни с места?» – «Вот так». Он снял штуцер с плеча, раза два к плечу приложил, на глаз прицелился. Готово! Он в пятнадцать годов стрелял кабану в око за двести шагов. Теперь слепой, болотных птиц слушает.

– Передаю ему через наказного атамана серебряный портсигар. Бравые кубанцы.

– На то воля Божья. Теперь у нас в Пашковке каждый двор имеет друга-черкеса из аула. И коней воровать перестали, и жен наших тягать за Кубань. У меня пол-аула в друзьях.

– Под русским двуглавым орлом хватит простора всем народностям.

– У нас их в Екатеринодаре много.

– Не обижаете?

– Казака в городе нет. Одни офицеры. Персы, турки с товарами в лавках, болгары с овощами, армяне магазинов понаставили, греки кофейни держат. Горько дивиться казаку, как бабы их понаденут на каждый палец штук по десять перстней, ходят как павы, воздушками (веерами) у глаз помахивают.

Бабыч плечом оттирал заболтавшегося Костокрыза, но зря: прием и без того подходил к концу. Все еще раз полюбовались княжнами-дочками, августейшим атаманом, и каждый, верно, сравнивал их со своими детьми, внуками. Натолкали казаки в карманы оставшиеся после чая гостинцы, разобрали на память цветы; конфеты в красивых бумажках будут всю дорогу беречься для внуков, а семена яблок и апельсинов думали посадить, чтобы правнуки помнили, как деды их к царю ходили с медным запорожцем. Потом стали стенкой и дружно пропели «Спаси, Господи, люди твоя». Была, кажется, великая то минута, и потом, через годы, когда вся царская семья погибла, минута расставания так и застыла в глазах: печальные голубые глаза государя, желавшего, чтобы депутация разнесла по Кубани о нем молву, красавицы дочери и вырвавшийся из рук старшей наследник. И мысли Костокрыза о том, что он будет много-много лет лежать в могиле, а эти пятеро, романовского корня счастливицы, будут приезжать и приезжать в Ливадию и глядеть с балконов на море. Он и думать не думал, что им всем не дано будет узнать даже любви, что он на целый год переживет их...

Разоблачение

В начале апреля 1912 года подьесаула Толстопята послали на Кубань для комплектования сменных команд конвоя. 20 апреля на стол командира конвоя князя Трубецкого положили письмо: «В конце 1910 года с моей женою познакомился подьесаул собственного Е. И. В. конвоя П. А. Толстопят. Затем, дабы бывать у меня в доме, сделал визит, на который я ответил. После этого он начал бывать у меня в доме все

чаще и чаще. Я же, имея в виду, что это же офицер, никак не мог даже предположить, чтобы целью его посещения была моя жена. Я не допускал мысли, чтобы офицер, у которого чувство порядочности должно быть прежде всего, осмелился войти ко мне в дом с такою гнусною целью. В феврале с. г. ко мне в руки попало его письмо моей жене. Я потребовал от жены объяснения. Хотя жена и призналась, что Толстопят ухаживает за ней несколько месяцев, но при этом она поклялась, что он благороден и за это время не позволил себе даже малейшей вольности и у них самая чистая дружба. Мог ли я возбудить дело против Толстопята в суде чести? Я бы только скомпрометировал свою жену. А меня суд чести обвинил бы в клевете. Меня теперь обвиняют в неблагодарстве, но в чем оно? Я двадцать лет отдал на служение военному делу, и теперь, когда мне осталось всего дослужить до пенсии два года, меня могут уволить в отставку без всяких средств.

Сначала, дабы сохранить репутацию своей жены, я вызвал подьесаула Толстопята на объяснение и потребовал от него, чтобы он прекратил свое гнусное и неофицерское ухаживание за моей женой и, кроме того, возвратил бы ее письма, но он ответил, что письма жены моей уничтожил, давши при этом офицерское честное слово. Но, оказывается, письма он не уничтожил, а, напротив, по словам жены моей, начал требовать, чтобы она продолжала с ним свидания, грозя в противном случае показать ее письма посторонним лицам. Имея в виду, что подьесаул Толстопят вторгся в мою семью, разрушил ее, обесчестил мою жену и не выполнил честного слова офицера, и находя поступки Толстопята совершенно несовместимыми с понятием воинской чести, я познакомил с ними (после его командирования в Екатеринодар) офицеров конвоя, которые постановили: руки ему не подавать и в доме у себя не принимать и просили меня довести об этом до Вашего сведения. Полковник В-ий»

Не знал Толстопят, блистая мундиром на улице Красной, что через три недели поступило в канцелярию конвоя объяснение и от мадам В.:

«...Тень моего позора падает на моего ни в чем не повинного мужа, которого обвиняют в том, что он, зная о моих преступных отношениях с подьесаулом Толстопятом, не предпринял никаких мер и не сумел защитить чести своей жены. Даю честное слово, что мой муж решительно ничего не знал, в каких я находилась отношениях с названным офицером, и раскрыл только недавно, когда я сама призналась во всем, но при этом поклялась, что Толстопят благороден и за это время не позволил себе даже малейшей вольности. Если бы муж возбудил против Толстопята дело в суде чести, он бы только скомпрометировал меня.

Толстопят казался мне симпатичным и недюжинным человеком, я приняла в нем участие, ввела его в некоторые семьи, где он стал бывать и где я с ним

встречалась. Симпатия наша друг к другу с каждым разом проявлялась все больше. Держала же я себя всегда с подобающим достоинством и гордостью. Встреча за встречей, его полное мной увлечение, предупредительность и любовь вскружили мне голову; его клятвы, целование креста и обещание хранить свято мое имя усыпили мой внутренний голос, и я не устояла. Подьесаул Толстопят – моя первая ошибка в жизни, я им увлечена была настолько сильно, что готова была бросить семью. Хотя я одиннадцать лет замужем, но сталкиваться с подобными субъектами мне не приходилось. Он вошел в душу лестью тонкой, незаметной и добился своего. Может, я и виновата, что приняла в нем участие, что хотела исправить безнравственного человека и наставить на путь истинный, но... сама сбилась с него! Находясь в связи с подьесаулом Толстопятом, я переживала ужасные нравственные муки. Но он все время утешал меня, что не я первая, не я последняя, все так живут.

Его письмо случайно попало моему мужу, по которому он стал догадываться о наших отношениях, но был еще далек от истины, ибо моя одиннадцатилетняя безупречная с ним жизнь заставляла его верить мне, и правду сказать я не решалась. Ради спокойствия семейной жизни я дала мужу слово прекратить всякие сношения с Толстопятом и потребовала от него обратно мои письма, но он их не вернул, а при объяснении с мужем дал ему честное слово, что сжег их. Я снова сошлась с ним, чтобы каким-либо путем вернуть письма, но все мои усилия были тщетны. Он требовал от меня свиданий, угрожал, что опубликует об наших отношениях, и, чтобы сохранить свою репутацию в глазах общества, я подчинялась ему. Я думала, что подьесаул Толстопят, обесчестивши женщину, которой он клялся, целуя при этом крест, что честь ее для него дороже всего, что он готов пожертвовать для нея не только службою, но и жизнью, на этом остановится, но, оказывается, подлости его нет границ. Он это доказал 2 апреля, приславши моему мужу письмо, в котором называет меня распутной женщиной и опять угрожает опубликовать о наших отношениях. Чистосердечно признаюсь тем, кто будет судить, что, увлеченная подьесаулом Толстопятом, я отдала ему самое дорогое для меня – честь мою, и, поверивши в его честное слово, я обманывала мужа своего. Спрашивается, за что Толстопят так жестоко поступил со мной?»

Наказание

Сменные команды конвоя формировались каждый год. Спущенные на льготу казаки прибывали из Петербурга на станцию Сосыка. Тут им производил смотр атаман Ейского отдела, благодарил за службу и распускал по хатам. Уезжают на почетную службу равными, возвращаются тоже вроде все с выгодой, с одинаковыми значками и отличиями, но кое-чей гвардей-

ский сундук прячет особое драгоценное внимание августейшей романовской фамилии. С гордостью грузили отцы те сундуки на телеги.

Такие же огромные гвардейские сундуки стояли наготове у тех, кого уже отобрало общество и офицер конвоя в сменный эшелон, но там, в перегородах, ничего, кроме шаровар, трех пар белья, чужак с ноговицами, башлыка да черной папахи, не было. «Встречали, как архиепископа Агафодора», — любил вспоминать Толстопят в поздние годы, когда уже все потерял. Куда как выгодная командировка! Толстопят путешествовал по станицам, объехал попутно свою родню, пообнимал всех тетушек и двоюродных сестер, засиживался вечерами со старцами и везде выбирал в царскую охрану молодцов. Главное пристрастие у него было к песельникам, и он горой стоял за какого-нибудь баса, просил сбор стариков выделить лишних денег на покупку лошади, если казак страдал бедностью. Ему хотелось подобрать сменную команду небывалого образца, чтобы все последующие офицеры равнялись на строгость Толстопята. А слабость проявить было легко. Жить всем хотелось, умоляли, кланялись, но тут Толстопят являл свою прирожденную властность. На все пускались люди. Один принес откормленного индюка; несколько дряхлых героев кавказской и турецкой войн совали ему в руки нижайшие просьбы. Нет, каменной стеной стоял красивый офицер. И пожалел только бессменного ординарца Александра II, слезно молившего забрать в конвой его младшего внука. Цепляя головой воробыный пух, пролез Толстопят к хате времен черноморских. Боже мой! В сенях олунок муки, кадушка с водой; в комнате, налево в углу, дымовая труба, на деревянной полке чашка с тремя ложками, два чугунок, сковородка, в правом углу на деревянных гвоздях икона Казанской Божией Матери. И три доски вместо кровати.

— Записать!

Коннозаводчик-кабардинец Коцев поставил Кубанской области сорок голов лошадей гнедой масти, и на разгонном посту под Екатеринодаром Толстопят сам отобрал жеребцов конвойным трубачам, двум офицерам, а к Пасхе дал телеграмму князю Трубецкому: «Христос воскрес выбрал вашего сиятельства чистокровных спокойных арабов оба нарядны более двух аршин полтора вершка имею запасе трех рыжих кобылиц для графини Браницкой...»

Но милости не будет, если муж мадам В. отослал жалобу в конвой.

«Вы не проявили офицерского благородства», — скажет командир конвоя.

«Возможно, ваше превосходительство».

«Согласны ли вы на дуэль?»

«Согласен принять вызов. Богу одному известно, какие муки я испытываю. Прошу как милости оставить меня на службе. Лишение гвардейского мундира — позор для казака...»

Предчувствия были нехорошие. Что ж, рано или поздно за все надо расплачиваться. Да казаку ли краснеть за любовные шалости? Отдать ей ее кошачьи письма — и все.

«Фрина! Тарновская! — вспоминал он имена дам, замешанных в процессах, дам, доведших мужиков до разорения, самоубийств или полного краха. — Ольга Штейн — вот ты кто».

Накануне лагерного сбора будущих конвойцев около Пашковской гребли Толстопят получил письмо от мадам В.:

«Дорогой мой, прошло три дня, как я приехала в ваш скучный городишко, но эти три дня показались мне годом без тебя. Я в гостинице «Европа».

Толстопят рассвирепел, обзывал мадам В. последними словами, сметая с души нежнейшие воспоминания о часах, когда роднее мадам В. никого не было.

«Три дня без меня кажутся годом! Тарновская... Это она приехала выпрашивать свои письма...»

Письма Толстопят придерживал у себя как доказательство пламенной любви северной женщины, доказательство самому же себе, казаку, у которого, может, никогда и не будет больше такого романа.

О письмах мадам В. сперва молчала. Он пришел к ней вечером, хмуро сел напротив окна и закурил папиросу. Мадам В. приехала с семилетней дочкой. «Нарочно взяла, — определил Толстопят, — чтобы муж не подозревал». Девочка была славная, с затянутыми на затылке волосиками, очень похожая на маму, беленькая, ничего не понимающая. Она сразу же стала готовить ее ко сну, постелила ей на диване, сунула книжку с картинками. Толстопят смирился немножко, поспрашивал о житье-бытье и, волнуясь от возможности помириться с мадам В. на несколько минут, следил за ее улыбкой, таившей прошлое родство и какую-то лукавую радость нынешнего свидания. Девочка засыпала. Под видом того, что в темноте она заснет поскорее, мадам В. потушила лампу. Ну вот мы и одни, — как бы вздохом сказали они и подождали, кто осмелеет первый. Из гостиницы «Большая Московская» доносились музыка. Она подошла к нему. Женщина чувствует, когда ее прощают. Она прислонилась и обняла его так виновато, что Толстопят улыбнулся и кончиком уса коснулся ее виска. Как прихотливо возгораются и утихают любовные войны!

— Что? Что скажете, многоуважаемая богиня?

— Воля твоя... смеяться надо мной.

— Тебе нужны письма? А где ты прятала мои?

— У меня в будуаре стояла маленькая старая конторка из красного дерева. Подарок на именины. Лакей, передвигая мебель, конторку опрокинул, доску из ящика выбил. Я приезжаю, он зовет меня в кабинет, запер дверь на ключ и подал мне твое письмо. Я насмешливо посмотрела на него. «Ты читал?» — «Читал. И не раз». Я вдруг заплакала. «Можешь думать обо

мне что угодно, — сказала, — моя совесть спокойна. Я люблю этого человека. Чего ты хочешь? Я на все согласна. Я люблю этого человека».

— Не верю.

— Что?

— Не верю, что ты так сказала.

— Сказала.

— А зачем тебе письма?

— На память о том, как я тебя любила.

— Правду говорят: женщина лжет, не замечая. Теперь твой муж обязан драться со мной на дуэли.

— На каком основании?

— В основании дуэли лежит мотив удовлетворения чести. Суд офицеров рассматривает, а потом вменяется поединок в течение двух недель. Тебе бы пора знать, какому риску подвергала ты своего мужа одиннадцать лет.

— Никто не может знать, сколько лет подвергала я его риску. Я буду просить его не драться.

— За каждым офицером — свобода выбора: драться на дуэли или оставить службу.

— Он драться не посмеет.

— Значит, подлежит увольнению. Не смыть нанесенное поругание чести — позор. Офицерская честь дороже жизни. Если он разоидется с тобой, его могут простить и оставить на службе.

— Служба! Самовар, розовый абажур и шерстяное ватное одеяло ему дороже, и правильно. Я не хочу, чтобы вы стрелялись.

Через день он принес ей письма, был пьян, падал на колени, обнимал ее ноги и повторял: «Все погибло... поеду укладывать гвардейский сундук...»

— Мой милый... мой любимый... за что нам так?..

Толстомят верил каждому ее слову, вздоху, восклицанию, пустому состраданию. Женщина скажет и забудет.

«Все! На олени рога в офицерском собрании (подарок государя) будут глядеть другие. Выгонят меня. Я сам уйду. Чтоб мне товарищи не подавали руки? Лучше я в Уманской буду пыль глотать».

Но пьяный он рассуждал так же, как его отец.

Чего бы не служить? Плохо было появляться в Фельдмаршальском зале, на молитве в Феодоровской церкви, в аллеях Боболовского парка? Довела баба. Наказный атаман рекомендовал Толстомята князю Трубецкому как «человека прекрасного, поведения безукоризненного, характера твердого». И служил бы, только дурак не дорожит такой службой. Полковнику пенсия 2700 рублей в год; а уж генералом бы стал, так к дню рождения получал бы телеграммы, какую по-

слал на днях командир конвоя генералу Богдановичу: «Да продлит господь бог надолго вашу драгоценную жизнь нам на поучение родине на пользу». Ни больше ни меньше. А теперь кому нужна эта помятая справка? «Подъесаул Толстомят на Страстной седмице Великого поста говел, исповедался и причастился Св. Тайн». Из книги «Весь Петербург» навсегда выпадет его имя: вроде бы ерунда, а все же приятно увидеть свою фамилию в числе самых знаменитых. Отняла эта жгучая страсть все: и праздники 100-летия Отечественной войны, и на следующий год пышные торжества 300-летия. В январе еще конвойцы сопровождали депутацию монголов; государю везли подарки: три священных трона «бурханюши», шелковые шарфы, четки из драгоценных камней, а, кроме того, для наследника — монгольский нож и огниво. Восемь коней иноходцев изволил русский властелин осматривать в окно, и Толстомят думал: «А что будет через год, на праздники!» Какой-то Дионис или Тимофей Рыло будут сидеть на запятках княжеских карет, а Толстомята забросят куда-нибудь на лагерный сбор в станицу Уманскую, где он будет кричать на атамана: «Ты мне должен честь отдать! Мало ли что ты стоишь на общественном дворе, мерзавец!» Тяжело падать вниз. Если бы мадам В. не отговорила мужа от дуэли, он мог бы погибнуть под пулей. Благородная смерть! Когда закололи шпагой графа Тулуз-Лотрека, газеты писали целый месяц.

В начале августа он последний раз получил кормовые и прогонные деньги «на весь путь следования на родину».

— Плохо ему было на ужинах после бала, — ругался старый Толстомят на рынке, ни перед кем не мог сдержаться и стыда и боли. — Бульон лукулловский, холодное из рябчиков по-суворовски. А теперь куда?

В декабре отец диктовал Манечке почтительную просьбу на имя государя:

— «...Во всякое время я беспощадно приносил свою жизнь в жертву за царя и Отечество и был предан своим послушанием начальству, чем могу доказать наградами за службу. Я имел счастье быть на Дальнем Востоке во время военных действий. Но наконец пробил роковой, бесчувственный моей доли час. Час этот служит теперь укором моей совести и опрокидывает всю мою жизнь. Угрызение совести состарило меня на десять лет. Дайте мне свободно дышать и с людьми быть наравне...» Теперь пиши, в чем вина сына Петра, а потом вознеси молитвы перед его величеством и призови к милосердию...



Виталий КРЁКОВ

ПИСЬМА С ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ

Моя родина дала двух знаменитостей, вступивших в летопись советской литературы. Это прозаик Владимир Чивилихин и поэт Василий Федоров. Оба лауреаты государственных премий, оба из крупных людей советского времени. Советское время прошло, права и запросы стали другими, но знаки личности все-таки знаки, и до нынешнего времени они простираются над умами средних и доживающих поколений. Их читают, ими восхищаются. Молодые литераторы, словно нежные первоцветы, отцветают, уходят в перерывы, а эти лауреаты сформировали жизнь, образовали литературные русла и наполнили их своими произведениями. Память о них дает нам право проводить встречи с литераторами семейного круга и сибирского сродничества.

Суровыми были наши лауреаты. На фотографии и бюстах Чивилихин похож на партийного бонзу. Федоров – барин, да и вел себя по-барски. По природе кровь сильная. Элита сильнейшего крестьянского отбора, культура, так сказать, но подпорченный комсомольским лидерством, сельским политкомитетством. Все рвался величаться москвичом, все к столичному пирогу от земли родимой. Не было бы этого – и от нас степень почтения была бы трогательнее, роднее.

Даже после ухода из жизни они нас объединяют. С ними талантливые земляки обрели высокую столичную трибуну. Их имена дают радость встреч с известными людьми России, нас вместе с ними встречают на просторах Кузбасса, угощают и поят до отвала. Их имена – это праздник души, это форум поколений молодых, незнакомых, пишущих о России. И ориентиром, образцом для многих остаются такие значительные произведения, как поэмы Федорова «Золотая жила», «Проданная Венера», «Седьмое небо» и роман-эссе Чивилихина «Память».

В 2003 году Владимиру Чивилихину исполнилось бы 75 лет. Жаль, что не юбилей, не течение жизни, а всего лишь поминальная дата. Но поскольку Чивилихин большой писатель, то честь нам, жителям земли Кузнецкой, на которой он родился и начал свой жизненный путь. Города Мариинск и Тайга –

это часть его жизни, просторы молодости. Для меня Владимир Чивилихин – это интересное чтение его книг. Я начинал это чтение по журнальным публикациям в «Нашем современнике» и оценивал его вровень с Распутиным и Беловым.

На Чивилихинские чтения зазывали московских. Просили Куняева, обещался приехать Ганичев, звонили Распутину в Иркутск. Всем обещали хорошие проездные и награды за усердие. А вдова писателя Елена Владимировна и внучка Катя входили в обязательный протокол. Но Куняев послал вместо себя Казинцева, своего зама, Ганичев обещал приехать позже на Федоровские чтения, а Распутин оказался очень занятым, за что клятвенно извинялся. В итоге прибыли самолетом в Кемерово вдова с внучкой, Казинцев и Муратов, режиссер киностудии товарищества «Летопись».

Казинцев замечателен. С первого взгляда – человек с пламенной русской душой, ощущает свое отечество, единокровность. Он коренной москвич, речь его русская, самоцветная, до буквы отчетливая, как ветви деревьев в холодной октябрьской прозрачности. Большие люди приезжают. Их опекает местное начальство, и хоть они твои сотоварищи и один билет, но не замай их своими мелкими разговоришками.

Редакторы остаются редакторами. Всегда хочется, чтобы в нашем литературном бытии было бы всегда, как в молодости, трудно и прекрасно, равнозначно строкам Александра Блока: «Идем по живнью, не спеша, с тобою, друг мой скромный, и изливается душа, как в сельской церкви темной». Но в Союзе в любой разговор всегда кто-нибудь влезет, перебьет, ошарашит. Самое серьезное дело обречено на провал. А с Казинцевым очень хотелось переговорить.

Я встречаю у входа в гостиницу «Кузбасс» Бориса Бурмистрова, нашего секретаря, члена правления. Борис встретил гостей утром, всех устроил и действует по расписанию. В гостинице мы узнаем, что внучка Чивилихина Катя уехала на действующую шахту прогуляться по забою. Режиссер Муратов был бодр, но очень обыкновенен. А Казинцев молился на складную церковь (я знал, что он и раньше возил ее в своем походничке). Во время молитв он нас в свой номер не впустил, и мы за дверью слышали, как он читал молитвы: сначала несколько раз Иисусову, потом Богородичные, после апостольские и афонских старцев, закончил нашими оптинскими святыми отцами. Наконец дверь открылась, и вот он, душа моя Александр Иванович, со своими составными усами и бородой, с прямым пробором, разделившим волосы на две части, как на две интересные главы, что меня умилило и стало веселить окончательно. Мы обнялись.

Разговор у нас начался осторожно. Такие разговоры бывают с чиновниками бюджетных департаментов: как бы, не дай бог, за пророненной фразой не пошли просьбы, требование денег, обещаний. Когда на литературные семинары и праздники в Сибирь в качестве представителей толстых журналов приезжают московские гости, они панически боятся местных авторов. Помню, Александр Бобров, руководитель семинара в Новосибирске, в перерывах танцевал, меняя беспрерывно позиции так, что местному пишущему автору приходилось тоже танцевать. Но это был вовсе не вальс и не танго, а что-то особенно хитрое – невольный партнер ломался и отходил в сторону.

В разговоре с Казинцевым я старался сохранить чистоту помыслов. Я ему сообщил, что постоянно читаю журнал «Наш современник», что территория журнала для меня святое место и я не собираюсь вторгаться на нее своими произведениями, так как тираж толстых журналов совсем скромный, гонорары символические, а именитого чванства хоть отбавляй. Вот и теряем молитвенные знаки в литературе.

– Если у тебя есть молитвенные знаки по части публицистики, то давай сотрудничать с нами, с «Нашим современником», – предложил Казинцев. – То, что по линии стихов, это отдел Юрия Поликарповича Кузнецова. Вокруг его отдела все заминировано и пулеметы выставлены. А в мой отдел публицистики милости просим.

– Без пулеметов? – спросил я.

– Да, разве что мелкокалиберными постреливаем, – ответил Казинцев. – А в своем отделе Юрий Поликарпович не дает никому своевольничать, даже самому Куняеву. Бывало, так начнут спорить, что чуть до рукоприкладства не доходит.

– Но молитвенные знаки – они и в живописи, и в литературе, и в Божьей церкви, – сказал я и вручил рукопись своей поэмы «По казачьему тракту».

– Это Поликарпычу утешением будет, я уверен.

И рукопись улеглась в тайничок казинцевского походничка.

В два часа дня гостей повезли в музей на Красной Горке. Я с первого взгляда полюбил дом, где жил Рутгерс. Это строгое сооружение из тесаного песчаника с бетонным литьем, поддерживающим архитектурную выразительность. Подошли к обрыву, полюбовались далями и панорамой города. Казинцев помолился на купол центрального барабана Знаменского собора, сверкавший золотой медью. Фотографироваться не стал, кружилась голова. Не хотелось так скоро уезжать от гостеприимных хозяев, картин, комнат с отделкой из красного дерева, от блеска камина и кафельных печей, но нас ждали в областной библиотеке.

Там все удалось на славу. Выступление вдовы Владимира Чивилихина с одновременным показом на экране живописнейших мест Кузбасса, чтение прозы из книг писателя лучшими исполнителями. А главное, что слово для выражения искренних чувств было предоставлено всем желающим. После пошли гулять по набережной Томи. Казинцев восхищался прелестью наших женщин. Я с ним был согласен. У памятника Кирову стройная красавица в белоснежных капри обратила на нас внимание. Мы с Александром Ивановичем отвесили ей поклоны головами. Она, внимательнее посмотрев на нас, резко удалилась в сторону...

В воскресенье ранним утром все желающие отправились на автобусе в Мариинск. Я с опаской ехал на это мероприятие. Чивилихинские чтения – это разгар лета, а Мариинск не совсем «цветок деревянный на закате деревянного лета». Это просто воображение. ГУЛАГ основательно отравил атмосферу города. В будни он кишит бывшими сидельцами, поднадзорными, подражателями. Мне всегда хотелось его побыстрее объехать, проскочить. А ведь до революции здесь образовывалась другая жизнь. Был собор, синагога, лютеранская церковь, гимназия, училища, кирпичные дома со свежей ажурной кладкой, чистая река Кия с голубыми прозительными тополями, а после Успения Божьей Матери в гимназию шли мечтательные воспитанницы в белых передниках и пелеринах.

В наши дни в Мариинске ликеро-водочный завод, спиртовой комбинат, леспромхоз с лесозаводом да станция. До 75-летнего юбилея Чивилихина три раза проходили чтения и три раза автобус и вереница служебных машин из Кемерова отваливали в зной, духоту и водочное гостеприимство до сердечных приступов и расстройств пищеварения.

Утро было солнечным, приятной свежести. Автобус марки «Мерседес» шел по мариинскому направлению. Казинцев дремал. Москвичи из солидных журналов всегда сонны и вялы, вечно дремлют, чтобы никто не приставал. Проехали Дмитриевку, речку Барзас, и случилась авария: потекло масло. Водители, а их было двое, переоделись в грязную спецуру и полезли под автобус. Я подбадривал Александра Ивановича рассказами о том, что скоро увидим Успенку и Глухаринку.

– Боже мой, – сказал Казинцев, – какой у сибиряков оптимизм, когда автобус растаскивают по запчастям.

Люди терялись в зелени и сразу же выскакивали оттуда, причем женщины с визгом: кровососущие хранители речной сырости ели беспощадно. Через час автобус починили, и мы двинулись дальше. У деревушки Юго-Александровки народ в автобусе дружно завопил: «Леня! Леня!» В автобус вошел Леня Гержидович со своей Нинкой-золотин-

кой. «Это – Леня Гержидович», – торжественно пояснили Казинцеву. Тот мелко перекрестился:

– Странно! И чему так дико радуются? Немолодой, поседевший человек, и с фамилией Гержидович.

И опять задремал. Он не знал и не хотел знать, этот несчастный житель столицы, что Леня Гержидович – яркий знак Кузнецкой земли да и сама кровь моей родины России. С Леней не пропадешь. Леня – это тайга, яркий очаг в гостеприимной избе, вкусная уха, таежные деликатесы: папоротник, мясо ондатры, ягодное питье. Но, прежде всего, Леня – это хороший поэт.

С разговорами проехали Успенку. Промелькнула за окнами Глухаринка. Хорошо попетляв, выехали на Золотой Китат, добрались до Усманки с ее раздольным лугом и грядой густых сосняков. На лугу то здесь, то там паслись гнедой масти кони. Любит красных коней татарва! Вот и граница Мариинского района. Мы выходим из автобуса, и нас встречает фольклорный ансамбль «Веселуха». По кругу плавают жбан с медовухой и свисающими ковшичками под хрусталь. Пиво медовое, крепкое. Ансамбль поет про девицу, про ее косы, грудки и алые губки. Казинцев, правда, не отпил ни глотка. Вдова с внучкой писателя уехали с почетным эскортом. Муратов мелькал с кинокамерой величиной с хороший чемодан.

К митингу у дома-музея юбиляра не опоздали. Мемориал Владимира Чивилихина – это два небольших домика, соединенных общей галереей, черный бюст из тяжелых геологических пород, образовавшихся в глубоком космосе. Торжественная напряженность при ослепительной солнечной погоде, при удручающей жаре, когда лучи просто расклеивали наши непокрытые головы. Да! Лет двадцать назад, а может быть, и того меньше, здесь была пыльная, заросшая сорняками улица. И стояли эти два ничем не приметных домика. Сейчас же по обе стороны от бюста веером стоят женщины в разноцветных хламидах от пурпурного, лилового до салатного цвета, поют:

*Чивилихинские чтения
на земле сибирской вновь.
Чивилихин, Чивилихин –
наша гордость и любовь.*

Митинг ведет молодая женщина. Она торжественна и красива. Это просто Коринна из одноименного романа Жермены де Сталь.

Митинг по времени был равен торжественной православной литургии. Выступали представители областной, районной культуры, гости: вдова, внучка, Казинцев; дали слово литераторам. Уже и ведущая переделалась из длинного платья в брючный костюм. Мимо нас она прошла энергичная, устремленная в дали, где благородные жесты, возвышенные речи,

богатство. Она бросила на нас беглый взгляд, и мы почтительно склонили головы.

Митинг отметили фуршетом в ресторанчике «Кия». На длинном столе было много колбас, жареной в кляре морской рыбы, немного фруктов. К черной икре подавали теплую водку и шампанское. А сама икра была спрятана в такое толстое испечение из теста, ровно жемчужина в раковину, что была почти недоступна.

В целях экономии денег и времени Чивилихинские чтения совместили с Днем города Мариинска, поэтому гостей пригласили пройти по центральной улице с выходом в парк на место массового гулянья. Мы шли мимо новых и старых строений, и кирпичные пятиэтажки, построенные лет двадцать назад для усиления жизни, казались случайным явлением. Здания училища, магазина, хоральной синагоги были освобождены для ремонта, и по узорчатым выступам на стенах местная шпана пробиралась на вторые этажи, ныряя в пустые оконные проемы. Старые здания деревянной гостиницы, бывших заготконтор и учреждений ГУЛАГА стояли пустыми, и мутные стекла окон, как музейные витрины, хранили истлевшую, но когда-то грозную государственную жизнь. По другую сторону, где на широком солончаковом раздолье окончательно захлебывались земли старые избушки, ярко, попетушиному, бросалась в глаза новоделом изба-терем Юры Михайлова, местного берестянщика и артиста.

В Мариинске живет свой Владимир Ильич Ленин. Я видел его не раз, и по улице он ходил всегда стремительно, как в годы революции. Я спросил пожилого мариинца про здоровье Владимира Ильича: что-то его не видно в такой важный для города праздник.

– А ты сам походи-ка в такую жару во всем суконом – живо приступ заработаешь, – серьезно ответил пожилой мариинец.

В последние годы прославился Мариинск своим предпринимателем Кирпичниковым. Этот Кирпичников устроил сеть общественного питания. Выращивал на мясо живность превсякую, кормил сирот и трудных подростков. Для души приютил на своем подворье трех осиротевших медвежат, выходил. Над хозяйством Кирпичникова постоянно парил степной беркут, прикормленный пороссячими внутренностями. Если старец Серафим в Саровской пустыни молитвенно угощал лесного батюшку, то Кирпичников выдрессировал медведей катать его на конной телеге, качаться на качелях, приохотил к пиву. Однажды повзрослевшая медведица Машка «отблагодарила» хозяина, «нежно приласкав» своей лапой. Жена Кирпичникова застрелила ее из ружья.

В парке было тоже жарко. Тонкие стволы сосен, лиственниц и берез тянулись высоко в небо, и тень

на землю отбрасывали условную. Было видно, что употребляется это место редко. На некошеной траве располагалась гильдия мастеров-берестянщиков. Чего тут только не было, начиная от свистулек и кукол и кончая коробами и ларями. Всюду дымились мангалы, жарилось сочное мясо по доступной цене. Оказалось, что город трудной судьбы, во многом обиженный временем, очень сердечен и многонационален. Здесь русские представляли русскими, татары – татарами, немцы – немцами, евреи – евреями, цыгане – цыганами. Кругом семейства, одежды, угощения. У национальных рядов в желудках мариинцев и гостей смешивалась медовуха с фаршированной щукой, чак-чак с немецкими колбасками и пивом. Среди группы молодых цыган, которые не просили, а, излучаясь искрами, плясали, Александр Иванович Казинцев в красной рубашке на выпуск, с петровскими усами и составной бородой выглядел бароном. Потом он исчез, и мы нашли его в глубине парка, пригоршнями уплетающего полевою клубнику.

Праздник в городе тем временем продолжался. И если одна часть присутствующих поглощала беляши, шашлыки, пила пиво, газированную воду, медовуху, то другая на свежеструганых скамейках с удивительно серьезными лицами, в которых сквозила чистота духа, смотрела инсценировки по произведениям Владимира Чивилихина. На сцене в микрофон философствовали изыскатели трассы Абакан – Тайшет с геодезическими приборами в руках, одетые в резиновые болотные сапоги и плащи. Размышляли герои Кедрогора с сельницей, наполненной горькой кедровых шишек. Как-то странно прошли за сцену ратники в стальных шлемах, кольчугах и при мече. Потом выяснилось, что это молодой поэт Белогвардеец-Патшин привез свою группу. Сам он в одежде Нестора-летописца с бронзовой чернильницей и гусиным пером носил постоянно берестяную книгу – шедевр тончайшей резьбы. Это был его самоличный перевод «Слова о полку Игореве». Программу вела та самая Коринна из книги Жермены де Сталь, превосходившая в белых брюках саму принцессу Диану.

Потом хорошо одарили гостей из Москвы: вдову – посмертной премией, Казинцева – за то, что ему в молодости довелось печатать в журнале самого Чивилихина, внуку – за то, что внучка и не боялась спуститься в забой. Наградили и автора песни «Чивилихин, Чивилихин – наша гордость и любовь», а затем стали награждать тружеников города и района. Нас же, литераторов, пригласили в библиотеку на встречу с читателями и работниками библиотечной системы. Уходя, я заметил стоящую у сцены группу молодежи в овчинах и цветных шелковых шароварах.

В читальном зале Мариинской городской библиотеки имени Владимира Чивилихина белый бюст писателя. Но даже в белом исполнении он далеко не большевик и совсем не коммунист – он глубоко партийный. В читальном зале выступали подробно. От вдовы мы узнали, как она совсем молодой девчонкой вышла замуж за серьезного, в очках человека; что писал он графитными стержнями, что не хватало бумаги и на написание романа-эссе «Память» были употреблены старые рукописи, то есть тыльные стороны, чистые от письма; что приезжал он из поездок небритый, потный, заляпанный дорожной грязью. Люди запивали газировкой фруктовый лед, съеденный по дороге из парка в библиотеку, а я подсчитывал, какой величины кусок графита был потрачен на написание романа-эссе «Память» на старых рукописях с тыльной стороны.

Потом выступал Казинцев, вновь потрясая образцами русской речи и произношения. Читал свою прозу Иванов. Гости из Тайги, где Чивилихин вырос, встал на ноги, работал на железной дороге, подарили вдове букет роз из кедрового шпона, а внучке – роскошную шляпу из того же материала, с цветами, выточенными из ценных сибирских пород деревьев. Казинцеву дарили книги. Он кланялся сердечно, благодарил. А поскольку начальства не было, дали также возможность излить свои патристические чувства местным и областным литераторам. Муратов, произнеся коротенькую речь, дальше снимал и снимал своим чемоданом – то с плеча, то ставя его на штатив. Внучку Катю попросили надеть подаренную шляпу. И когда она упокоила ее на голову, вся сверкнула бриллиантом чистой воды. Это чудо продолжилось и за окнами библиотеки – на улицах, полях и даях, где ее дед, трудившийся ради чести своей родины, остался неистребимой частью жизни своих земляков.

Затем все гости расположились в автобусе, собравшись ехать на обед. Если мою рукопись и книгу «Прощание с Астафьевым» Казинцев положил в свой дорожничек, то подаренную стопку книг расположил на самом дальнем сиденье и сразу же задремал. Его, впрочем, тут же отозвали. Сказав, что вернется, Казинцев удалился навсегда. Вообще, когда приезжают литературные гости из Москвы, то общаются они с теми, кто за них платит, и неприлично подходить к ним, задавать вопросы. Так что местные литераторы, даже авторы толстых журналов, со знаменитостями никогда не смешиваются. Вот и нынче вдова с внучкой писателя ехали на легковушке начальника департамента, Муратов с Казинцевым – еще на чем-то, а в автобусе именитых не оказалось. Остались только свои: журналисты, библиотекари, литераторы.

Проехав немного по улице, автобус втиснулся в распахнутые железные ворота. Казалось, что мы

приехали на территорию самостийных мехмастерских. Нам предложили войти в узенькую дверь и подняться по лестнице. На втором уровне двухэтажной пристройки я увидел вывеску, пояснявшую, что обедать мы будем в пельменной. Мы попали в комнату, напоминающую не то тепловой узел, не то слесарку сантехников, но наливной умывальник с чистым полотенцем говорили о другом предназначении. Затем по крутой, без перил лестнице, через откидной люк, словно на чердак, люди влезали вверх и попадали в просторную комнату, торцевой проем которой был забран двойными широкими рамами. В противоположном углу высилась стойка с набором напитков. Горел электрический свет, было душно, а поскольку единственным выходом служил лишь люк, то еще и как-то безнадежно.

В центре комнаты из ряда столов, покрытых бу-
мажными скатертями, создали очаг трапезы. Еда была в основном крестьянская: студень, голубцы, домашняя колбаса, картошка. Как бы плотно ни сидели гости, затруднив движения рук, все равно мест всем не хватило. Очевидно, в верхах что-то переиграли, изменили, ведь недаром Казинцев, выходя из автобуса, не взял с собой подаренные книги (как, кстати, он делал и в прошлый раз). Но вскоре все определилось, все расселись. В люк были подняты ящики с водкой, упаковки с газированной водой. И какая бы ни стояла духота, люди уплетали холодец и колбасу, прикладывались к напиткам под названиями «Веселуха» и «Арчекас».

Напитки были мягкие, огненные, пились легко, так что, несмотря на духоту, пили все. Подавали копченых кур, пельмени. Иванов снаряжал выпивкой свой походничек, но мариинцы – народ славный, сама простота, и все, что осталось от обеда, они упаковали в пластиковые пакеты.

– По дороге в тайге пикничок устройте, – пояснили они.

Народ потянулся к уединению. Рабочие показали, в какую сторону. Оказалось, внутри двора был еще

внутренний двор с открытыми воротами. Там, далеко в глубине, среди бурьянов, которые растут только на хорошо унавоженной земле, белело заветное строение. По сторонам в загородках хрюкали подвинки, а на свободной территории среди высокой травы и свалок железного лома, точно грызуны, шныряли молочные поросята. Только оглядевшись, люди понимали, что это полигон Кирпичникова. Медведи на длинных лапах с острыми кабаньими мордами были настолько грозными зверьми, что казалось, легко разнесут загородь из сварной арматуры. Тут же по соседству, в другой загородке, рвалась в бой пара ротвейлеров.

Сам Кирпичников, худенький едкий мужичок в камуфляже и засаленной афганке, говорил:

– Проходите, проходите быстрее, не задерживайтесь.

Народ к автобусу просто выстреливал.

После гостеприимства у Кирпичникова народ решил освежиться в реке Кии. Автобус подъехал к берегу. Люди спустились в зеленую пойму, заросшую вербой и рядами тополей. И здесь на вольных просторах было много гуляющих горожан и милицеских нарядов. Река была неширокой, уровень воды был по колено даже на середине, и люди хрюсами ложились на дно. Прижимаясь к противоположному берегу, курсировал катерок с палубой и будкой рулевого.

157

Возвращаясь к автобусу, мы видели, как готовили к предстоящим скачкам лошадей, в центр стекались группы фольклорных ансамблей. Тут были мужчины и женщины в возрасте, молодые юноши и девушки и совсем маленькие девчушки со светлыми косицами, в первый раз надевшие торжественный русский наряд. И когда старшие пели, то эти красули, чтобы не запутаться в наряде, поднимали своими ручонками не по размеру подол. Это было наше будущее, наша любовь – Россия.



**Евгений
НОВИЦКИЙ**

НА НОЖКИ ЛУЖА НАСТУПИЛА

ДОЖДЛИВЫЙ СТИХ

Тучка с тучею столкнулась
В хмуром небе как-то раз.
Та обиделась, надулась,
Пролилась дождем на нас.
Дождик долго-долго лился,
А потом внезапно стих...
Вот такой вот получился
У меня дождливый стих!

ТУРИСТ

Рыжий кот мечтал о дальних странах,
Островах, морях и океанах,
Оттого и спал не на диване,
А в большом дорожном чемодане.
И ему всю зиму до весны
Снились туристические сны.

ЛУЖА

Мокрые сапожки
Хлюпают уныло,
Мне на обе ножки
Лужа наступила.
Лужа вот такая!
Ну как море прямо –
Ни конца ни края...
Ой, что скажет мама?

НЕ КЛЮЕТ!

В час вечерний у реки,
Под высокой кручей,
Примостились рыбаки –
Дедушка и внучек.

Скоро солнышко зайдет,
Собираться надо.
Дед вздыхает: «Не клюет.
Экая досада!»

А внучок ему в ответ:
«Что ж тут удивляться?
Ведь у рыбки клюва нет,
Нечем ей клеваться!»

ВСЕМ ПОКА!

– Эх, – сказал снеговик, став на лыжи, –
А весна-то все ближе и ближе!
Вам, ребята, тепло как награда,
Ну а мне его вовсе не надо.
Я дружу с холодами и стужей,
А на солнышке стану я лужей.
На меня не держите обиду.
Всем пока! – и ушел в Антарктиду.

В ЗООПАРКЕ

– Вот, дети, настоящий лев
Из африканской чащи.
– Я тоже Лев, – признался Лев. –
И тоже настоящий.

НЕНАДЕЖНЫЙ СТОРОЖ

– Козел, ответь нам, где капуста?
На грядке почему-то пусто.
Ты что, не охранял ее,
Тогда зачем тебе ружье?!

Козел вздохнул, потом сказал:
– Нет, я капусту охранял.
Ее от зайцев уберег,
А от себя, увы, не смог!

НЕДОБРАЯ ПОДРУГА

Я недобрая подруга,
Укусить могу и друга.
Почему недобрая?
Потому что кобра я.

* * *

Вдоль грядки, где растет морковка,
Бегут улитки стометровку.
Кто первым к финишу придет,
Узнаем только через год!

* * *

Говорит верблюд верблюду:
– Я с тобой дружить не буду,
Ты плюешься, как верблюд.
Разве так себя ведут?

Юрий КЛЮЧНИКОВ

Поэтическая перепалка Воспоминания о М. А. Небогатове*

По окончании университета я был распределен в Кемерово, в областной отдел народного образования, откуда меня должны были перенаправить в одну из школ области. Но мне удалось устроиться в молодежную газету «Комсомолец Кузбасса», где я в итоге проработал два года – сначала в областном центре, а затем собственным корреспондентом этой газеты в Ленинске-Кузнецком. Что запомнилось из этого биографического зигзага?

В Кемерове в 1955-м, еще до знаменитого доклада Хрущева о культе личности, мы с Николаем Алексеевым (сейчас он доктор философских наук, в Москве, в РАН) организовали в газете «Комсомолец Кузбасса» литературный «разгром» некоторых представителей официальной литературы: сами писали и организовывали критические статьи о таких писателях, как Геннадий Молостнов, Алексей Ко-
сарь, воспевавших шахтные терриконы и промышленные думы над городом, считая это символом промышленной мощи. А мы с мальчишеским задором объявили такую символику признаком дурного вкуса. Мэтры кемеровской литературы, в ту пору не имевшие еще своей писательской организации, жаловались в обком ВЛКСМ, органом которого являлся «Комсомолец Кузбасса». Но тоже молодой Николай Троицкий, редактор газеты, нас защитил от ответных нападок.

В то же время мы расхваливали свежие литературные ветры Кузбасса, представленные именами Михаила Небогатова, Игоря Киселева, Евгения Буравлева. С этими тремя я встречался и взаимодействовал, хотя сам по себе никакого литературного веса среди писателей того времени не представлял. Но молодые амбиции меня распирали сильно.

Расскажу о них по порядку.

С Михаилом Небогатовым мы столкнулись впервые в 1944 году. Я, в ту пору подросток из литературного кружка в Ленинске-Кузнецком, по-

слал в областную газету «Кузбасс» подборку своих стихотворений, среди которых было «Маяковский в раю». Само стихотворение забыл, сюжет его сводился к тому, что находящийся в раю советский поэт с возмущением читает стихи земных продолжателей поэтических «молчановых». И были в моем труде примерно такие строчки:

*Стихи благополучны и покаты,
Как пролитый на стол холодный чай.
Их написал какой-то Небогатов,
С водой чернила спутав невзначай.*

Через полмесяца получаю ответное стихотворение. Свой полудетский опус забыл, а этот хлесткий ответ помню наизусть:

*«Я уж в раю» – и слава богу,
Он вам, ужом, конечно, рад.
Чего ж вы подняли тревогу,
Как будто забурились в ад?*

*Наверно, ангелов вам мало,
Пугали б их своим баском.
А нас зачем кого попало
Поганить старческим песком?*

*Гляди, еще загробным душем
Окатите землян, как бес.
Тогда мы ваш покой нарушим
И стащим за ноги с небес.*

*Что прятаться под небесами?!
Дадим перо и чистый лист.
И скажем так:
– Пишите сами,
Оптимистичный скандалист!*

*Марайте лозунги-летучки,
Переливайте их в стихи,
Пусть вам помогут эти штучки
И наши замолит грехи.*

Через десять лет, когда я уже работал в «Комсомольце Кузбасса», мы с Михаилом Александровичем встретились у него на даче. Вспомнили эту поэтическую перепалку, посмеялись.

– Я думал, на меня какой-то старик наехал, поэтому высказал свои соображения насчет «старческого песка», – шутил Небогатов. – Если бы знал, что критикану тринадцать лет, написал бы ответные стихи покороче и полегче. Что-то вроде «выдрать бы пацана-стихоплета...».

Общение с М. А. вспоминаю тепло.

* Глава из книги «Предчувствие весны. Воспоминания и размышления поэта о времени и судьбе» (Москва: «Беловодье», 2017).

Сергей ЧЕРЕМНОВ

ВАСИЛИЙ ПОПОК. «НЕ БЕССТРАСТНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ ЖИЗНИ...»

«В детстве я был не то чтоб хулиган, а так – «самоутверждающийся» парнишка. Дерзил взрослым и очень собой гордился». Так написал о себе Василий Попок, вспоминая детство и юность, проведенные в кузбасском городке, где стоял маленький дом его родителей с огородом и всякими положенными в частном секторе стайками, заборами и дощатыми туалетами.

Многие соседские пацаны стали простыми работягами, кто-то, как водилось, рано спился, иные пошли по скользкой преступной дорожке. Василию Борисовичу повезло: рядом с ним в нужную минуту оказались настоящие учителя жизни. И свой талант он не закопал и не распылил, а взрастил, отточил и пустил в дело, став журналистом, редактором, писателем.

1.

Василий родился 1 февраля 1946 года в городе Топки. Уклад жизни семьи с детства приучил его к сельской страде: по весне – копка земли, посадка картофеля, летом – уход за грядками, осенью – уборка урожая. Поэтому всю жизнь Вася любил в свободное время ковыряться в земле, оттого часто жил на природе, в деревне.

«Последнее время я живу нараскоряку (прошу прощения за такое неблагозвучное слово): день-два, иногда неделю – в городе, потом столько же в деревне, – напишет он о себе. – И летом и зимой. Золотой осенью и слякотной весной. Старая, едва ли не столетняя моя изба стоит на угоре, близ речки. Выйдешь из сенец и смотришь на белоствольный березовый лес на том берегу. А он, живой и растущий, вглядывается (это Геннадий Юров навел на мысль) в праздного меня...»

Учился Вася в начальной школе, что на улице с названием Дёповская. В эти годы уже многое попробовал из того, что положено и не положено пацанам: первое курево, книжки с запретными картинками, нешуточные разборки «по понятиям»... Спокойный и уравновешенный с виду, крепкий мальчишка, был он упрямым, очень не любил, когда его обижали, и не прощал обидчиков.

В 1964 году получил аттестат о среднем образовании, завершив учебу уже в топкинской школе № 1.

Не сбиться с пути парню помогали хорошие люди, которых в его судьбе было немало. Об одном таком человеке он расскажет позднее в журнальной заметке «Ужасный Покидов»:

«...Раз я нахамил в кинотеатре чужаку, а он оказался не только прокурором нашего маленького сибирского городка, но и мужем Раисы Васильевны – нашей новой математички. Внутри запекло стыдом, но признаться в этом на глазах у восхищенных приятелей было стыдней. И меня, как говорится, понесло...

Хорошо, рядом случился прокурорский сослуживец по фамилии Покидов. Как звать, теперь уже и не помню, но слыл он в приклатненной подростковой среде ужасным и непостижимым человеком, потому что считал наших кумиров, готовивших себя к романтической воровской жизни, за жалкую шелупонь. Впрочем, Покидов и настоящих блатных в грош не ставил – ловил, не боясь ни ножа, ни обрезка, и сажал беспощадно...

Страшный Покидов вывел всю компанию в фойе, меня за шиворот, ткнул пальцем куда-то под ребро – так, что дух перехватило, и ласково спросил, «чокай» по-чалдонски: «Ты чо, малой? Это чо ж из тебя будет? А ты чей вообще-то? Отец-то есть? Лупит?»

В той жизни меня лупили несколько раз. Однажды, когда, еле оправившись от воспаления легких, затеял гонки на сбитых костылями шпалах через лужу, которая всякую весну возникала на пустыре около железнодорожной линии. Понятно, не удержало скользкое судно – врюхался в воду по грудь. Мать не стерпела и, прежде чем пустить к печке отогреться, дала пару профилактических «горячих» скрученным полотенцем. Второй раз тоже досталось от мамы, и повод был посерьезнее, но это, пожалуй, не для публичных воспоминаний. Все равно Покидову гордо было заявлено: «Нет!» – и это было почти правдой.

«Ну, тогда я поддам», – совсем ласково сказал следователь и еще раз ткнул железным пальцем в онемевшее тело. Спасибо Раисе Васильевне – выручила – и отпустил меня страшный мент. Но, что называется, «сфотографировал» и потом при встрече (а они в городке-с-ноготок случались часто), бывало, возьмет да и подмигнет... Наверняка теперь знаю, что у Покидова был я не один такой. Стопроцентно педагогичными его методы вряд ли назовешь, да и вообще, не его было, наверное, дело возиться с ребятейней, и к тому же вышел он из «неправильной» милицейской школы, потому что – советской. Более того, при Сталине ту школу кончал, но факт есть факт – ни я, ни мои тогдашние приятели на опасную дорогу блатной романтики не встали».

Запомнился, значит, твердый перст, указавший путь законопослушания. Вот такими были его «топкинские университеты».

После окончания школы Василий решил поступать на историко-филологический факультет Томского государственного университета. Почему не в Кемерово, который отстоит от Топок всего-то на три десятка километров? Может быть, именно эта привычная близость малой родины к кузбасской столице и сыграла свою роль: хотелось скорее вырваться из-под родительской опеки, уехать подальше. Да и сам старинный город поманил своей богатой историей.

Но если о томском периоде своего высшего образования Василий вспоминал часто и хорошо, то о другом – иркутском – рассказывать не очень любил. А ведь был в его жизни и такой отрезок, когда он учился на филфаке Иркутского университета.

Свои писательские и журналистские способности он начал оттачивать, еще обучаясь в «высших школах», – в студенческих многотиражках. Была в биографии молодого парня и срочная служба в Советской армии, которая, как не без оснований считали в то время, закаляет характер и учит жизни. А он уже не представлял своей жизни без журналистики.

«...Сорок лет я проработал в разного рода периодических изданиях. В основном дома, в Кузбассе. В его газетах. Если не считать небольшого времени, проведенного в ранней молодости на Севере – в радиоредакциях Таймыра и Ямала», – с гордостью говорит Василий в своих воспоминаниях.

Как журналист и литератор он много и часто печатался в разных газетах и журналах, столичных и местных. Редакторы публиковали его с удовольствием – ценили за образный слог, убедительность в выстраивании аргументов и фактов, за яркую публицистичность.

2.

Но первые по-настоящему крепкие статьи и заметки Василия Попка увидели свет на страницах газеты «За коммунизм» (с 1990 года – газета «Мой город») в шахтерском городе Березовском. Возглавлял тогда издание редактор Владимир Чворо. Собственно, именно он создал эту газету в Березовском и 30 лет беспрерывно руководил ею. Он же организовал в городе кружок литераторов.

В этом кружке откристаллизовался замечательный талант поэта Леонида Гержидовича. В редакции березовской газеты прочли свои первые стихи известные теперь кузбасские поэты Владимир Иванов, Николай Колмогоров, Владимир Соколов, Юрий Михайлов. Позже все они стали членами Союза писателей России. Со временем членом СПР стал и бывший литсотрудник этой газеты, автор книг Василий Попок.

В этой же редакции в те годы трудился известный ныне российский писатель Виктор Владимирович Королев, из-под пера которого вышли такие популярные книги, как «Пушкин и Аракчеев», «Генерал Милорадович», «По следам Пушкина», «Шляпа камер-юнкера» и другие.

В березовской газете Королев тоже начинал литсотрудником:

«В семьдесят третьем я приехал с Дальнего Востока в молодой город-спутник областного центра, – рассказывает Виктор Владимирович. – Газета называлась «За коммунизм». Мы тогда уже ясно видели, что «коммунизм все так же близок, как в восемнадцатом году», но город строился быстро, уголек шел на-гора, люди трудились с радостью. Суровые люди – шахтеры, строители, водители – они верили в лучшее, любили город и местную газету. Тираж ее рос.

В редакционной комнате нас было пятеро. Примерно одного возраста. Молодые, амбициозные ребята. Все мечтали стать писателями. И, что удивительно, все пятеро стали. Вася Попок – мэтр кузбасской журналистики и поэзии. Володя Иванов первым из нас (помоему, даже раньше Лени Гержидовича) издал книгу стихов... Володя Соколов работал потом в Кемеровском книжном издательстве, автор четырех поэтических книг.

Редактором был Владимир Денисович Чворо. Абсолютно легендарная личность. Он умел все: писать, убеждать, рыбачить, ругаться, поощрять. Он давал нам полную свободу. Лишь по вторникам собирал всех на планерку. Приходи, показывай, что создал нетленного за неделю. Из расчета двести строк в каждый номер».

Вот где закалялся талант Василия Попка! И герои для очерков находились, и от обиженных фельетонных персонажей редактор в горьком партии неистово защищал его и других своих подчиненных...

Здесь Василий впервые в жизни спустился в шахту. Здесь узнал тонкости труда строителей, благо строили тогда так много, что и сейчас до тех темпов достать не могут.

Чворо воспитал целую плеяду талантливых журналистов, в которую однозначно вошел Василий Попок – и на этот раз ему повезло с учителем.

Благодаря Владимиру Денисовичу, в газете росли и трудились известные кузбасские журналисты Анатолий Шишкин, Николай Кузнецов, Игорь Алехин, Лариса Леконцева, Ольга Гилева, Ирина Николаева, Валентина Цыбо, Ирина Щербаненко.

Вспоминая свою журналистскую молодость, Василий Борисович повествовал в одной из недавних заметок на страницах «Моего города»:

«...Когда я собирался в Березовский, мне сказали про Чворо, что он цыган. А он оказался круглоголовым и круглотелым здоровячком, ничего цыганского: остатки волос – русые, а глаза светлые и веселые.

В его газету (а она была его – он создал ее с нуля) я попал двумя заходами. В 1967 году был заход как бы пробный, на пару месяцев. А спустя пару лет – основательный, на десятилетие.

Газета только-только обживалась в городе. Собственно, и город был какой-то необжитой, не вполне город: пара поселков при шахтах и район Октябрьский,

состоявший в основном из щитовых одноэтажных домов, которые по кособоку поднимались к тайге...

В редакции меня встретили приветливо. Объяснили, что отныне я литературный сотрудник отдела культуры и быта с месячным окладом 80 рублей, с перспективой гонорара в червонец, а жить буду в рабочем общежитии с другим литературным сотрудником, из промышленного отдела, – Володей Ивановым. Но первый березовский эпизод моей жизни пролетел как-то быстро и незаметно.

Начну со второго захода, с возвращения в редакцию. Оно, впрочем, было похожем на первое. Поменялся только отдел, в котором я начал работать, – меня направили в промышленный отдел. Все остальное осталось прежним. Ну, кроме некоторых людей. Ушли взрослые сотрудники-мужики, кто куда. Остался Чворо и две трудолюбивые женщины – Татьяна Уланова (она же жена редактора) и Елена Соколова (она же жена председателя исполкома). Еще машинистка Люда. И мы – околодвадцатилетний народец, который Владимир Денисович учил и научил работать не оглядываясь на выходные.

Сорокалетний, нам он казался стариком. Мы его уважали и побаивались. Так было, пока мы сами малость не заматерели, и уже не надо было никого подгонять, никому ничего подсказывать. Благо газетных тем и поводов для публикаций, в массе своей производственных, было полно и еще сверх этого «полно».

Чтобы мы стали матерыми, Владимир Денисович придумал систему газетных рубрик и график их сдачи. За неисполнение начислялись штрафные баллы, за хорошее исполнение – плюсики.

Первое время мы выли и ругались, но потом смирились, привыкли и почувствовали, что можем и умеем. Потогонная «Чворина система» дала свои результаты, газета вышла в самые толковые в Кузбассе среди городских, и уже к нам стали присматриваться заезжие редакторы и «сватать» на свою сторону...

Контора была дружной, жила вполне семейной жизнью, мы были в курсе всех проблем друг дружки. Редакционная молодежь стремительно женилась, рожала детей, вселялась в новые квартиры, по большей части первые в своей жизни, которые помогал выбивать редактор. Чворо явно наслаждался ролью патриарха, разрешая конфликты, миря и благодетельствуя.

Мы читали книжки (редактор выдвинулся в число главных книголюбов города), писали стихи, выпускали забавную стенгазету, выезжали на природу, когда только-только начинала проклевываться колба, отчаянно веселились по праздникам прямо в редакторском кабинете, а наш шеф не отставал от молодежи и смешно клеился к нашим женам и еще не женам.

Мы были довольно способными ребятами, вокруг редакции постоянно табунились местные литераторы, и в конечном итоге трое из нас: Володя Соколов, Володя Иванов и я – стали не только приличными журналистами, но и вполне ничего себе поэтами и писателями. Га-

зетная поденка, закалив нас, творчески не высосала и не засушила...

Продуктивными остаемся по сей день. Не исписались. Сегодня мне кажется, что так получилось из-за Владимира Денисовича: ему нравилось живое слово на газетной полосе, а нам нравилось, что ему нравятся наши тексты...

3.

Школа редактора Чворо очень пригодилась Василию Попку, когда он сам стал редактором газеты. Он, может, и не хотел становиться начальником в небольшом журналистском коллективе. Но кто же нас тогда особо спрашивал?!

Его вызвали сначала на беседу в Кемеровский сельский райком партии. Он заупрямился. Тогда его пригласили в обком партии, где твердо прозвучало модное в конце 1970-х в СССР слово: «Надо!» И он стал редактором сельской газеты Кемеровского района «Заря».

Что ж, эту работу он уже знал изнутри. Просил от подчиненных интересных и острых материалов, чтобы «в газете было что почитать». Учил «глубже вникать» и до конца разбираться в острых вопросах, учитывать разные точки зрения, пусть даже и невыгодные автору. И так же, как Владимир Денисович, бурно отстаивал в партийных кабинетах точку зрения своих корреспондентов, а значит, позицию газеты по самым разным проблемам.

Вот что вспоминает об этом периоде жизни Василия Борисовича известный журналист-ветеран Виктор Сохрев:

«Мы познакомились тогда, когда он был редактором сельской газеты «Заря». После угольного Березовского он быстро освоился в новом направлении и свободно ориентировался в проблемах, разбирался с жалобами и критикой селян.

На многих полевых станах, в колхозах и совхозах его встречали, излагали проблемы, просили о заступничестве. И редактор «Заринки», как ее называли, становился арбитром в споре, писал статьи в защиту селян, доказывал. И учил работать молодых коллег, чтобы они разбирались во всех тонкостях, изучали суть проблемы и не допускали ошибок...»

В прежние времена действовал неукоснительный закон: районка должна прийти к читателю в любое время года строго по графику. В мире не может быть причин для невыхода очередного номера – такого в кузбасской журналистике просто не бывает. Это с развалом страны старые законы журналистики перестали действовать, что удручало ироничного, острого на слово матерого журналиста В. Попка.

«Деревня, где я теперь живу, большая. Село на полторы тысячи человек. Есть своя почта. Газетных подписчиков здесь около сотни, – пишет Василий Борисович во вступительной статье «Мы были и остались вездесущими» к книге «Журналистика Кузбасса: строки истории» (Кемерово, 2008). – Спросом пользуются газеты объяв-

лений и сканвордов. И всякие специализированные, вроде «Моей усадьбы». Областной «Кузбасс», даже цветной четверговой, с телевизионной программой, выпускают немногие. Таких адресов около десятка. В их числе сельсовет и школа.

В затыжной Новый год мне «Кузбасс» вообще не носили. Объяснили так: газета из редакции не вышла. Загуляли, дескать, журналисты и про работу забыли. Тоже, мол, люди. И смешно, и грешно. С одной стороны, я почтарей понимаю: разве ж охота по морозу из-за одной газеты тащиться на дальний конец деревни? С другой, за товарищей обидно: работали, чего-то там писали, фотографировали, секретариат трудился, художник на Рождество просто-таки до иконописи поднялся, а тебе говорят – из редакции не вышла.

Признаюсь: поскандалил я. И с той поры газету носят строго регулярно: три раза в деревню почтовая машина приходит и три раза – во вторник, четверг и субботу – получаю родной «Кузбасс»... В годы, когда начинался мой журналистский путь (целую жизнь назад), мало-мальски похожее равнодушие к прессе представить было невозможно.

Газет и журналов выходило, конечно, по сравнению с новыми временами немного. Это сейчас глянешь на газетный киоск – глаза вразбежку. Да все такое цветное, вызывающее и зазывающее. А тогда было несколько центральных во главе с «Правдой» и «Огоньком», пара областных и районная или городская «сплетница»; ну, еще многотиражные на крупных предприятиях. Все они до ухода на растопку или раскурку прочитывались от заголовка до выпускных данных. Две-три газеты выписать на семью – это обычно, это норма. И даже литературные журналы вроде «Нового мира», «Знамени» и быстро набравшей популярность «Юности»...

Так что работы у почтарей, ходивших «с толстой сумкой на ремне», было очень много. А общественный статус газетчиков и газет стоял очень высоко. Редактор городской или районной газеты – обязательно заседатель в местном верховном органе власти, в бюро райкома или горкома. И депутат соответствующего Совета. То же и в области: даже заведомо газеты (в отделе всего-то два сотрудника вместе с заведующим) или такого же ранга работник радио и телевидения – «номенклатура» обкома партии, его кандидатуру специально рассматривают в синклите главных людей Кузбасса, задавая разные каверзные вопросы, и утверждают голосованием. Про столичных руководителей прессы молчу – те вообще небожители».

Вообще-то Василий Борисович несколько лет и сам был членом партии. Свообразным, конечно. К партийному уставу относился критически. Мог не подчиниться решению большинства, если считал его неправильным. При этом в 1980-х годах работал заведующим отделом промышленности в областной газете «Кузбасс» – печатном органе обкома КПСС, был секретарем партийного бюро редакции этой газеты.

«В старом «Кузбассе» иерархия была поэтическая, – вспоминал он летом 2021 года работу в главной партийной газете области. – Первый этаж – столовая и отдел писем, куда стекалась вся почта (очень обширная!) редакции. Второй этаж – хозяйственный, и там же был бар. Можно было не только кофейку употребить с булочкой, но и кое-чего покрепче. Третий – проходной. Через него ходили в типографию. Управление газетой велось с четвертого этажа. Там был редактор.

Пятый – экономический и информационный блок. Шестой – идеология: партотдел, советы (не советы по домоводству, а Советы народных депутатов), культура и всяческая пропаганда. Идеографы, описатели директивно спущенных сверху идей и указаний.

Пятый этаж явственно презирал идеографов. Там жили углем и металлом, сельскохозяйственными кампаниями и экономическими проблемами. А они пропадали на партийно-профсоюзных активах».

4.

Когда в стране во второй половине 1980-х началось «закипать» в результате перестройки, затеянной Горбачевым со товарищи, Василий всей душой поддержал новые веяния. Ведь в пору застоя в редакции партийной газеты все говорили о необходимости перемен.

А когда начались шахтерские забастовки, появились рабочие комитеты, тут уж и Василий Попок со товарищи от разговоров перешли к делу – решили выйти из КПСС и создать свободную, независимую газету. С ним были его коллеги – журналисты Дмитрий Шагиахметов и Владимир Шишватов. Должности они себе придумали такие: соредакторы (чтобы никому не было обидно). Как ни странно, КПСС, которая в то время принимала решения об открытии новых СМИ, разрешила соредакторам газету. Они назвали ее «Нашей...». «Нашей газетой».

«Летом 1989 года начал с соратниками редактировать «Нашу газету». Однако после ряда конфликтов с коллегами поставил это издание полностью под свой контроль», – писал Василий Борисович в своем блоге на ЖЖ, который он назвал «Вредный старикашка».

«Наша газета» была общественно-политическим изданием. В 1989 году, во время шахтерских забастовок, в Кемеровской области на многих угольных предприятиях и в городах возникли рабочие комитеты. Для информирования граждан о своей деятельности им потребовалась своя газета. Ею и стала «НГ».

Датой рождения «НГ» считается 11 декабря 1989 года. Первые выпуски газеты имели название «Союз трудящихся Кузбасса». Под крышей нескольких многотиражек (НПО «Карболит», Кемерово-промпострой, Кемеровской железной дороги) вышли первые девять номеров. Десятый вышел уже отдельным самостоятельным изданием в феврале 1990 года.

Газета была злободневной, острой, смелой. Отдельные ее выпуски вмещали до 20 полос. К лету 1990-го тираж «НГ» перевалил за 100 тысяч экземпляров. 18 октя-

бря 1990 года газета была зарегистрирована как российское издание. Она распространялась по подписке, в розничной продаже, а также на промышленных предприятиях области.

В своем интернет-блоге В. Б. Попок вспоминал:

«Мы гордились «Нашей газетой». Особенно «золотым веком» ее, вместилившись, впрочем, в два неполных года. Начавшись 11 декабря 1989-го, газета после оглушительной победы демократии в августе 1991-го по-прежнему свертывала свою независимость...

Какими бы мы потом ни стали, как ни разошлись пути наши, но были у нас совместные два года «Нашей газеты». Счастливые годы. До них жили в регламентации партийной прессы: шаг влево, шаг вправо – расстрел. А тут, что называется, оттянулись в 1990–1991-м... Но все это было потом. А поначалу газета стала первым в Сибири изданием свободной журналистики.

...Брали читателя разными рискованными материалами. Ну, к примеру, главкой из «Архипелага ГУЛАГ» про Ново-Черкасск. Опасными рассуждениями про КПСС. Разоблачениями экологических нарушений. Политическими штудиями московских лидеров общественного мнения. Экономическими размышлениями про «региональный хозрасчет». Рассказами, как оно там, «за бугром». И почти не редактируемыми, иной раз с ненормативной лексикой читательскими письмами: народ ругался на тормозную перестройку, торопил власть, хотел жить лучше, сытнее, веселее, бездефицитнее.

Мы много зарабатывали и первыми в Кузбассе обзавелись компьютерами и перешли на электронную верстку. В редакции появились хорошие машины. Мы стали ездить по стране и брать интервью у знаменитых людей. Наш новокузнецкий корреспондент Миша Гревнев всю Прибалтику исколесил, сам Ландсбергис стал его почти что приятелем.

О нас вещала радиостанция «Свобода». Великий диссидент Алик Гинзбург выпустил в Париже приложением к «Русской мысли» факсимиле наших заметок. К нам заезжали профсоюзники США и профессора Колумбийского университета. Мы ручкались с коллегами из СМИ всех континентов. Эх, было время!»

Через два совместных года работы соредакторов их пути разошлись. Попок ушел из «НГ» в 1991-м, хотя газета прекратила свое существование в начале 2000-х.

5.

Ветеран журналистики Кузбасса Владимир Михеев, много лет отработавший в областной молодежной газете «Комсомолец Кузбасса» (в 1991 году сменила название на «Кузнецкий край»), в той самой газете, куда и перешел из «НГ» работать Василий Попок, писал:

«Результатом окончательного прозрения соредактора Попка стал уход в корреспонденты. Не вдаваясь в объяснения, он предлагал особо дотошным представить газету в образе всадника без головы. Недотепам пояснял:

– Без головы может быть всадник. Но не лошадь!

Стало быть, и в карьерном самоотречении Василий был первым, оставаясь тем не менее в седле».

Во времена, когда личность, порода, штучность, измелчав, перерождались в элементарную тучность, журналист и публицист Попок только прибавлял. Речь, уточняет Владимир Михеев, понятно, не о живом весе Василия Борисовича, а о весомости его выступлений.

Попок расследует и пишет, говоря то, что думает, называя героев – героями, а воров – ворами. Широта его творческого диапазона огромна. Вот лишь некоторые выдержки из его публикаций.

«Игра в шахты»:

«Некоторое время тому газетные экономисты удивились волне банкротств, внезапно накрывших наши крупнейшие предприятия. Потом подвели под вал разорений теоретическую базу. Во-первых, сами предприятия суть «социалистические монстры» и, стало быть, в рыночных условиях работать не могут. Не обладают должной гибкостью. И вообще, любой советский промышленный гигант – это «гроб с музыкой»...

...Проходит год-другой плевков и пожиманий плечами на предприятия-банкроты, а потом оказывается, что их взяли под свою опеку именно те, кто их ругал «гробами». И кто, подозреваем, изо всех сил добивался их банкротства. А еще добавим, что все это происходит в общероссийском русле перераспределения собственности...»

«Запах с моря»:

«...Подумаешь, полста дачных коттеджей отхватили себе ребята на казенные деньги. Каждый всего на три комнаты. Мелочь... Однако полсотни «домиков», во-первых, строились не близ нашей комариной тайги, а на побережье Черного моря, в курортном местечке со знаменитым именем Тамань».

«Харизмы»:

«...Любая попытка проверки исполнения областного бюджета за 1993–1994 годы (так она и не состоялась) квалифицировалась как подрыв демократических устоев. Ревизии, проведенные Счетной палатой, всячески дезавуировались, независимость аудиторов ставилась под сомнение, и в конечном итоге ни одно (!) предписание выполнено не было. То, о чем сегодня написано в «Сводном протоколе», который подвел итог двухнедельного бдения на рельсах Транссиба, тянется из вчерашнего дня. Мертвый вцепился в живого. И пора кончать с этим».

Он в открытую называет в своих публикациях имена и фамилии. Среди его «героев» и первые лица региона – те, кто не брезгует брать из областного бюджета себе в карман.

О его острых публикациях знают не только в Кузбассе, но и в столице, его статьи печатает московская газета «Завтра», внештатным корреспондентом которой он стал. Вот как об этом сообщается на страницах газеты в январе 1998 года:

158

«В Кемерове начал работу наш собственный корреспондент Василий Попок... Автор... – не бесстрастный свидетель жизни региона, а активно влияющий на ее течение. Василий Попок – известный в Кузбассе журналист, человек бесстрашный и прямой. В одной из осенних публикаций «Завтра» уже рассказывала о том, как местные мафиози взорвали квартиру этого журналиста, пытались запугать его, принудить плясать под свою дудку. Это им не удалось».

Нарушителям закона смелые публикации Василия Попка, конечно же, не нравятся. Отсюда и череда устрашающих акций в отношении самого журналиста. Самая громкая – ночной взрыв входной двери в его квартиру в многоквартирном доме. Эту акцию преступники провели 4 октября 1996 года. Подробности того устрашающего теракта изложил на страницах федеральной газеты «Труд» ее собкор Юрий Котляров в заметке «Бомба для журналиста». Написали об этом и другие издания. А один из блогеров прокомментировал так: «Любой прикинь на себя – взрывают вашу квартиру. Таким образом как бы говорят: остынь, парень. Иначе... И у Попка интересовались: как оно подействовало, поправочки какие-нибудь будут внесены в принципы репортерской работы? Но он отвечал, что стресс, конечно, был. Но у него есть испытанные средства против стрессов. Сперва хорошо вмазать с друзьями, потом рвануть в предгорья Алтая, пошататься по диким сопкам, а по приезду... счастье все случившееся высшим признанием профессионализма».

Но сочувствовали далеко не все. Кто-то радовался, правда, втайне надеясь, что Василий уймет свое острое перо. Были даже такие, кто считал, что журналист сам пытался взорвать себя – для пиара...

Правоохранительные органы наладили следствие, но злоумышленников так и не нашли.

В конце января 2010 года в селе Топки был обворован загородный дом Попка: через взломанную дверь вынесли только компьютер (ноутбук), основное рабочее орудие человека, зарабатывающего печатным словом. К этому времени Василий работал обозревателем областной газеты «Кузбасс». Воры проигнорировали массу других привлекательных, компактных и легко реализуемых вещей. По данному случаю тоже было возбуждено уголовное дело. Оперативники Топкинского уголовного розыска отработали все «деревенские» версии – безрезультатно.

В ночь на 10 марта 2010 года этот загородный дом Попка вообще сгорел. По счастливой случайности журналист не пострадал, из огня его спасли соседи, заметившие огонь. Большая часть имущества погибла при пожаре. Сам он считал, что причиной пожара стал поджог, связывал случившееся со своей профессиональной деятельностью. Опять возбудили дело. Однако и в этот раз следствие не дало результата.

Одних удивляла эта странная закономерность: расследования, связанные с Попком, заходят в тупик, ибо

ведутся по фактам возбуждаемых дел, а не по следам его выступлений. Другие иронично шептались: а что вы хотите?! В таких журналистах, как Василий Попок, сейчас заключен и партийный, и народный контроль, и «Прожектор перестройки», и ОБХСС в одном флаконе. Геройствует – вот и получает...

А для него выше всего была ответственность за слово. Ведь свой авторитет журналист и публицист выковал, «борясь с авторитетами, возмнившими себя хозяевами жизни». Он шутил, что лишает их сна и покоя, поэтому они орудуют бессонными ночами.

Известно, талант человека питает его малая родина. Про Василия давно придумана рифма: Попок – из Топок. Его друзья шутят: «Родись он не здесь и не в первый послевоенный год, а, скажем, в период расцвета Египта, мир знал бы не только секрет загадочной улыбки Сфинкса, но и конкретно, в цифрах то, насколько подрядчик-строитель надул Хеопса».

Он, как опытный «следак», въедлив и дотошен в своих исследованиях изнанки жизни. А потом так логично и образно излагает факты – зачитаешься. Недругов бесит талант журналиста и его смелость – особенно. Однажды ночью они крупно написали на бетонном заборе напротив редакции: «Попок – сволочь!» (без мягкого знака, торопились, видать). Василий побежал к редактору: «Не вздумайте забелить!» Говорят, вид из окна кабинета воодушевлял журналиста на новые публикации.

6.

Все, кто не знал близко Попка, считали, что мэтр не спит, не ест, а только расследует и пишет, пишет, пишет... Но любому таланту нужна подпитка, передышка (релаксация, как сказали бы сейчас). Для этого у Василия Борисовича была любимая отдушина – путешествия.

Много ли мы знаем наград, учрежденных в честь известных любителей странствий? Например, существует знак «Путешественник Руаль Амундсен. Полярный исследователь», медаль имени Н. М. Пржевальского. А в честь нашего земляка названа медаль «Василий Попок – журналист-путешественник». Ее учредил Кемеровский областной Союз журналистов России, Кузнецкое отделение Русского географического общества и Общество юных краеведов и путешественников «Кузбасс».

Награду изготовили в начале 2016 года – к 70-летию Василия Борисовича. К тому времени Попок уже успел поработать собственным корреспондентом журнала Федерального Собрания «Российская Федерация сегодня», не уставал сотрудничать с газетами «Кузбасс», «Земляки» и другими изданиями. Уже умеренно отдавал дань любимому Бахусу и активно вел свой блог «Вредный старикашка» в ЖЖ. Не пропускал ни одного мало-мальски важного события в Кузбассе, печатными и непечатными словами реагируя на них, отстаивая свои позиции и свою честь.

Например, блогеру «Комментатор40», который назвал его «прогубернаторским ресурсом», «Вредный старикашка» ответил так:

«Признаться, никогда не скрывал симпатий к Тулееву. Мне он и сегодня представляется мощной и деятельной фигурой. Нападки на него – щенячьи, не имеющие серьезных оснований и тем более обоснований. Но указаний, что и как писать, он мне не дает. Да я их и не принял бы. Так что – мимо тазака».

Здесь же, в блоге 28 января 2016 года, он написал по поводу медали своего имени:

«Коллегам душевное спасибо! До юбилейного дня, понедельника, еще несколько дней. Но публикация – вовремя. Ведь она накануне долгожданной пятницы».

Теперь эту медаль вручают особо отличившимся юным журналистам, начинающим путешественникам, уже успевшим совершить значимые походы и восхождения, а также ветеранам журналистики и туристического движения. Кстати, первые медали имени Попка получили победители VI областного фотофестиваля «Мир вокруг нас».

Вообще-то туристом-путешественником Попок стал далеко не сразу. В начале далеких 1980-х, сообщил много путешествующий Виктор Сохарев, Василий очень удивился, «как это я сочетаю работу с походами, и интересовался, зачем это мне надо – уходить от цивилизации, заниматься туризмом, ходить по темным и сырым пещерам, преодолевать горы и бурные реки? На тот момент он хоть и отлично представлял себе область, но пока еще не стремился отправляться в сложные путеше-

Мы после этого не виделись несколько лет. Вернувшись в Кемерово, я узнал, что Василий сам увлекся туризмом, да так, что начал сплаваться по бурным рекам страны. По-прежнему любил Кузбасс с его красотами. Отправлялся с друзьями в сложные сплавы по Терсям, Казырам и прочим порожистым рекам. Преодолевал трудности и закалялся как турист и как журналист».

Василий Борисович – человек основательный. Поэтому к поездкам или речным сплавам готовился загодя, обсуждал с друзьями маршруты, прокладывал их по картам.

«Январь на исходе, – пишет он однажды в своем интернет-блоге. – И, живя по принципу «готовь телегу зимой, а сани летом», пора строить планы на летний отдых. Предложу свои программы. Много раз испытанные. Они состоят из водных путешествий по кузбасским рекам. «Дикарем». На лодке-резинке. На пластиковом рафте. На туристском катамаране. На любых плотках, вплоть до забытых деревянных».

Последний месяц лета – самый, на мой взгляд, благодатный для таких путешествий на волю-вольную, в комфорт палатки и тепло живого кострового огня».

Август для Попка имеет массу плюсов: «Августом не так буйствуют человекоядные насекомые... Обвальню поспевавшую таежную ягоду – на всех этажах лесов и полей

одновременно можно брать смородину, красную и черную, жимолость, чернику и бруснику... Должно сюда добавить грибы, созревающие кедровники и всегдашнюю рыбалку».

Он много лет именно август провел на многочисленных кузбасских реках. И не осталось в регионе, пожалуй, ни одной, даже самой мало-мальской речки, на берега которой не ступила бы его нога и про которую он не написал хотя бы и двух строк.

«Это реки в основном горные (в том числе Томь) и довольно быстрые. Но чересчур опасных препятствий на них нет, исключая разве что Хомутовский порог на Мрассу, «трубу» Бельсу, чисто спортивные Казыры и Тебу и в большую воду верховья Верхней и Нижней Терсей. Все остальное превосходным образом преодолевается на простой резиновой лодке. Но, конечно, в любом варианте без бравады, поскольку утонуть можно где угодно, даже в ванне».

Думается, в этих путешествиях он не только закалял характер и тело, но и лечил свою душу, уставшую от журналистских схваток с разной нечистью. И наслаждался, напиваясь красотой сибирской природы.

«...Говорят, созерцание речных струй омывает душу и человек после путешествия по реке возвращается в мир безгрешнее младенца. Слово «мир» здесь я пишу по старой орфографии, ибо в этом варианте оно означает земную часть Вселенной, а в новом правописании омографично миру как состоянию покоя».

У каждого человека в жизни должна быть *река*, был уверен Василий Борисович. Неважно, большая или малая. Главное, чтобы иметь возможность сверять по ней, по ходу ее течения ход и течение собственной жизни. «От ледохода до ледостава. И до нового ледохода. Не зря ж предки остроги с лиственничными заплотами да и просто мирные поселки с поскотинами ставили по берегам, на мысах, откуда широко и далеко видно, чтоб знать, друг или враг течет по речным струям».

Или вот еще: «Река – навсегда. Люди это сознавали очень хорошо: народы приходят и уходят, а реки остаются тысячелетия...»

Он не просто так ходил в горы, сплавался по сложным категорийным рекам Кузбасса, Алтая или Хакасии, ловил хариуса на перекатах, ночевал в палатке, загорал на берегу или запивал настоящую уху горячительным напитком – он писал об этом замечательные заметки и очерки в газеты и журналы. Писал так образно и вкусно, что, читая Попка-путешественника, будто сам поглощаешь эту уху или лежишь на прибрежном речном песке.

«Мы валяемся в раскаленной палатке, поставленной в хвосте взлетного поля: тут, за границей горячего бетона, травка и кусты. Мы попиваем из пластиковой бутылки квасок, подаренный аэропортовским начальником Владимиром Петровичем. Время от времени лазим через дыру в колючем заборе купаться. На Кондому. В речке плавают темно-зеленая рыбка и невидимые пескари прохладно щекоют ноги...»

А еще, как филолог, он любил исследовать названия тех мест, где случалось побывать. В его публикациях на эту тему можно узнать о многих топонимах Кузбасса, Хакасии, Алтая. Вот, например, его «Рассуждение о речном имени»:

«Если кто-нибудь скажет (а говорят постоянно и упорно), что имя реки Мрассу переводится с «древне-шорского» как «желтая река», не верьте. Это было придумано братьями-литераторами, и один из них (помнится, это был Олег Павловский) даже книжку написал «Мрассу – желтая река»...

...Шорцы произносят имя Мрассу как Прас или Пыр-ас. Это характерно для их языка: «м» равнозначно «п», вот, к примеру, гора Мустаг на некоторых географических картах вслед за шорской народной фонетикой маркировалась как Пустаг. Поселок Мундыбаш вполне узнаваем, когда звучит Пундыбашем, а гора Патын, по-видимому, запросто отзовется на Матын».

Всем, кто впервые встречался с Попком – большим на вид и на вес, он казался нерасторопным, неуклюжим, может, даже ленивым человеком. Но внешность эта была обманчива. Конечно, с годами мало что осталось от того поджарого топкинського паренька, который мог запросто промчатся во главе ватаги по крышам гаражей или перемахнуть на спор железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Но та детская легкость, с которой он мгновенно мог собраться на любой пацаний подвиг, осталась с ним на всю жизнь.

«Кто, к примеру, мог откликнуться на просьбу (просьбу, не приказ) редактора и пробиться через тайгу на «шишиге» (народное название модели ГАЗ-66) в Хакасию? – вопрошал на 70-летию Попка бывший редактор областной газеты «Кузбасс» Виктор Кладчихин. – На суд, на котором готовится неправый вердикт над другом газеты «Кузбасс» Мишей Шевалье? Кто вместо турецких песков отпуск проводил в таких условиях, как, к примеру, на Чибите, в Горном Алтае, у черта на куличках? Кто бывал на прииске Богом Дарованном (дореволюционное название), про Агафью Лыкову не говорю – это банальность! Кто?! Ну конечно, Попок!»

7.

В большой журналистике и настоящей публицистике есть одна неизменная традиция – написание книг с изложением того, что волнует журналиста, о тех, с кем сводили творческие дороги, и про то, где бывал и что видел. Василий Борисович приумножил эту традицию. Кроме многочисленных очерков, путевых заметок, рассказов – он еще автор литературных книг и книг очерковой публицистики «Кто нас накормит?» (1990), «Посолонь» (2002), «Деревенский дневник» (2003), «Путешествия с друзьями» (2006).

Первую из книг он написал, еще будучи редактором районной газеты, в ту пору, когда любая погода для советского села была, как шутят теперь, неблагоприятной. Уже прошла первая волна шахтерских забастовок, Совет-

ский Союз еще уцелел, но трещал по всем швам вместе со всей своей экономикой. А политика... А что политика? Тогдашний новый губернатор Кузбасса уже порассуждал публично о вреде копки всем миром колхозного картофеля. Отсюда, наверное, и родилось громкое название – «Кто нас накормит?», в которое укладывается не только вечный вопрос, но и вся философия деревенской жизни.

Он же эту деревенскую жизнь знал до каждой мелочи – и снаружи, и изнутри. Потому так трогательны и достоверны в его повествованиях сельские обыватели с их нескончаемыми проблемами. Вот всего лишь один пример – из рассказа «Смерть Валерки». А умер этот герой из-за того, что отвернулась от него любимая жена Розка, с которой прожили душа в душу полтора десятка лет и которая «не раз в драку лезла разнимать».

«Валерка уже в разодранной рубаше, уже арматуру по половчей, по руке, в куче строительного мусора выбирает – она, как тигра в стадо, в дерущуюся кодлу влетит, кого матом, кого когтями за морду, кого тупфлей в лоб, всех разгонит к чертям и ведет всхлипывающего Валерку домой, вытирая ему платочком поочередно то кровь, то сопли...

Так они и жили. А потом поругались. Пятнадцать лет не ругались – и вот тебе. Обсмеяла Розка мужа за мечты его никудышные, за татуировку на пальце и вообще сказала: никакой, мол, ты не мужик, а так – говновоз колхозный.

Валерка в чем был, в том и ушел к матери. Нелка равнодушно его приняла: «А, ты пришел?» – ей не впервой было сыновей от жен принимать, пускай живут, а там, глядишь, помирятся.

Неделю Валерка пил по-черному. На работу, правда, ходил. И Розку там видел. Но не разговаривали.

Накануне как умереть, вечером, пришел с фермы мрачнее тучи. «Смеется!» – сказал матери про Розку. Всю ночь ворочался и садился курить у открытой печки.

Утром оделся, вышел на двор, дошел до калитки и упал... На вскрытии оказалось – обширный инфаркт, несовместимый с жизнью».

Не отсюда ли известные шутки Попка типа: «Не надо смотреть на мир слишком трезво – сопьетесь?»

Его книга «Путешествия с друзьями» – не о том, как люди валяются в шезлонгах у бассейна отеля в Турции или еще каком курортном месте, а о путешествиях с палатками. О романтике речных приключений – с плотами, катамаранами, гитарами. Когда есть только ты и дикая природа вокруг. И, конечно, верные друзья!

Поражают глубокие рассуждения автора о смысле жизни, о месте человека в окружающем мире:

«Мы очень уязвимы внутри машинной цивилизации – как самая незащищенная ее часть. А от нетронутой природы, когда-то считавшей человека столь же своим, как птицу в небе или зверя в лесу, люди нынче дальше, чем от Москвы либо Нью-Йорка. Туда можно добраться, были б деньги, а вот в лоно былой, нежелезной, непромышленной, неэлектрической и нехимической гармонии никогда не вернуться.

Однако очень тянет. Это, наверное, инстинкт. В детстве мы уходили в лога и овраги, морщинами исчертившие городскую окраину, и на их мокром, сочащемся торфяной водой болотном дне ставили себе убежища – из жердей, прикрытых осокой. Это называлось «балаган»...

Язык литератора Попка сразу запоминается и потом узнается безошибочно – настолько он сочный и образный:

«...Представьте, что вы идете сплавом по верховьям какой-нибудь речки, где ни души. Ну, разумеется, если считать бездушными эти темно-синие плесы, играющие пеной перекаты, стоящие высокими валами и проваливающиеся пенными ямами пороги. Или эти грандиозные каменные осыпи и наклонившиеся над ними глыбы базальтовых останцев. И кедры, подпирающие небо. И снежники сахарной белизны. И остроглавые, брильянтово искрящиеся на солнце ледовые пики, время от времени возникающие в узком речном створе каньонного типа. И ниточки водопадов – оттуда, из-под облаков, где в поднебесье, близ не видной отсюда вершины – озеро.

И отнюдь не без души эти красующиеся для вас молодые, только с гнезда, коршунята, пикирующие в игре друг на друга, парящие навстречу с внезапными поворотами (как «МиГ» в боевом развороте – свечка вверх и круто назад), когти выставлены в грудь партнеру – поостерегись! Или эти выдры и норки, бесследно исчезающие в валунах и прибрежной растительности на расстоянии вытянутого весла. И криквы, проносящиеся со свистом пули по-над рекою. И чуткие, хотя и подслеповатые лоси, выходящие на водопой, капли – кап-кап-кап с мохнатой морды: вот мать-лосиха почуяла близящееся наше присутствие, грохот падающих камней, треск насмерть ломаемого подлеска – нет их, будто привиделись. А это бурая медвежья семейка, вышедшая половать рыбу и поиграть на галечном пляже...»

Вчитываясь в его строки и пытаешься взглянуть вокруг себя глазами автора, уловить движение его души, которая не может нарадоваться безграничному ходу времени и бегу пространства.

«Ну ладно, вот и вы, хозяйева мира, здесь. И вас немного, двое или трое в одной лодке (ну, не в лодке, а на спортивном катамаране), и река раскручивает перед вами свою ленту, всякий раз новую, проходи вы тут хоть каждый год или месяц, и всё вкуче – совсем другая жизнь, не городская, и другое ощущение времени – просторно-природное, с ходом, задаваемым темпом ее, природы, бытия, а не универсально, унифицированно поспешливое и суматошное человеческое».

8.

Мастер слова, Василий Попок требовал мастерства и от других. Не терпел слабых заметок от подчиненных в пору редакторства – заставлял переписывать. И в последующей жизни графоманство ему претило.

Зная его любовь к слову, редакция «Кузбасса» поручила ему вести литературную страницу газеты. Это немалое приложение – четыре полосы большого формата – несколько лет выходило регулярно. И здесь ярко проявился еще один талант Попка: он оказался умным литературным критиком, тонким ценителем и исследователем творчества кузбасских писателей и поэтов.

Многих из них Попок знал лично: сживал с ними за одним столом, работал в газетах, сплавлялся по рекам. Но это не мешало ему быть объективным к их произведениям.

«Запалю на вечернем берегу костер и сяду, «привалившись к потемкам спиной», – это значит, Володя Соколов из темноты зашел, – пишет он в своих заметках. – Надеваю в морозный день шубу и лохматую шапку – иду «застегнутый в тепло» на пару с Владимиром Ивановым. Увижу увал, заросший всяческой притаежной травяной дурниной, – и «застегну себе душу желтой пуговкой пижмы» вместе с Леонидом Гержидовичем. По листопадной осени прогуляюсь, возникнет Александр Ибрагимов, набормочет на ухо: «Октябрь. Классицизм аллея очерчен колоннадой тополей. Последние влюбленные, ау, ладони подставляют под листу. И каждый лист, упавший в этот раз, один из нас, один из нас...»

«...И тут перейду как бы на другую сторону улицы, – отчетливо скажет он затем. – Почему запоминаются те, а не иные? Почему строфа из классика завязла в душе рядом с приятельской строчкой? Объяснение проще простого. Стало быть, земляки-поэты не хуже прославленных и уже как бы забронзовевших современников».

Бывало и так, что некоторые из земляков страшно обижались на его рецензии, отправляли жалобы в высокие кабинеты. Типа – запретите Попку оценивать наше творчество, кто он такой?! А как запретить Попку думать, писать, размышлять, оценивать? Ведь все это для него смысл жизни. Делайте лучше, не принижайте уровень культуры Кузбасса, сообщает он в ответ.

«И еще один бросок – в переулочек. Речь, разумеется, о поэтах, а не о тех, кто себя называет ими. Потому что обиходный поэт – это скорее маска или даже поза. «Ты кто?» – спросишь вон того, вертлявого, как Королев, в клетчатой кепочке и кружевном жабо. Ответит: «Я поэт. Не видишь, что ли?»

К его анализу литературы Кузбасса специалисты, думается, еще не раз вернуться. Точность его оценок, аналитичность суждений просто поражают. Возьмем для примера статью Василия Борисовича «Шестидесятник» Гарий Немченко».

«Нет, – размышляет автор. – «Семидесятники» не звучит. Все это летоисчисление, начавшись «шестидесятниками», ими же и кончается. ...1970-е годы в литературе были как-то преснее и невнятнее, а в жизни совпали с временем «застоя» и ничем особенным не проявили себя. «Восьмидесятников» вроде бы не существовало и вовсе. А «девяностников» никому в го-

лову не пришлось выделять – эти кошмарные годы были наполнены такими непонятными, нереальными общественными и житейскими катаклизмами, что и вспомнить про них не хочется.

Гарий Немченко, конечно, «шестидесятник». По жизни и литературе.

...Кодекс чести «шестидесятника» – Сибирь или Север.

Певец-бард Юрий Кукин, недавно ушедший из жизни, по «шестидесятничеству» наш земляк – ходил в геологической партии по Горной Шории. Писатель-ленинградец Глеб Горышин в Горном Алтае работал после университета, в молодежной газете автономной области. А Гарий Немченко – в многотиражке «Металлург-строй», на строительстве Западно-Сибирского металлургического комбината.

...Первый роман про Кузбасс – это роман о Новокузнецке. Александр Волошин писал его, еще не сняв фронтовую гимнастерку. И что характерно – роман тут же получил Сталинскую премию, и его заглавие «Земля Кузнецкая» стало синонимом слова «Кузбасс». И поэтическим вариантом бюрократического наименования «Кемеровская область».

Кстати, Немченко – один из творцов истории Новокузнецка. Автор, поднявший самосознание новокузнецчан на недостижимую высоту. Моя самая любимая вещь у Немченко – рассказ «Хоккей в сибирском городе».

День рождения Гария Немченко почти что совпадает с Днем металлурга. Писателю и почетному новокузнецанину (он награжден знаком «За заслуги перед городом Новокузнецком») исполнилось 75 лет. Не побоюсь казаться банальным, сказав, что этот сибиряк кубанского рода столь же юн сердцем, как низший чин советской журналистики – молоденький выпускник журфака, пришедший на великую стройку.

Стройку, которая вывела его в люди и в первоклассные писатели. Как их называли? Ага – «шестидесятники»!

9.

Василий Попок – философ, пытающийся примирить себя со своим возрастом. Ему не хочется стареть, а значит, отставать от жизни. Он спешит за ней, он равняется на жизнь, он обгоняет ее.

Говорят, размышляет он, человек проживает за отмеренное ему время несколько жизней. В разные свои периоды он разный. В юности – один. В зрелости – другой человек. «Но наша пресса вовсе не стареет вслед за мной, – радуется он. – Нет. Она всегда молода. Просто она постоянно меняется, становясь читателю не только учителем и наставником, но и другом. Посмотрите на киоск печати – в глазах пестрит от разнообразия глянцевого обложек. Разве можно, видя такое, говорить о крахе прессы?»

Равно востребованы радио и телевидение, которые тоже меняются следом за временем. Во многих квартирах сегодня кабельное телевидение – сорок и больше каналов. Даже в нашей деревне стали появляться круглые «уши» спутниковых антенн. И вовсе молчу про мобильную связь (набрал простой номер – и слушаю новости) и интернет – всеохватную паутину, живущую своими законами, не подконтрольную никому. Так что, сожалея (наверное, прежде всего о молодости), не жалею. Новые времена поют новые песни».

Грустно и нам, ведь Василия Попка не стало. Он ушел 18 августа 2021 года, совсем недавно встретив свое 75-летие...

Снова вспомним слова Владимира Михеева, который определил: «Теперь ясно: Попок – имя, к которому нечего добавить. Разве что этимологию, согласно которой попок – сноп, который служит завершением сельской соломенной крыши. По-моему, Василий Борисович сиять заставил заново этот элемент, увенчав им правый фланг кузбасской публицистики».

Таким запомним его и мы – стоящим на вершине журналистики Кузбасса и гордо вглядывающимся в ее будущее, во имя которого он и прожил свою жизнь.



ИСКРЫ ШАХТЕРСКОЙ ПОЭЗИИ

1

Шахта – шанс прикоснуться к подлинной тяжести труда, отчасти неблагодарного, чрезвычайно необходимого... Не с адом ли проассоциировать подземные глубины? Но поэт-шахтер Н. Бацевич видит другое:

*Два лезвия шахтерских глаз во тьму,
И вскрыта тьма лучом шахтерской лампы...
Теперь я понял точно, почему
Я буду петь шахтерам дифирамбы!
Мы, пэтэушники, безусые юнцы,
В забой пришли, претерпевая страхи,
И мы рубили уголь, как отцы,
Пот утирая подолом рубахи.*

Туго и крепко сделанные стихи Бацевича словно срез опыта, полученного им за годы труда, опыта черногого, сильного, низового.

Но стихи всегда – от вертикали, и сами они незримая, метафизическая лестница к сияниям высот. Так, Бацевич, трактуя шахтерскую тему, видит именно световые факторы, зажигаемые не только стихом. Но мир свой, экзистенциальный опыт выражает он именно через поэтические линии. В стихах Бацевича много задора, молодости, напряженных мускулов:

*Я вспоминаю молодость вчерашнюю,
Когда за черным золотом, как в бой,
Бесстрашно мы бросались врукопашную,
И был нам фронтом угольный забой!*

Но есть в его стихах и печаль, связанная с делом жизни, вернее с двумя: шахтерской явью и поэтическим делом.

*На копре закрутились два колеса –
На погосте заплакала чья-то краса.
Как ни прискорбно, но, увы,
Он с незапамятных времен,
Тот уголек, что жжете вы,
Шахтерской кровью окроплен.*

Хроника шахтерской жизни интересно и ярко разворачивается Бацевичем – своеобразным поэтом, к голосу которого стоит прислушаться.

2

Поэт-шахтер Александр Курицын в неменьшей мере, чем горняцкую долю и труд, воспевал мудрую, тихую природную красоту – подлинно русскую; и ассоциации, возникающие с живописью Левитана, в данном случае вполне уместны.

Но нерв шахтерского бытия в большинстве произведений поэта бился особенно сильно, и напряжен-

ная эта пульсация звенела нитями подземного космоса:

*Нас позвало в забой не богатство.
Нам судьбою иное дано.
Мы – шахтеры, подземное братство,
В трудный час мы всегда заодно...
Потому что такая работа
И характер шахтерский такой,
Что не «киснет» от боли и пота,
А искрит, как гранит под киркой.*

Метафоры ярко играли искрами, рассыпанными щедро в недрах строк; опыт, полученный в глубинах земли, претворялся своеобразными картинками:

*...А ты идешь, размеренно шурша
Замызанной брезентовою робою.
Она как панцирь, а под ней душа
Мятежная, ранимая и добрая.*

Доброта, определяемая как сущность бытия и бытования, есть высокая мера восприятия реальности. Нынешняя – слишком сбита, чтобы прислушиваться к поэтическим голосам; тем не менее голос А. Курицына был ярок и силен...

3

Бесхитрость правды крепка, как спирт:

*Я пас коров в березняке,
В крушинном логе.
Я ноги грел в коровяке,
Босые ноги.
В грозу от хлесткого дождя,
Стального града
Меня, как юного вождя,
Спасало стадо.*

Технологическая нынешняя жизнь словно далека от правды; опыт, вложенный в стихи Д. Клёстова, – природный, естественный, как дыхание, на котором поются стихи.

Шахтерский вектор его поэзии очевиден – жизнь дала такой опыт:

*Мы в старую шахту пробились забоем,
Бабахнули взрывом над вечным покоем.
Разбойное эхо ответило глухо
Величием гордого русского духа.
Где золото рыли мятежные предки,
Мы ставим стопами узорные метки.*

Живопись поэзии Клёстова яркая, играющая красками, но краски эти вынуты из плазмы реальности и, переосмысленные опытом таланта, обретают иное значение. Слова его звучат намеренно сильно – чтобы пробиться к огрубелым нынешним сердцам.

Д. Клёстов творит необычное из обыденного, и стихи его крепко вписаны в реальность. Вот так же нужно обладать изрядной крепостью, чтобы вершить шахтерский труд.

4

Штольни глубин, бездны шахт, где натужность труда связана с насущною необходимостью жизни.

Антиэстетична ли глубина подземелья, дающая плоды руды?

Погромский, Шутов, Нечипорук, Медведенко...

Шахтерские поэты, познавшие подлинный черный хлеб труда, переключившие собственный экзистенциальный опыт линиями строк.

Гроздь судеб – различных, объединенных многогим...

Тютюнник, Мостовой...

Разумеется, они по-разному трактуют предложенную реальность, но и общее есть – в мироощущении и ощущениях познавших хлеб и тяжесть жизни поэтов.

Их стихи, как правило, бесхитростны и вместе с тем правдивы – тою мерой, какая не позволяет усомниться в подлинности.

Боль за отечество горит в поэзии шахтерских поэтов. Но и радость жизни радугой разливается в недрах созвучий. Общее – и разное...

Стихи Тютюнника тяготеют к глобальному осмыслению яви, в то время как, скажем, Мостовой в большей степени конкретен.

Человек труда в последние годы подвергается низвержению, если не осмеянию, тогда как героем становится человек спекуляции, человек денег.

Но есть кому высказаться и за человека труда, и поэзия шахтерских поэтов тому примером.

5

У А. Медведенко – стихи бойца. Они ярко настроены на волну противостояния – обстоятельствам, нюансам яви, которые могут превратиться в серьезные проблемы:

Порой бывает:

беды за бедою
берут в такой железный оборот,

что кажется,

сейчас отдам без боя
добытую нелегкою ценою,
одну из завоеванных высот.
Оставлю все!

Сбегу!

Себя укрою!

В покой, в уют куплю за грош билет!

Покой не должен вовлекать в уютную свою ловушку. Только противоположность ему – порыв – может организовать подлинность поэзии. Во всяком случае, у Медведенко – так.

Ясность – сочетание крепкой мысли и точно переданного ощущения – одна из характерных примет его поэзии:

Я искал тишины.

И наткнулся в лесу на блиндаж.

Я не понял, он вражий или наш

С той великой жестокой войны.

И насунулась мгла из вершины пригорка,

Потекла на прогнувшийся и рухнувший сруб.

И вцепился корнями в него

изувеченный дуб,

До того искорежен – глядеть было горько.

Тишина противоречит бою; жизнь – чередование, пласты одного, наползающие на пласты другого, и зависит жизнь чаще всего не от нас. Тем не менее преодоление – сила сил,двигающая поэзию, и в стихотворении Медведенко с одноименным названием говорится так:

Последние почти иссякли силы.

Свело уста. Не шаг уже – шажок!

Но встал отец навстречу

из могилы

И твердо приказал:

– Держись, сынок!

Так – держась всегда, из последних сил – только и можно делать что-то значительное.

Александр БАЛТИН,
г. Москва



ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ ЖУРНАЛА «ОГНИ КУЗБАССА» ЗА 2020 ГОД

СИДИМ НА ОДНОЙ ВЕТКЕ

В 2020 году журнал отметился двумя приметными ляпсусами. Литература, как известно, делится на три рода: лирика, эпос (проза) и драма. А комедия И. Назарова, определяемая им как «административно-фантастическая пьеса», почему-то попала в раздел прозы. При этом, мне кажется, вряд ли она найдет своего благодарного читателя ввиду слишком большой говорливости персонажей при незначительности поднимаемых ими тем.

Второй ляп возник из-за убежденности корректора в том, что слово «директор» мужского рода (с чем, конечно, не поспоришь). И вот в документальной повести И. Германа «Миссионеры и язычники» в том месте, где директор Светлана Сергеевна беседует с посетителем, мы в нескольких местах читаем: «директор сказал» и т. п., а это режет слух. В данном случае надо все-таки писать: «директор сказала»*.

Впрочем, отдельные погрешности не умаляют общего приятного впечатления от журнала, ценность которого еще и в том, что он, будучи официальным органом, служит эталоном качества на фоне многочисленных самодеятельных изданий.

Сравнение с другими региональными журналами, например с «Бийским вестником», во многом тоже может оказаться в пользу «Огней Кузбасса», где печатается более солидная, социально-проблемная проза – как художественная, так и документальная.

Но вот в чем «Огни Кузбасса» проигрывают, так это в части литературной критики, которая в нашем журнале редко поднимается выше комплиментарного уровня. Вероятно, это связано с нынешней слабостью в Кузбассе литературоведческой школы.

Есть несколько авторов, которые регулярно пишут на литературно-критические темы, отзываются на публикации, на выход новых книг. Так, Вячеслав Елатов весьма опытен в литературе, но живет прошлым, из статьи в статью монотонно восхваляя достижения социалистического реализма.

Молодая поэтесса Марина Федорова интересно высказалась о стихах М. Рантовича, которые ассоци-

ируются у нее с бабочками, однако не мешало бы подкрепить это впечатление примерами. Без них читатель не может оценить точность ее образа.

Между прочим, сам Михаил Рантович написал прекрасный отзыв о поэзии Юлии Шкуратовой, говорящий о том, что он владеет и мыслью, и слогом.

Татьяна Горохова, судя по всему, писать очень старается. Но, прочитав ее отзыв о новой книге стихов В. Коврижных, открыть сборник не захочешь. «...Август! Месяц сбора плодов. Так не в этом ли заключается смысл всего написанного? – от души хвалит она лирика и тут же намазывает масло маслом: – Для человека труда, а особенно сельского жителя, хлебопашца и земледельца уборочная страда – один из najważнейших моментов жизни на земле».

К 70-летию поэта Александра Каткова вышло две статьи в одном номере («ОК» № 4). Владимир Есенин в путаном стиле славил А. Каткова, риторически совмещая любовь к Богу и любовь к женщине («Сирень, цветущая у сердца»). Из стихов юбиляра он процитировал и тот, где женщина сравнивается с надломленной веткой сирени. Кандидат филологических наук Ирина Ащеулова в статье «Об Александре Ивановиче Каткове» тоже сделала акцент на сирени. Казалось бы, и так понятны строки: «...Как веткою надломленной сирени / Та женщина осталась за окном», но автор пошел куда-то далеко-далеко с глубокомысленными рассуждениями о «сирени в мифопоэтической традиции», «научно» загружая читателя трюизмами.

Невольно вспоминается стих Сергея Донбоя:

Литературоведы и литературоведки

Сидят с поэтом на одной и той же ветке.

Поэт как свистнет офигенно!

А они зачирикают: мифологема, мифологема...

Поэт устанет и клюет на ветке носом.

А они чирикают: судьбоносно, судьбоносно...

Литературный критик должен иметь горячее сердце и холодную голову, как в свое время Феликс Эдмундович Говаривал о чекистах. А это, видно, не каждому дано.

В россыпи рассказов, опубликованных за год, в основном все добротного качества. Назову лишь нескольких авторов, которые отложились в моем личном восприятии: Игорь Назаров, Борис Кузнецов, Татьяна Твердохлебова, Инна Ким, Валентин Роков, Дмитрий Филиппов, Николай Башев.

Встретился, впрочем, и очень слабенький рассказ, принадлежащий перу Светланы Улановой. Называется он «Прорвемся». Суть сюжета: голодное военное время, 12-летняя Таня потеряла продуктовые карточки. И автор не справляется с описанием этой трагической ситуации. Рассказ написан чуждыми образности словами. Вот пример из самого начала, когда мама инструктирует дочь: «Главная ее обязанность – отовариваться по продуктовым карточкам крестной». И так, с канцелярщиной – каждый абзац...

* Признавая право каждого автора на собственное мнение, рекомендуем в вопросах правописания руководствоваться все же не слуховыми ощущениями, а правилами русского языка (прим. ред.).

В первом номере журнала за 2020 год помещено окончание повести Александра Савченко «Неисповедимы дороги». Она о годах, проведенных Достоевским в Сибири, и о его венчании с Марией Исаевой в Кузнецке. Поднять такую тему само по себе уже достойно уважения.

Роман «Поглощение» Сергея Подгорнова предполагает мрачно-символический прогноз: погружение шахтерского городка во тьму горных выработок. Как всегда у С. Подгорнова, роман хорош сочным языком, но, с моей точки зрения, описаниями автор как раз и злоупотребляет, резко замедляя действие.

Повесть о. Сергия Адодина «16 белок и прочее разумное пространство», где главный герой – пьющий отец Пью, специфична темой быта духовенства и его мировоззренческих устоев. Читатель, представляющий религиозную жизнь с сусальной стороны, прочитав эту повесть, может узнать нечто более реальное. В то же время ни белки, ни все другие животные с их «государством», освещением чего упикивается автор, здесь абсолютно не нужны. Понимаю, что он не согласится со мной, видя в белках глубокую символику. Но читатель вряд ли избавится от ощущения скуки, внимая мультяшному изображению животного мира.

Теперь о документальной повести Игоря Германа, упомянутой выше в связи с говорящим директором. Тема любопытна и злободневна, язык хорошей литературной пробы, как и подобает в борьбе с антикультурой. Расстановка главных эпизодов вроде бы грамотна. Но действие идет медленно, как тепловоз, маневрирующий на станции. Есть повторы на одной и той же ноте – ноте праведного возмущения матамии. Нет анализа, откуда, из каких глубин идет заражение общества матерностью (а идет оно, по-моему, не просто из Москвы, а из апокалиптических недр бытия). И нет концовки, которая публицистически разубила бы гордиев узел проблемы. Впрочем, не слишком ли многого я хочу?

В разделе очерковой прозы хочется особо выделить первопроходческое исследование Василия Дворцова «Русская правда Ермака», публикация которого делает большую честь журналу. В нем принципиально по-новому раскрывается историческая тема завоевания Ермаком Сибири, убедительно опровергаются застарелые догмы и стереотипы в трактовке личности Ермака Тимофеевича.

Эссе Олега Кухарева «Актерские записки» захватывает исповедальными признаниями, мятежными настроениями и оригинальными мыслями одного из виднейших актеров Кузбасса, остро чувствующего провинциальность местной жизни.

Очерк Александра Савченко «Мы все в одной жизни» о судьбе одного из директоров КМК Т. И. Шкляра, попавшего в водоворот репрессий сталинского времени, добавляет еще одну страницу в краеведение Кузбасса.

Каждая из публикаций рубрики «Книга памяти» имеет свой смысл для людей любознательных и не потерявших интереса к прошлому нашего края и страны.

Особо следует сказать о публицистике писателя-новокузнецанина Виктора Коняева, который в эссе «Закроют ли Россию? (Заметки неравнодушного)» («ОК» № 6) набрал высшие обороты в апологетике сталинизма. Личное дело христианской души В. Коняева – любить вождя, который взрывал храмы и тысячами расстреливал священников. Но когда он пишет о том, что Сталин якобы противостоял ОГПУ-НКВД, – это уже невежество и даже завиральность.

«Тогда, в тридцатых годах, партocrats развязали репрессии, пытаясь повернуть историю вспять, но и сами себя изгрызли едва не до смерти, – утверждает В. Коняев. – Это они, областные и краевые руководители, объединившись с руководством ОГПУ-НКВД, которое по факту до 1939 года не подчинялось Политбюро и Совнаркому, изобрели печально знаменитые «тройки», уничтожали неугодных. Какого же труда стоило Сталину остановить эту вакханалию!»

Неудобно даже доказывать неправоту В. Коняева и рассказывать о сталинских расстрельных списках, как и о многом другом трагическом...

Евгений ЧИРИКОВ,
г. Кемерово

ОТ КОРКИ ДО КОРКИ

Журнал «Огни Кузбасса» – мой любимый журнал! С неизменным интересом читаю его на протяжении многих лет от корки до корки. Вспоминая публикации за 2020 год, назову произведения, которые вызвали у меня наибольший интерес и оставили самое яркое впечатление.

Поэзия

Поэзия всегда была украшением журнала. В Кузбассе много своих прекрасных авторов, чье поэтическое слово весомо, значимо, емко. Замечательно и то, что у нас также есть возможность знакомиться с лирическими произведениями поэтов из разных городов России.

В первом номере представлена подборка стихов Леонида Гержидовича «По следу ветра и огня» (к 85-летию со дня рождения). Еще не утихла боль от горькой утраты – ухода Леонида Михайловича из жизни, и его строчки воспринимаются с особым чувством: *«Между нами темь и стужа, / Между нами дождь, / Разошлась тоска по лужам, / Где меня ты ждешь. / Если к сроку не приеду, / Не кори меня, / Отыщи меня по следу / Ветра и огня»*. В этом же номере понравились стихи Владимира Скифа из Иркутска («А помнишь, как было») и Бориса Бурмистрова («В доме нашем чужие живут»).

Второй номер журнала традиционно посвящен военной теме, и стихи, опубликованные в «Огнях Кузбасса», не могут не трогать сердца людей. Особенно поэтические подборки фронтовиков: Евгения Буравлева («Страшный, но все-таки труд»), Михаила Небогатова («Все вспомнил я. Все было, как вчера»), Владимира Чугунова («Меня в час встречи помяните»). Низкий им поклон и светлая память...

В третьем номере зацепили рассуждения москвички Олеси Николаевой о стране, о душе, о сложности и простоте («Страна моя любит метель»): *«Лучше уж петь, плыть, / разрывать у берега сеть, / сложный глагол «быть» / в тесной груди вертеть»*.

В четвертом номере опубликованы проникновенные стихи ушедших поэтов Александра Каткова («Берегиня») и Ивана Полунина («Родник поет у колыбели»). В пятом номере – поэзия Инны Кабыш (Москва) с красноречивым названием «Куда, родимая, не сешься?..». В шестом номере журнала согрели душу Виктор Коврижных («Лукоморье мое деревянное»), Сергей Дьяков («Ни звонка, ни звона колокольного»), Ольга Хапилова («Не говори, что время утекло»). Их стихи покорили мудростью, философским подходом, духовностью.

Проза

Произвела большое впечатление киноповесть Евгения Мамыкина из Бийска «Небо и земля» (повествование о необыкновенной женщине) в № 2. Это военная история об участнице Парада Победы в июне 1945 года, хрупкой девушке Нине Бондарь, управлявшей и самолетом, и танком.

Понравились рассказы Александра Кердана (Екатеринбург) из цикла «Если бы да кабы...» в № 3.

В пятом номере журнала опубликовано произведение Игоря Германа «Миссионеры и язычники», вызвавшее разногласия в восприятии у разных читателей. Актеру, вернувшемуся из отпуска, новый главный режиссер рекомендовал познакомиться со свежей пьесой. И после тот признается: *«Это было мое первое прямое столкновение с айсбергом под названием «новая драматургия»*. Описанная дикая история главного героя уже не удивила: по всем каналам с утра до ночи транслировались похожие «дикие истории». Другое дело, каким языком эта пьеса была написана. *«Когда я прочитал первый мат, подумал: «Ошибка или опечатка», но... сквернословием в пьесе страдали все, включая влюбленных героев. Вкупе с черным сюжетом безобразная авторская лексика провела на мое сознание массированную психическую атаку. И к последней странице пьесы я был морально разбит. Нахлынуло беспросветное гадостное состояние. Хотелось хватить чистого воздуха и внутренне отдышаться»*. Однако главный режиссер навязывал труппе сквернословие: *«Это часть нашего языка. Она имеет место быть в жизни, значит, имеет право быть на сцене»*. Герой повествования поставил руководство в известность, что произно-

сить нецензурные слова не сможет ни на репетициях, ни тем более со сцены: *«Буду пропускать это или заменять нормативными синонимами»*. Так было запущено шесть пьес. *«Все пьесы, представленные на этих эскизах, оказались одна грязнее другой. Актеры безбожно матерились на сцене, отдавая дань мучительно выстраданному авторскому слову. Нетворческие люди нашего театра, то есть службы и цеха, включая сантехников, пожарных и уборщиц, после каждого такого просмотра надолго впадали в состояние шока, пораженные языковой правдой жизни, услышанной со сцены»*. Автор показывает два пути борьбы со сквернословием. Главный герой не произносит ненормативную лексику из пьес, он любит свою работу, не может уйти из театра, да и, вероятно, ему необходимо содержать семью; а другой актер готов на беспрецедентные поступки, чтобы только заставить понять чиновников и критиков, как омерзительна и смрадна языковая грязь. *«Петенькин подошел к столу с обедающими гостями и вежливо пожелал им приятного аппетита. После этого здесь же, у их столика, расстелил на полу газету...»* И справил нужду. *«Когда пауза после чудовищного поступка Михаила Петровича потребовала разрешения, артист обратился к ошарашенным гостям: «А сейчас прислушайтесь, пожалуйста, к своим ощущениям. Что вы чувствуете? Вот то же самое чувствуют зрители в зале, когда они приходят в театр за искусством, а их угощают со сцены вот такой вот правдой жизни»*. Он считает, что мат со сцены и его собственное «действие» абсолютно равнозначны *«по уровню своего скотства»*: *«Я тоже показал вам правду жизни. Уж правдивее этого быть ничего не может. Правда – она и есть правда. Еще раз приятного аппетита!»* Поступок не остался безнаказанным: *«На следующий день артист высшей категории Михаил Петрович Петенькин за совершенное им деяние, несовместимое со статусом творческого работника, и нанесение морального ущерба театру был уволен»*. Именно эти два фрагмента (с криминальным сюжетом навязанной пьесы «Любовь» и с газетой, на которой было совершено действие) вызвали споры читателей. Хотя автор боролся как мог за чистоту русского языка и освобождение пьес от «чернухи».

В пятом и шестом номерах прот. Сергей Адодин в произведении «16 белок и прочее разумное пространство» использует принципы мозаичности, аллегоричности, метафоричности и многие другие приемы; их с первого раза не охватишь глазом, пониманием, чувством – необходимо осмысление. Понравились произведения малой формы из пятого номера – психологические рассказы Татьяны Твердохлебовой «Посторонние» и Александра Демышева «Куда уходят дети».

В шестом номере произвела впечатление художественно-документальная повесть Владимира Гуляева «Солдатская Любань. 1942 год» и рассказ Инны Ким «Заветное».

Коротко о разном

Хочется также отметить в журнале разнообразие рубрик и представленных жанров. Просто перечислю понравившееся по разделам.

«Книга памяти»: Зинаида Волошина («Время любви и надежд», №1); Екатерина Тюшина («Чем бы еще помочь фронту?») и материалы Ю.Сычевой, В. Чурилова к 75-летию Победы в № 2; Диана Балибалова («Нам дороги эти позабыть нельзя», № 4); к 105-летию со дня рождения Ларисы Федоровой («С божественной любовью к поэзии», подготовила Г. Карпова, № 4).

«Библиотечество»: Геннадий Красников, «И одна в поле воин» (про Новеллу Матвееву), № 5; Иван Бунин, «Руся», № 6.

«Заповедная Сибирь»: Василий Дворцов, «Русская правда Ермака», № 5.

«Православные чтения»: Анатолий Байбородин, «Русский обычай» (очерк о языческом и христианском в народной этике), № 1, 3.

«Лики земляков»: Нелли Соколова, «Прикосновение к подвигу», № 2.

«300 лет Кузбассу»: Александр Савченко, «Мы все в одной жизни» (про Тимофея Шкляра), № 5.

«Эссе»: Олег Кухарев, «Актерские записки», № 1.

«И большим, и детям»: Марина Карпенко, «Анютино богатство», № 5; Владимир Переводчиков, «Акварель», № 5.

«Литературный семинар»: Анатолий Бимаев, «Бегом по сияющей радуге», № 5.

«Критика и литературоведение»: Вячеслав Елатов, «Открываются архивы», № 2, «Без регламента. «Огни Кузбасса» за 2019 год», № 6; Нина Инякина, «Без позолоты фальши», № 2; Ирина Ащеулова, «Об Александре Ивановиче Каткове», № 4; Татьяна Горохова, «Отклик на сборник стихов Виктора Коврижных «Черемуховый Спас», № 5.

Ирина ФРОЛОВА,
г. Кемерово

ЧЕМ УДИВИЛИ СТИХИ

Я постоянный читатель журнала писателей России «Огни Кузбасса». Особенно не проходят мимо меня стихи. Жду с нетерпением каждый новый номер. Жду, чем удивит меня редколлегия и главный редактор на этот раз.

Рубрика «Поэзия» охватывает все возрасты авторов, пишущих в столбик и не только. Сразу отвечая всем скептикам, полагающим, что журнал не уделяет внимания молодым, хочу подчеркнуть: ярко представлены именно молодые авторы – Ольга Солодовникова, Ольга Хапилова, Ирина Надирова, Дмитрий Филиппенко, Ксения Фомина, Софья Оршатник и другие. География рубрики – от Мурманска до Иркутска.

Отдельное внимание уделено молодым авторам в рубрике «Литературный семинар», в публикации, посвященной региональному совещанию в Новосибирске. Также отмечены здесь верлибры, хотя некоторые из них я с трудом называл бы верлибрами, они больше похожи на прозу в столбик.

Впечатлила подборка оренбургского поэта Виталия Молчанова о событиях в Луганске и Донецке – своей точностью в каждом стихотворении.

Всегда в восторге я от новых подборок Виктора Коврижных. Как же он умеет писать о деревенской жизни: читаешь его строки – и чувствуешь запах деревни!

Поразили своей искренностью стихи Инны Кабыш из Москвы, особенно стихотворение «Кто варит варенье в июле».

Удивили стихи о военном времени Ивана Полунина и Юрия Могутина.

Стали для меня открытием стихи Николая Зиновьева, особенно вот эти строки:

*Вот я опять в гостях у мамы,
Где во дворе особый свет,
Где в мутных стеклах ветхой рамы
Мелькает мальчик шести лет.*

Мне нравится, как развивается поэт из Прокопьевска Ольга Солодовникова, ее стихи становятся все сильнее и качественнее.

Настоящей болью и женственностью пропитаны стихи Светланы Пешковой из Липецка. Насквозь пронзили мою душу стихи Дмитрия Коржова из Мурманска. Читаешь стихотворение «Черная трубка» и задумываешься: а может, и вправду бросить все и уехать, купить домик у моря и наслаждаться покоем?

Дмитрий ФИЛИППЕНКО,
г. Ленинск-Кузнецкий



ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА

16 июля прошло представление 3-го номера журнала «Огни Кузбасса», посвященного 300-летию Кузбасса. Стихи к юбилею края почитали авторы номера: Сергей Донбай, Борис Бурмистров, Юрий Михайлов, Людмила Остроумова, Владимир Барковский, Владимир Коньков, Екатерина Краснова, Надежда Якушева, Айса Абушаев, Алексей Зайцев, Николай Пирогов. Прозу номера представили Н. Башев и Т. Ильдимирова. О вклейке и художниках Кузбасса рассказала М. Чертогова. Детские стихи и загадки прочитала Н. Дубровская. На представлении были вручены авторские экземпляры журнала «Наш современник», посвятившего свой 6-й номер тоже 300-летию Кузбасса. Вел вечер главный редактор С. Донбай.

Н. Якушева стала финалистом Международного литературного фестиваля «Чеховская осень» в Ялте.



НИКОЛАЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ БАШЕВУ – 75 ЛЕТ!

Дорогой Николай Алексеевич! Сердечно поздравляем Вас со славным семидесятипятилетним юбилеем! Последнее время Вы наш надежный постоянный автор добротной прозы. Желаем Вам не снижать планку, а мы всег-

да ждем Ваших произведений. Счастья! Здоровья! Долголетия!

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Журнал «Южный маяк» (Краснодар) № 1 за 2021 год опубликовал подборку **Д. Филиппенко**.

«Литературная газета» № 33-34 опубликовала подборку **Б. Бурмистрова** «По эту сторону креста».

Журнал «Сура» (Пенза) № 4 опубликовал подборку **Д. Филиппенко** «Я написал черемуху дождей».

Журнал «Тургеневский бережок» (Орел) напечатал подборки **С. Донбая** «И ангел наш хранитель» и **Д. Мурзина** «Человек рожден для счастья».

Журнал «Бельские просторы» (Уфа) № 7 опубликовал подборку **Д. Филиппенко** «Утром на закате».

Журнал «Литкультпривет» (пгт Нижний Ингаш) № 9 опубликовал подборку **Д. Филиппенко**.

ИЗДАНЫ КНИГИ

Альманах «Образ» (Ленинск-Кузнецкий). – 2021. – № 3. – 112 с.

Матвеев Юрий. Еще не все со мной случилось: стихотворения. – Анжеро-Судженск: Новый формат, 2021. – 290 с.

Чурилов Виктор. Роза ветров: стихотворения. – Кемерово: Ректаймс, 2020. – 66 с.

Рулева Алена. В ожидании нового лета: стихотворения. – Юрга: МедиаСфера, 2021. – 124 с.

Рогинцев Иван. Дружба, скрепленная сталью. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», Союз писателей Кузбасса, 2021. – 464 с.

Раевский Александр. Золотой жук: стихи. – Кемерово: Вектор-принт, 2021. – 160 с.

Бурмистров Борис. Дальний свет: стихи. – Кемерово: Кузбасский центр искусств, 2021. – 328 с.





КОМФОРТ И УЮТ — ЭТО ТРУД
ОПЛАЧИВАЙТЕ УСЛУГИ ЖКХ
ВОВРЕМЯ



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА

**СИБИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Огни Кузбасса» проводит курс на расширение творческих связей с писателями, а также с журналами других регионов России:

«Наш современник» (Москва),
«Родная Ладога» (Санкт-Петербург),
«Сибирские огни» (Новосибирск),
«День и ночь» (Красноярск),
«Врата Сибири» (Тюмень),
«Алтай» (Барнаул),
«Бийский вестник» (Бийск),
«Дальний Восток» (Хабаровск),
«Сибирь» (Иркутск),
«Начало века» (Томск),
«Сихотэ-Алинь» (Владивосток),
«Литературный меридиан» (Приморский край, г. Арсеньев),
«Подъем» (Воронеж),
«Север» (Петрозаводск),
«Енисей» (Красноярск),
«Природа Алтая» (Барнаул),
«Гостиный двор» (Оренбург),
«Роман-журнал. XXI век» (Москва),
«Бельские просторы» (Уфа),
«Русское эхо» (Самара).

По отдельности тиражи наших журналов небольшие, но если их сложить, сумма света, который они несут, будет значительной.

Наше издание распространяется в библиотеках и учебных заведениях Кузбасса, высылается авторам журнала, в редакции вышеперечисленных журналов и литературных газет, а также подписчикам.

Редакция журнала принимает рукописи, отпечатанные на компьютере через полтора интервала (12–14-й кегль), с обязательным приложением флешки с набором текста в любом формате. Вместе с текстом просим присылать краткую биографическую справку, данные паспорта, ИНН и номер страхового свидетельства.

Редакция знакомится с рукописями авторов не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Наш электронный адрес: **sp_kuzbass@mail.ru**.

Наш сайт: **www.ognikuzbassa.ru**.

Редакция журнала «Огни Кузбасса» благодарит за поддержку администрацию города Кемерово, АО «Стройсервис».

Журнал «Огни Кузбасса»

Главный редактор **С. Л. Донбай**

№ 5. Дата выхода в свет: 29.11.2021

Индекс 12234

Тираж 1600 экз.

Формат 60×84½. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Arial».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 20,0 + 0,5 л. цв. вкл. Уч.-изд. л. 20,0. Заказ № 1910. Цена свободная

Адрес редакции: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, д. 40. Тел. 8 (3842) 36-85-14.

Адрес издателя ГАУК «Кузбасский центр искусств»: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 6. Тел. 8 (3842) 75-04-88.

Адрес типографии ООО «Вектор-Принт»: 650021, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Стахановская 1-я, д. 39а, оф. 211.

Журнал «Огни Кузбасса» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ42-00877 от 10 марта 2017 г.

Учредитель (соучредители) (адрес): Государственное автономное учреждение культуры «Кузбасский центр искусств»

(650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 6),

Кемеровское областное отделение «Союз писателей Кузбасса» общероссийской общественной организации «Союз писателей России»
(650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, д. 40)

Корректор **М. Н. Долгов**

Верстка: **Е. К. Метякова**

К 300-летию Кузбасса



Стальные «Стрижи» над Томью

Не группа с модным пением,
Не «звезды»-муляжи,
Летят на день рождения
Стальные к нам «Стрижи»!

Летят – смотрите, сколько!
Да целое звено,
Блестящий треугольник –
Взаправду, не в кино.

И отражать отважных
Стремится наша Томь.
Любуясь пилотажем,
Гордился люд кругом.

Вираз – и всё... Прощайте!
Лишь звук оставил след...
«Прощайте, прилетайте
Хотя бы раз в сто лет!»

Сергей Чернопятков
10 июля 2021

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписку на журнал «Огни Кузбасса»
можно оформить
через ООО «Урал-Пресс Кузбасс»
по телефону 8 (3842) 58-70-37

Приобрести журнал можно в редакции
по адресу: пр-т Советский, 40